



ЮНОСТЬ



9

1975



М. КАНАЯН.

Путина.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



*Сердечный привет
читателям «Юности»,
юношам и девушкам,
которым предстоит
преображать землю
и осваивать Вселенную*

Журнал
основан
в
1955
году

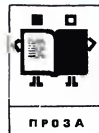
А. Леонов

Алексей ЛЕОНОВ,
дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР,
генерал-майор авиации.

9

{244}
СЕНТЯБРЬ
1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



ВЫСТРЕЛ

I

ПОВЕСТЬ

Возле пивной «Гротеск» прохаживался Альфонс Доде, он же Витька Буров. Бутылки принимали во дворе, и Витьке была видна вся очередь.

Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящики: темные пивные, светлые водочные, желтые из-под лимонада и сидро. В очереди, которую Шныра загораживал спиной, Фургон, Паштет и Белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз.

— Тридцать пять копеек, — объявил гномик Шныре, — так тебя учили в школе?

Шныра вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, стал за Паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков.

— Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик, — заключил гномик торг с Фургоном.

Ребятам все это казалось игрой, рискованной, но увлекательной и дающей заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым.

Сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витьке Бурову.

— Восемьдесят две копейки, — сказал Шныра.

— Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании передразнил Витька гномика. — Слушай маму!

— Пятьдесят восемь копеек, — сказал Фургон.

— Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса!

— Девяносто три, — сказала Белка.

— Изюм — Белый хлеб! — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал.

Они пошли по Смоленскому рынку, могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая

Рисунки
В. ЖУТОВСКОГО.

Эта повесть завершает трилогию, начатую в 1943 году «Кортиком» и продолженную «Бронзовой птицей» (см. «Юность» №№ 11—12 за 1956 год).

бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех растаскивал. «Куда прешь, не видишь — дети!» — фраза, тоже приводившая их в восторг.

Случающие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленчики в брезентовых и рыбкини в кожаных фартуках, цыгане с ассирийскими бородами, крестьяне в смазных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконых свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, спекулянты, молочницы, холодные сапожники, точильщики, босски — все это двигалось, шумело, спорило, тоговалось, пело, играло, плакало, проклинали, собирались в толпы, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающему к рынку переулкам.

Толстый, неповоротливый Фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. «Моссель-пром» — было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром.

— Ириски — доложил Фургон ушедшим вперед ребятам.

— Вывеска на голове, магазин на брюхе! — ответил Альфонс Доде.

Фургон понял, что ирисок не будет.

Суровое сердце Витки дгнуло только при виде рослой украинки в монашке, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка с Киева».

Она заметила Виткин завороченный взгляд.

— Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете.

Витка кинул на прилавок деньги — широкая влюбчивая натура, — rozdal всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман.

— Крымские.

— С Крыма приехали? — осведомилась Наталка с Киева.

— Вроде бы, — неопределенно ответил Витка.

По базару медленной уркаганской походкой шел Шаринец, хлопик в кашне, настороженно косил рыжим глазом.

Витка напрягся, готовый к столкновению.

— Белка!

Белка не ответила на оклик Шаринца, вопросительно смотрела на Витку, сильного, смелого, покупающего пряники.

Шаринец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой.

Но мелкота знала, что Шаринец боится Витку, и это усиливало в них сознание своего могущества.

2

На своем дворе они тоже были хозяева. Старшие ребята их не трогали, боясь Витку, сверстники хотели попасть в их компанию, но компании никто больше не нужен: они не могут всех взять в Крым. Они сидели в тени восьмизатного корпуса. Шныра и Фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами — все это должно было изображать Крым. Витка лениво поигрывал финским ножом и курил папиросы «Наша марка» — единственная трата из крымских денег, которую он себе позволял. Папиросу получил и Паштет. Шныра и Фургону дали затянуться. Шныра вызвал на

слаждение, которого не испытывал, Фургон закашлялся, Белке ничего не было дано — девочки не должны курить.

Идиллия была прервана появлением дворничихи с метлой.

— Весь двор разрисовали, безобразники!

Витка подкинул нож, ловко поймал за рукоятку.

— Ох, Витка, доиграешься, не миновать тебе тюрьмы. Тебя не жалко, мамашу твою жалко.

Витка симпатично улыбнулся, отчего финка в его руках стала выглядеть несколько злое.

На четвертом этаже открылось окно. Валентин Валентинович Навроцкий провел ладонью по подоконнику — чисто ли? Он был в светлом шевитовом костюме. К окну подошел Юра — его больше не дразили скаутом, он выглядел он вышемернее, чем прежде: долговязый, в бархатной толстовке, с белым бантом.

— Витка Буров, он же Альфонс Доде, гроза Арбата, — объяснял Юра, — и его банда: Шныра, Паштет, Белка и Фургон. Паштет и Белка — бывшие беспризорные, а сейчас безнадзорные. В чем разница — не знаю.

— Какой действительно толстый мальчик Фургон, — согласился Валентин Валентинович, — перекормлен.

— Его настоящее имя Андрей, фамилия Зимин, отец — инженер на фабрике.

— Сын инженера в такой компании? А почему Альфонс Доде?

— Может быть, он чем-то напоминает Тартарена из Тараскона... Навердя ли... Почему, например, Паштет? Он паштет в глаза не видел. Все потенциальные уголовники начинают с кличек. Во дворе появился Шаринец, уселся на скамейке у подъезда, ухмыляясь на Виткину компанию.

— А это настоящий уголовник, профессиональный карманник.

— Карманник не самая видная, но вполне достойная воровская специализация...

— Конкурент Витки за влияние во дворе.

Точно в подтверждение Юрино замечания Витка, демонстрируя свою власть, приказал:

— Фургон, скажи стих!

— Какой?

— Про хорошего человека.

Фургон ударил себя в грудь:

Рожа Брита,
Грудь открыта.
Брюки клещ,
Дашь — берешь!

— Хороший стих, — похвалил Витка. — А еще знаешь?

— Про что?

— Про хорошего человека.

— Про хорошего человека больше не знаю, — признался Фургон.

— Фургон! — окликнул его Шаринец.

— Чего?

— Подойди! — позвал Шаринец с дружелюбием уголовника.

Фургон сделал неуверенное движение в сторону Шаринца, но его остановил грозный Виткин оклик: — Стой!

Фургон остановился.

— Зачем пошел?

— Так ведь он позвал.

Двумя пальцами Витка зажал Фургону нос.

— Брось, Витка! — неодобрительно заметил Шныра.

Фургон мотал головой, пытаясь вырваться.
— В другой раз оторву и голову,— пообещал Витка и сильно дернул рукой вниз.

Фургон освободился от железной Виткиной хватки, но ощущение было такое, будто у него нос оторвали, и Фургон не сумел сдержать слез.

Виткина власть была доказана действием и огорожена от посетителей Шаринца. Но когда Витка наказывал Фургона, во дворе появился Миша Поляков, по-прежнему в кожаной куртке, из которой уже порядочно вырос; под ней, на рубашке, виднелся комсомольский значок «КИМ».

— За что ты его?

Витка лениво поднялся, поиграл финкой.

— Твое дело?

Юра дал справку:

— Миша Поляков, комсомольский активист... Как это там у них называется... Секретарь ячейки или председатель учкома — я в этом плохо разбираюсь.

— Сильный, видно, парень,— заметил Валентин Валентинович.

— Витка сильнее.

— Сильнее тот, кто смелее.

— Миша смелый только на собраниях.

Витка играл финкой.

— Ну что? Милицию позвешь? За милицию спрачешься? Беги, зови, а то не успеешь. Арцы и в воду концы! — Арцы и в воду концы означало у Витки высшую степень угрозы.

— Убери нож!

— Наверно...

Неожиданным ударом Миша вышиб финку из Виткиной руки и наступил на нее ногой. Витка бросился на Мишу, они сцепились, не давая один другому дотронуться до ножа.

Нож поднял Саша Панкратов, во дворе его называли Сашка Фасон, не потому, что фасонил, а потому, что был красив: черноволосый мальчик в красном пионерском галстуке. Было ясно, что финку он Бурзов не отдаст.

Подошли мужчины, растащили дерущихся. Витка пытался вырваться, но его держали крепко. Из окон выглядели жильцы, во дворе собиралась толпа. Рыбжегла мать Фургона — Ольга Дмитриевна Зимина, милостивая женщина с нежным лицом.

— Андрюша! Что он с тобой сделал? Нож! Когда это прекратится наконец?

Появление милиционера привлекло еще больше зрителей.

Милиционер забрал у Саши финку.

— Чей нож?

Все молчали, подчиняясь законам двора: подрать — одно, выдать — другое.

— Твой? — спросил милиционер у Витки.

— Пусть ребята скажут, — ответил Витка.

Белка показала на Мишу:

— Его финка, он хотел Витку порезать.

— Не ври! — крикнул Саша Панкратов. — Виткин нож. Скажи, Фургон, скажи, Шныра, чей нож?

Шныра и Фургон молчали.

— Какие, однако, мерзавцы! — возмутился Валентин Валентинович и встал с подоконника.

— Плевать! Пусть сами разбираются — сказал Юра.

— Ну, знаешь... Я тебя не полимаю! — Валентин Валентинович свесился из окна. — Товарищ! Я все видел, сейчас спущусь.

Через минуту он стоял во дворе, спокойный, внушающий доверие, показывая на Витку.

— Нож его, он им играл, довольно неосторожно, кстати. И мучил мальчика. А этот молодой человек, — он протянул тонкий палец в сторону Миши, — вступился... И повернулся к Зиминной: — Если не ошибаюсь, за вашего сына.

— Да, — сказала Ольга Дмитриевна. — Витя! Ведь ты уже большой... Разве Андрей тебе товарищ? Что скажешь? — спросил милиционер у Витки.

Витка молчал, злобно поглядывая на Мишу.

— Нехорошо, девочка, лгать, некрасиво, — сказал Валентин Валентинович Белке.

Милиционер опустил нож в сумку.

— Разберемся, пошли!

И вместе с Виткой направился к воротам.

— Благодарю вас, — сказала Ольга Дмитриевна Валентину Валентиновичу.

— Мадам... Гражданка... Я просто сказал правду.

3

Валентин Валентинович вернулся к себе.

— Дорогой мой, — сказал он Юре, — ты оказался не на высоте. Ты побоявшись Альфонса Деде? Кстати, кличка ему не подходит.

— Я его не боюсь, — вспыхнул Юра, — но Миша ненавидит меня, как б у р ж у я. Если бы я влезался, он бы расценил это как подлизывание. Не беспокойтесь за него: он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей.

— Правду надо защищать всюду, всегда и везде. — Валентин Валентинович уселся в кресло и закурил длинную тонкую папиросу. — Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Окалывается его дворе с финкой, взрослый парень!

— А куда ему идти? В комсомол? Завать на собрания?

— Ты тоже не комсомолец.

— И что меня ждет? В институт не примут: не рабочий, не сын рабочего.

— Примимую и не рабочих. Твой отец — врач, поступай в медицинский.

— Коваряться в чулок сопливом носу?

— Что же тебя привлекает?

— Кино.

— Есть способности?

— В кино нужна яркость всего внешнего.

Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру.

— Внешность у тебя есть.

— Один кинорежиссер, папин пациент, обещал взять меня на съемки.

— Прекрасно! Будешь советским Рудольфо Валентино или Дугласом Фарбенжом.

— Он начнет новую картину через год. Что я буду делать после школы? На фабрику?

— Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой?

— Получаем трудовое воспитание, даже пишем дипломные работы, почти как в вузе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скучная!

— Напрасно пренебрегаешь этим, другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие.

А ты сразу получаешь специальность.

— Мне нужна специальность, дающая независи-

мость.

— Профессия актера тебе ее даст!

— До известной степени.

— Заблуждаешься. Независимость дается только эмигрантам... Валентин Валентинович пошевелил гальцами, как бы перебирая монеты.

— Но где их взять?

Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельнице, прошелся по комнате чистой, пустоватой, с фотографиями лошадей на стенах.

Недо начинать с небольшого. Кто я такой? Уполномоченный общества «Друг детей». Я распространял потерянные билеты, открытки, значки, поднимался по лестницам, стучался в двери, несознательные граждане захлопывали их перед моим носом. Все же мне удалось кое-кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполнял: помогал несчастным, голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий, прибывлю от них идет опять же на помощь детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сыт, одет, обуш, — он вытянул ногу и показал лакированный ботинок «джимми», — делаю свои деньги и думаю, как бы сделать их больше.

— На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры?

— Друг мой! Деньги делаются на всем. На! Папиросы «Иран» не все, что осталось от старого мира. Швели извилиной, как пишут в журнале «Смехач». Жизнь с ходу дает тебе шанс — не упущай его. Приживись на фабрике. Получишься с режиссером — уйдишь в Дуглас Фэрбенксы. Не получишься — заработаешь производственный стаж и поступишь в вуз. Кстати, какая у тебя тема?

— Учет на складе, — произнес Юра с отвращением.

— Прекрасная тема! — воскликнул Валентин Валентинович. — На складе ты станешь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальная проблема! За десять лет люди пообносились, рынок требует маты...

— Маты? Что это такое?

— Мануфактура — на языке контрабандистов, этим термином пользуются и коммерсанты. Какие названия! Амарант, бельфранс, туалъд-эте, канбера, виола-макино... Из-за одних названий я бы пошел работать на склад, честное слово!

— Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции.

— Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех.

— Вы его мало знаете, — нахмурился Юра.

4

Следующий день был фабричный. С блокнотом и карандашом Миша стоял на фабричном дворе у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой.

Подождал Валентин Валентинович.

— Что вы делаете, Миша? — После вчерашнего происшествия он держался с ним, как с добрым приятелем.

Миша показал на блокнот.

— Записываю, куда отправляется товар.

— Это имеет отношение к вашей дипломной работе?

— Да. «Транспортировка готовой продукции».

— Великолепно! Можете записать мою отправку. — Он показал на пустой вагон в тупике. — Станция назначения — Батум, получатель — шейная фабрика общества «Друг детей».

— Запишу, когда погрузят, очередь дойдет не скоро.

— Ужасно долго все это продолжается, — подхватил Валентин Валентинович, — и я вам скажу почему: задерживают лошосые извозчики. Анахронизм. За границей господствуют автомобили.

У ворот склада стояли лошосые лошади с мохнатыми ногами. Возчики складывали тюки на полки, покрывали брезентом, увязывали веревками, затягивали ломками.

В складе было тесно, но рабочие ловко маневрировали тележками, сбрасывая тюки, куда им показывал кладовщик Панфилов. За маленьким столиком Юра выписывал накладные.

Вошел Красцев, заведующий сбытом, толстяк с опухшим лицом, что-то сказал Панфилову и вышел.

— Представитель Деткомиссии, гражданин Навроцкий! — крикнул Панфилов, появляясь в воротах склада.

Валентин Валентинович оглянулся.

— Меня кличут... Иду!

Он отправился в склад и тут же вернулся, весело крикнув Мише:

— Сейчас буду грузиться!

Показал грузчикам пустой вагон в тупике:

— А ну, ребята, подвинем, по чекушке на брата!

Сказал что-то машинисту и сцепщику и направился к пустому вагону, на ходу бросив Мише:

— Поможем, Миша!

Мише понравилась его веселая личность, и он помог грузчикам подтолкнуть вагон к составу.

Лязгнули буфера, сцепщик нахнул сцеп, Валентин Валентинович оттянул дверь вагона, она мягко поклатилась на роликах, грузчики установили трап, начали таскать тюки.

Стоя в вагоне, Валентин Валентинович уверенно распоряжался:

— Быстро, ребята, шаг назад, два вперед, тюк на тюк, товара как раз на вагон. Плохо уложим — придется перекладывать.

Он сскакочил с подножки и пошел в склад.

— Накладная готова?

— Готова, — ответил Юра.

— Молодец!

Прижимаю кия линейкой, Юра оторвал и передал ему накладную.

Валентин Валентинович посмотрел на состав (сцепщик закрывал и опломбировывал вагон), кивнул Юре и Панфилову: «До работы встреч!» — и через боковую дверь вышел на улицу.

Машинист дал гудок, состав тронулся и вытянулся из ворот фабрики. Миша записал вагон Валентина Валентиновича.

Вошел инженер Николай Львович Зимин. Был он гладко выбрит, в хорошо отутюженном костюме, держался очень прямо. За глаза его звали барин — слово в то время уже не оскорбительное, а насмешливое. Оно было незаслуженно и заставляло Николая Львовича держаться еще прямее, говорить еще спокойнее.

— Где бракованная партия? — спросил он.

— Какая, Николай Львович?

— Для Деткомиссии... Я велел Красцеву ее задержать. Передал он вам мое распоряжение?

— Правильно, приказали... Так ведь транспорт уже погрузили, не разгружать же было, Николай Львович.

— Интересно...

Зимин удалился.

Миша хорошо помнил: Красавцев приходил на склад, что-то сказал Панфилову, и по сле этого вагон Валентина Валентиновича Навроцкого был молниеносно погружен и отправлен. Что же приказал Красавцев? Задержать вагон, как велел инженер Зимин. Или, наоборот, побыстрее отправить его?

— Юра, ты не слышал, что Красавцев сказал Панфилову?

— Нет.

— Он велел задержать вагон или отправить?

— Не знаю.

— Ты был рядом.

— Я не прислушиваясь к чужим разговорам.

— Товарищ Панфилов! — сказал Миша. — А ведь Красавцев приходил до того, как был погружен вагон Детским.

Панфилов склонился на него из-под железных очков.

— Ну и что?

— А вы сказали товарищу Зимину, что вагон уже был погружен.

— Ну, сказал.

— Вы сказали неправду.

По суровому лицу Панфилова, по его косому взгляду можно было предположить, что он пошлет Мишу ко всем чертям. Однако он этого не сделал: хорошо знал этих молодых хитров и хитрей, от них никому нет прохода, им до всего дело, и лучше с ними не связываться.

— Товарищу Зимину легко отдавать приказы, только он ведь не у Бутиковых работает.

— При чем тут Бутиковы? — удивился Миша.

— При том... Задержи, посмотри, погляжу... А за простой вагонов полагается штраф, деньги порядочные, кто будет платить? Фабрика? Государство?

— Зимин хотел как хуже?

— Не сказал я этого, только не коммерческий он человек. Хочешь брак высунуть? В цеху выясняй, а не на складе, когда товар упакован, клиент ждет и вагоны поданы.

В объяснениях Панфилова была логика, но упоминание бывших хозяев фабрики Бутиковых было намек на староребристость Зимина, попытку опорочить его, представить социально чуждым. Миша почувствовал фальшь.

— А все же что приказал Красавцев: задержать или отправить вагон?

— Об этом у самого Красавцева спроси! — с раздражением ответил Панфилов. — Не Зимин, не Красавцев отвечают за отправку, я отвечаю. А мне товар некуда складировать, сам видишь. — Он обвел рукой загроможденное тюками помещение склада. — Паны, понимаешь, дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Нет, извините, спасибо!

5

Вечером Миша пошел к Славке. Бульвары Садового кольца были пустынями, редкие фонари тускло светили на углах центральных улиц.

Славкина мать ушла к другому человеку. Славка остался с отцом, бросил школу, играет по вечерам в оркестре ресторана «Эрмитаж», зарабатывает на жизнь: Константин Алексеевич болеет, не работает, опустился. Миша поражен такой слабостью. Если женщина ушла от мужа, порядочного и достойного человека, бросила сына, ее можно только презирать. Конечно, любовь, страсть и так далее, и все же долг выше всего.

В ресторан Миша вошел со двора, мимо кухни, мимо сидящих по узкому коридору официантов с под-

носами. Все бежали, торопились, никому не было дела до Миши, и он благополучно достиг маленькой комнаты, отделенной от эстрады тяжелой занавеской.

Рядом гремел оркестр. Миша чуть раздвинул занавеску и увидел ресторанный зал. За столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидели разодетые женщины, мужчины, очень важные, будто занятые настоящим делом. А все их дело тут — пить, есть, хохотать, как будто им очень весело. Спасаются от забот и тревог жизни, излманы, спекулянты и растратчики, берут реванш за свое унижение в том, другом мире, где они лишены цы, где их ограничивают, допекают налогами. Здесь они господа, реализуют свое богатство, швыряют деньгами, перед ними предупредительно склоняются официанты. Безусловно, изн необходим для восстановления страны, здесь его обратная сторона, приходится с нею мириться, но люди эти откровенны. Во имя чего они живут?

Оркестр смолк, музыканты оставались на своих местах. Сидя за роялем, Славка разговаривал с контрабасистом, пожимал человеком в серо-голубом костюме с бабочкой.

Потом на эстраду вышли чечеточники в черных фраках, белых манишках, черных цилиндрах и черных лакированных туфлях. Оркестр грянул бравурную мелодию, чечеточники отбивали чечетку, фалды их фраков развевались, они здорово молотили штиблетами и пели куплеты...

Два червонца, три червонца или сразу пять. За червонцы, за червонцы можно все достать...

Глушесть куплеты о червонцах, о том, что именно можно достать за червонцы, идиотский гимн червонцу. Никто не обращает на чечеточников внимания, хотя они стараются воссю, жаль их, и Славку жаль, и других музыкантов, обязанных развлекать эту шуштуру.

Чечеточники удалились. Музыканты поднялись со своих мест, спустились в комнату за эстрадой...

— Мне еще отделение играть, — предупредил Славка.

— Подожду, — ответил Миша.

Он стоял у занавеса и поглядывал в зал.

— Ну и физи!

— Эти физи дуют пищу для некоторых размышлений, — сказал Славка.

— Каких именно?

— Могли мы с тобой два года назад думать, что появится все это?

— Нет.

— Новые хозяева жизни.

— Скорее и тоньше: хозяева своих денег.

— Зато каких денег! Сейчас я тебе покажу некоторых представителей современного капитала. Только не слишком на них пялься и не тычь пальцем.

— Постараюсь, — рассмеялся Миша.

— Справа, за вторым столиком, к нам лицом, видишь, коротенький пузанок с пышной шевелюрой?

— Вижу.

— Этот пузанок с то и т сорок тысяч.

— Как в Америке: мистер Смит стоит сорок миллионов долларов.

— Вот именно. Пузанок зарабатывает сорок тысяч в год, а сн всего лишь представитель Харьковского государственного кондитерского треста. Заметь, государственного! Разве у нас так много кондитерских изделий? Их не покупают? Нет, их покупают, расхвывают и без этого прыщика. Но этот прыщик получает десять процентов за реализацию — это как раз сорок тысяч — и делится с начальством.



Мишу огорчил желчный тон Славки.

— Разве мы с этим не боремся?

— Допустим, — не стал спорить Славка. — Теперь следующие столики, видишь, чернотой джигит? Стоит тридцать тысяч, представитель Азиарбы, рекламирует следеку, а чего ее рекламировать?.. Знаешь такой город Ачинск?

— В Сибири?

— Точно. Не на всякой карте найдешь. Есть там малососисный магазинчик, торгует латинками, детским веревками, гвоздиками, косами, серпами. Где же эта лавчонка себя рекламирует? Не угадаешь. В парижских газетах. И за рекламу плачено золотом. Вот так!

— Представляю себе ликование парижан, — засмеялся Миша. — Анекдот, наверно?

— Анекдот?! Почитай «Крокодил». Смотри дальше: Иван Поддубный, так он не Иван Поддубный, а фирма «Дешевое платье». Рядом два джентльмена в галфе — «Изящное платье»... А там дальше, в кооператках и пиджаках, это так называемые кооператки, артели, конечно, липовые, но вывески... Вывески самые идеальные... «Свой труд» семгу изволит кушать, «Коллективный труд» пьет шампанское. Труд, труд, труд... Удобное слово!

— Слушай, — перебил его Миша, вглядываясь в глубь зала, — там, в углу, не Юра с Людой Зиминной?

— Они.

— Я знаю человека, с которым они сидят, — Валентин Валентинович Навроцкий.

— Я его тоже знаю, с некоторой пор он живет в нашем доме.

— И они часто здесь бывают?

— Люду я здесь вижу впервые, Юра бывает, Навроцкий наш постоянный гость.

— И сколько он стóит?

— Не знаю, фигура загадочная.

— Он всего лишь агент-заготовитель Деткомиссии.

— Это ничего не значит, у всех здесь скромные титулы: агент, уполномоченный, владелец магазина или парки, кассиры — как правило, расстратчики — гуляют перед посадкой. Тут много чего насмотриться. Изнанка общества.

— Не изнанка, а отбросы.

— Можно сказать и так, — опять не стал спорить Славка.

— Пошли! — сказал виолончелист, поднимаясь на эстраду.

— Подождешь? — спросил Славка.

— Подожду, — ответил Миша.

Заиграл оркестр. Юра и Люда поднялись и смешались с толпой танцующих.

Навроцкий вынул из кармана пиджака конверт, положил на стол, прикрыл карточкой меню, щелкнул затвором портсигара, размял папиросу тонкими пальцами, закурил, бросил спичку в пепельницу, откинулся на спинку кресла, глубоко затаился и даже не повернул головы, когда к столику подсел Красавцев.

Навроцкий придвинул ему портсигар, приподнял карточку меню. Красавцев достал папиросу, вынул из-под меню конверт, опустил в карман.

— Здесь вся сумма?

— Можете не пересчитывать. Когда я получу следующую партию?

На понятном, красном от водки лице Красавцева появилось обычное для взяточника выражение недовольства.

— Через неделю, не раньше, и без скидки на брак и третий сорт.

— Почему?

— Зимин сбывается лично проверишь брак и сорт, беспокоится, что его слишком много.

— С ним нельзя поладить?

— Из старых спесов, трусит. Хотел задержать вашу партию, но я успел ее отравить.

— Я успел ее отравить, — хладнокровно возразил Навроцкий.

Красавцев покосился на него.

— Если бы я не предупредил Панфилова...

Навроцкий перебил его:

— Если бы я не успел за полчаса погрозиться, вы бы попались на фиктивном браке и пошли под суд.

Красавцев опять покосился на него — лжиона следует осадить.

— Зимин требует документы по вашей отправке.

— Пожалуйста, документы в порядке.

— Если в них особенно не ковыряться.

— Документы в полном порядке. Можете спокойно их передать. Пусть изучает. Даже у себя дома. Вот именно, пусть возьмет домой и тщательно ознакомится.

Оркестр смолк.

— Значит, договорились? — Навроцкий давал понять, что Красавцев может удалиться.

Вставай, Красавцев ухмыльнулся:

— Вы здесь с дочкой Зимина, если не ошибаюсь? — Не ошибаетесь. Можете спокойно передать документы Зимину в личное пользование.

Вернулись Юра и Люда. Люда села, оправила платье, осмотрелась.

— Ну как? — спросил Валентин Валентинович.

— Прекрасно!

Люда впервые была в ресторане. Когда она шла сюда, волновалась, смущалась, ей казалось, что она прикоснется к опасной, запретной, но заманчивой стороне жизни. Папа и мама будут огорчены, узнав, что она была здесь, но она хотела посмотреть, хотела знать, что это такое, узнала, посмотрела и, может быть, больше не придет сюда. Ничего особенного — пьют, едят, танцуют. Пьют и едят очень вкусно, вкуснее, чем дома, и совсем иначе. Она так честно и скажет — хотела посмотреть, посмотрела; папе и маме всегда важно прояснить мотивы, она им объяснит мотивы: было интересно посмотреть. Правда, ей приятно, что и на нее не смотрят. Дома существовала эта тема: Люда-кокетка, ее за это высмеивали, папа часто говорит: «Люда опять съестся в самовар». В конце концов у каждого есть и должны быть недостатки. В общем, Люда мысленно договорилась сама с собой, мысленно договорилась с родителями.

— У вас знакомые в оркестре? — спросил Валентин Валентинович.

— Мальчик из нашего дома, Славка Эльдаров. Очень талантливы.

— Не без дарования, — снисходительно согласился Юра.

— Нет, очень талантливы! — возразила Люда. — Но у них дома неприятности, родители разошлись, и он вынужден играть в ресторане.

— Это пойдет ему на пользу, — сказал Валентин Валентинович.

— Да? Почему?

— Трудно объяснить... На ум приходят банальные слова: невзгоды закаляют, характер вырабатывается в горниле испытаний и тому подобное. Но в этих стертых выражениях заложены никогда не стареющие истины.

— Итак, да здравствуют сложности! — провозгласил Юра. — А если их нет?

— Их не может не быть,— ответил Валентин Валентинович коротко, явно не желая продолжать этот разговор.

— Почему вы не танцуете? — спросила Люда.

— Не умею.

— Фокстрот — это очень просто.

— Мне поздно учиться.

— Вам? Вы себя считаете стариком?

Валентин Валентинович улыбнулся:

— Скажите лучше, как вам работаете на фабрике?

— Стою с хронометром, очень стараюсь, тем более, что я дочь инженера, но работницы на меня косятся. Я им, по-видимому, не нравлюсь.

— Всюду рабочие не любят хронотражистов,— сказал Валентин Валентинович,— а то, что вы дочь инженера... Разве вашего отца на фабрике не уважают? Ведь он крупный специалист.

— Вот именно с п е ц а л и с т,— подхватил Юра,— буржуазный спец, учился в Англии, служил на фабрике еще до революции, у хозгов-капиталистов и, значит, сам был чуть ли не капиталист. А Люда — дочь буржуазного с п е ц а. У нас обождают наклеивать ярлыки: интеллигент, спец... Я, например, у п а д о ч и н и к у, у меня, видите ли, у п а д о ч и н ы в настроении. Почему, отчего — никто не знает, и что значит у п а д о ч и н и к, тоже никто толком не знает. Представляю, что бы творилось, если бы узнали, что мы сидим в ресторане да еще танцуем фокстрот и чарльстон. Нас бы объявили белогвардейцами.

— Вот видишь,— засмеялся Валентин Валентинович,— а ты говоришь, что у тебя нет сложностей.

6



калитке, вырезанной в воротах, стоял Витка Буров в своей обычной левой позе, загораящая проход и не проявляя намерения сдвинуться с места.

Юра оказался позади Валентина Валентиновича. Впрочем, у него все всегда получалось естественно, а значит, и достойно.

— Молодой человек,— холодно произнес Валентин Валентинович,— будьте добры посторонитесь.

— Места вам мало? — Витка продолжал загорать калитку широкими плечами.

— Витя, перестань! — поморщилась Люда. Она не боялась Витки.

— Или вы посторонитесь, или я помогу вам это сделать,— сказал Валентин Валентинович.

Витка лениво подвинулся.

— Чешите, не вы мне сейчас нужны.

— Так будет, пожалуй, раз у меня,— оставил за собой последнее слово Валентин Валентинович.

Во дворе на скамейке виднелась еще одна фигура — Шаринец.

— Мне сюда, спокойной ночи! — Юра вошел в свой подъезд, предоставив Валентину Валентиновичу возможность проводить Люду до ее дверей, а затем остаться один на один с Виткой и Шаринцем.

Процарясь с Навроцким у своего подъезда, Люда сказала:

— Витка опять к вам привязался.

— Переживу как-нибудь,— улыбнулся Валентин Валентинович.— Вы довольны сегодняшним ачаером?

— Очень.

— Я рад, что Юра нас познакомил.

— Да, спасибо ему.

— Ваши ужас, наверно, спят.

— У меня свои ключи.

Навроцкий скользящим взглядом по ключам, которые она вынула из сумочки.

— Ну что ж, спокойной ночи, грейте вашей матушке.

Люда поднялась по лестнице, осторожно повернула ключ в замке, открыла, потом тихо закрыла дверь, сняла туфли, в одних чулках прошла по темному коридору, вошла в свою комнату...

Послышались шаги, и вслед за ней в комнату вошел Николай Львович.

— Ты не спишь, папочка?

— Ты тоже не спишь.

— Скажите тебе, где я была?

— Пожалуйста.

— В ресторане... Да, да, представь себе... И мне там понравилось: музыка, танцы... Но если ты не хочешь, то больше не пойду, обещаю.

Ничего страшного в ресторанах нет... Но мне кажется, туда ходят одни спекулянты. И может быть, тебе еще несколько рановато... Впрочем, если ты хочешь ходить, никто тебя не удержит...

— Нет, папочка, я тебе сказала: если ты не хочешь этого, я больше ни разу не пойду.

— Но ведь ты пошла, захотела и пошла, и нам ничего не сказала... Конечно, потом призналась, так сказать, постфактум, и на том спасибо, но стала ничего выдумывать и придумывать, это очень хорошо... Но ведь мы не знали, где ты.

— Ты не ложился из-за меня? И мама?

— Ты спрашиваешь об этом?

— Я думала, что вы... Я понимала, что огорчу вас... Но если бы я знала, что вы не спите из-за меня...

Вошла Ольга Дмитриевна.

— Доченька, господи, как я волновалась, чего я ни передумала! Ну, слава богу, ты дома! Я уже одевалась, чтобы пойти тебе искать!

В калате, розовой, румяная, Ольга Дмитриевна выглядела как само, молоково, казалась не матерью, а старшей сестрой Люды — такое же нежное лицо, такие же каштановые кудряшки, такие же тонкие стрелочки бровей и зеленые глаза.

— Ну, мама,— только вздохнула Люда,— я не понимаю, что ты боялась?

Ольга Дмитриевна смешалась при этом вопросе. Люда поняла ее смущение и, выходя из комнаты, сказала:

— Я ведь не маленькая, и я никого не боюсь — ни бандитов, ни жуликов.

— А я боюсь,— подхватила Ольга Дмитриевна,— боюсь нашего двора. Боюсь Витку Бурова. Он бандит.

— Мы, кстати, как раз его встретили, он вел себя, как паинька.

— Ну да, потому, что его проучили... Но не в нем дело... Где ты была?

— Мамочка, я уже сказала папа...

— Да, я информирован,— заметил Николай Львович.

— Но обещай мне,— продолжала Люда,— что не будешь сердиться и ругать меня. Обещаешь? Ну, так вот, я была в ресторане, была с Юрой и с его приятелем Валентином Валентиновичем, ты его знаешь — это тот молодой человек, который тогда во дворе встретился за Андрея и за Мишу Полякова, помнишь?

Ольга Дмитриевна бросила быстрый, тревожный взгляд на мужа, ее нежное лицо порозовело. В их семье не было ссор и скандалов, но сейчас ей показалось, что Николай Львович недоумен, разочарован.

зан, огорчен. Решив, что она должна все сделать сама, сказала сухо: «Вот так».

— О Юре мне нечего сказать, его мы знаем десять лет, и от этого он не становится лучше, но этот молодой человек... Валентин Валентинович... Конечно, он вел себя тогда, с Андреем, вполне достойно, но этого слишком мало, чтобы судить о нем...

— А что, собственно говоря, надо судить? — спросила Люда.

— Я хочу сказать, что мы его совершенно не знаем.

— Но пойми, мамочка, я ведь не могу познакомиться только с твоими или папиными друзьями.

— Это верно, — согласилась Ольга Дмитриевна, — но ты только познакомишься и сразу приняла приглашение пойти в ресторан. Ведь с кем пошло не ходят в ресторан, правда? Это к чему-то обязывает. Пойти в ресторан с почти незнакомым человеком...

— Я пошла не с ним, а с Юрой, — сказала Люда, признавая в душе некоторую враную матери.

— Речь, по-видимому, идет о молодом человеке, получающем мануфактуру на нашей фабрике, — сказал Николай Львович.

— Да...

— Мне он не нравится, — сказал Николай Львович. — Ты знаешь, я редко так определенно говорю о людях, о нем я говорю определенно: не нравится. Люда посмотрела на отца, свела тонкие брови, опустила голову:

— Странно... Впрочем, если ты не хочешь, чтобы я с ним встречалась...

— Встречаться или нет — дело твоё; я просто высказал свое мнение.

Она продолжала:

— Мне совершенно неважен и безразличен Валентин Валентинович... Но я не понимаю, что происходит, почему этому придается такое значение... Честное слово, нет ничего особенного. Но когда запрещаю — это ужасно...

— Я не запрещаю, — запротестовал Николай Львович, — я сказал: мне он не нравится, учти это, приглядишься к нему внимательнее...

Она засмеялась:

— Но чтобы приглядеться, надо встречаться... Папочка, мамуля, милые, все это такая ерунда, ей-богу! Не беспокойтесь ни о чем... Ну, ходила в ресторан, посмотрела, потанцевала с Юрой, попоговорила их одну...

— Ну и как? — спросила Ольга Дмитриевна.

— Вкусно... Очень... Но твои блинчики вкуснее, — добавила она великодушно.

Люда долго не могла заснуть, перебирала в памяти этот вечер, возвращение, сцену во дворе и приход домой. За ресторан она себя не ругала. Ей хотелось там побывать, это правда. Она пошла туда с Юрой, которого знает сто пятьдесят лет. Юру беспокоит, что будут говорить в школе, — он трус, а ей неловко, она ничего такого антиобщественного о нем не сделала и не делает, даже наоборот, хочет быть, как все, но у нее ничего не получается, ее считают за чужую, а почему? Одевается не так, дочь инженера. Ну, и она не набивается, не вешает же ей на груди плакат: «Хочу быть, как все!» И Юра тоже не такой уж плохой, как его школьная репутация; никакая он не упадочник; его беда — хочет выделяться, а выделяться ему, между прочим, нечем. И если говорить честно, то Юра — трус. Это главное. Из-за этого она испытывает к нему презрение, из-за этого он ей никогда не нравится. Напрасно девочки чего-то там намекали — это все смешно. Единственный, кто ей по-настоящему нравился, вернее, мог бы понравиться, если бы и она ему нравилась, это Миша Поляков. Он прямая противоположность Юре, но он на нее ноль внимания, фунт презрения. И тот

фунт презрения совершенно незаслуженный. Просто у Миши такой характер, он никого в отдельности не замечает, они для него масса. Но она не масса. Во всяком случае, не для него...

Теперь насчет Валентина Валентиновича. У него довольно красивое лицо, в рассуждениях что-то значительное, даже загадочно значительное. Но он носит лаковые ботинки, и это о многом говорит. И то, что у него так ие деньги, он их так небрежно тратит в ресторане — тоже не в его пользу; у них в семье и у их знакомых таких денег нет, хотя люди вполне достойные. Но может быть, это он позволяет себе не так часто, и угощал он от души, это ему было приятно. Немного старомодно, правда, этакое гусарство: мол, проглотилась последняя... И он смелый, по-настоящему, не притворяется, Витку Бурова не испугался ни этот раз, ни тот, и это тоже очко в его пользу...

Нет, родители неправы. Конечно, понять их можно. Бояться, что случится то самое. Но напрасно бояться; то самое может случиться, но только с любимым человеком, а она никого не любит, могла бы, может быть, полюбить Мишу Полякова.

Мама — потрясающая трусиха, даже очаровательная, потому что никогда не притворяется. Иногда Люде кажется, что не она ее дочка, а мама ее дочка... Она всегда боится, что у нее с тех времен, боялась домиком, боялась, что их уплывут, отбрызнут комнату, боялась за папу, боялась, что чем-нибудь накормит семью, а потом, когда появилась мука и все появилось, мама стала перекармливать их, особенно Андриюшу, стала жарить блинчики.

И все же с родителями ей повезло, она понимает и ценит это. Просто она стала видеть больше, чем видит мама, и саму маму видит и папу, как он, например, старается не уронить свой авторитет в семье, напускает на себя хмурый, недоступный вид, прячет свою доброту потрясающую; мама это, наверно, понимает; папа на пьедестале, власть законодательная, а мама — власть исполнительная. И сегодня разыгрывала эту роль... Ах, как она их любит... И не будет огорчать, хотя и видит, что вступила с ними сегодня в неразрешимое противоречие... Подумать только, они пытаются решить, с кем ей встречаться, с кем нет, — они, такие неисправимые, доверчивые романтики...

Родители Люды тоже не спали. Это был не первый случай, когда Люда поздно приходила домой, но она всегда предупреждала, они знали, где она. В этот раз она как-то незаметно ушла из дома, ничего не сказала, не хотела лгать, но и правды не хотела говорить. Уж одно это их встревожило... И не случайно. Ресторан... Фронт в лакированных штиблетах... Впрочем, как познакомились они сами? На даче, в Лианозове, тоже случайно, на любительском спектакле...

— Уверю тебя, — говорила Ольга Дмитриевна, — она взрослая дочь, мы уже ничего не можем ей запретить. Надо воспользоваться тем, что мы пока еще вправе что-то ей разрешать.

— Это логично, — согласился Николай Львович, — надо спасать то, что еще можно спасти.

— Нечего спасать, милый, уверю тебя, это все такое молодое, детское!.. Я только против ресторана. Молодой человек должен приходить в дом, бывать в доме. Только так мы можем как-то влиять на Люду, — отшучиваясь, мы можем видеть, с кем она имеет дело. Кроме того, если человек у нас бывает, я чисто по-женски постараюсь открыть ей глаза на него, на его недостатки, потом можно будет пошутить, посмеяться...

— Все это верно, — сказал Николай Львович, — но понимаешь, этот молодой человек не внушает мне

доверия. И я, откровенно говоря, в некоторой растерянности: по служебным соображениям мне не хотелось бы, чтобы он бывал у нас дома. Но с другой стороны, запретить Люде общаться с человеком, который мне не убоен по службе, это, в сущности, то же самое, что советовать ей встречаться с человеком, который по службе мне убоен. Исходная позиция в обоих случаях фальшивая, дурная. Ольга Дмитриевна с удовольствием слушала муку, это было именно то, что она так ценила и любила в нем. Конечно, он не только не вынуждает Люду встречаться с нужными людьми, но и сам никогда с ними не встречается, и ход рассуждений был удивительно характерен для него.

— Ты очень преувеличиваешь, мой милый,— сказала она,— ты ей действительно ничего не запрещал, ты всего лишь высказал свое мнение о человеке, которого ты знаешь больше, чем она. И Люда это правильно поняла. Я думаю даже, что в данном случае она разумнее нас. В самом деле, что произошло? Ничего, в сущности. Задержалась на танцульках, а мы когда-то не задерживались? Только тогда танцевали в саду, сейчас танцуют в ресторанах, вот и все.

— Да,— согласился Николай Львович,— ты права и, главное, сама не волнуешься.

Николай Львович успокоил жену, но сам не успокоился: что-то тревожило его в этой истории.

7

Той же дорогой возвращались из ресторана Миша и Славка.

Славка рассказывал об оркестре. Среди музыкантов есть люди одаренные, даже талантливые, например, контрабасист, человек с консерваторским образованием, но не смог найти места в настоящем оркестре, их считанное количество, и вот вынужден играть в ресторане, где прилично платят и где кое-что перепадает от гостей, заказывающих музыку.

Своим бесстрастным рассказом Славка как бы подчеркивал примитивность своих нынешних интересов, отделял себя от возвышенного мира, в котором живет Миша, жил когда-то и он, Славка. Был пионер, комсомолец — и вот, пожалуйста, пианист в ресторане «Эрмитаж», играет фокстроты для измамано, аферистов и растраченных, веселит их, ублажает, зато у хозяина бесплатный ужин — правда, не такой, как гостям, а что остается от гостей.

— Не надо делать из этого трагедию,— сказал Миша,— эпизод в биографии артиста. Напрасно тебя это так угнетает.

— Человек не может двадцать четыре часа в сутки визжать от восторга,— возразил Славка.

— Временный, случайный заработок. Поступишь в консерваторию, получишь стипендию — все переменится. Кстати, завтра в фабричном клубе выступит наша живая газета. Может быть, поведешь? Как раньше.

— Не знаю... В каком часу?

— В шесть. Тебе в ресторан к девяти, можешь не оставаться на диспут, поведешь выступление и уйдешь.

— О чем диспут?

— Влияние нэпа на молодежь.

И как с этим бороться? — не без насмешки добавил Славка.

— Да, и как с этим бороться.

— Не знаю... Если не будет сыгровки...

— Не приходишь — проведет Яшка Полонский,—

заключил Миша,— а придеешь, я лично буду рад и буду ждать тебя. Постарайся, пожалуйста.

Они подошли к дому.

В воротах стоял Витка Буров.

— Привет!

— Привет!

— Здравствуй! — сказал Миша.

Витка повернулся к Славке.

— Иди домой, Славка, ложись спать.

— Ты меня отправляешь спать? Может быть, еще в постельку уложишь?

— По-хорошему говорю: уходи! Нам с ним,— Витка кивнул на Мишу,— поговорить надо.

Миша усмехнулся:

— Славка нам не помогает. Славка, не будешь мешать? Очень тебя прошу. Не вмешивайся в наш интимный разговор. Что, Витка, ты мне хочешь сказать?

— Еще раз полезешь не в свое дело — схлопочешь! Арцы — и в воду концы!

Миша сказал Славке:

— И это тут грубиян носит имя великого писателя. Кстати, Витка, почему тебя зовут Альфонсом Доде? Ты его читал когда-нибудь?

Витка поднял кулак.

— Это видал!

Славка попытался встать между ними.

— Бросьте, ребята, прекратите!

— Отойди! А то и тебе вмажу! — закричал Витка.

— Ты ведь обещал не вмешиваться! — Миша отодвинул Славку, — Дай нам спокойно поговорить. Так вот, Витенька, к твоему сведению: Альфонс Доде был великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью.

Витка поднес к его носу кулак.

— Я тебе покажу вежливость!

Миша был комсомольский активист, но он был арбатский, вырос в этом доме, знал законы и повадки улицы. Он схватил Виткину руку и вывернул ее. Витка выдернул руку и бросился на Мишу. Ответом ему были подножка и вполне квалифицированный удар в подбородок.

Витка упал.

— Опять получили!

Витка не внял этому предупреждению, поднялся, снова бросился на Мишу, но между ними уже стоял Славка.

— Ребята, прекратите сейчас же!

Вмешательство Славки вряд ли подействовало бы на Витку. Но из-за угла появился Навроцкий.

— Добрый вечер!

На скамейке по-прежнему темнела фигура Шаринца.

— У вас опять серьезный разговор? — улыбнулся Навроцкий.

— Ничего особенного, — сухо ответил Миша. — Пошли, Славка!

— Спокойной ночи! — сказал Навроцкий.

— Пока, — ответил Миша, не оборачиваясь.

Обернулся вежливый Славка.

— До свидания!

Навроцкий проводил их задумчивым взглядом, потом спросил Витку:

— По-прежнему не ладите?

— А тебе какое дело!

— Как грубо, как грубо, — поморщился Навроцкий. — Так вот, слушай, Витоня: будешь так разговаривать со мной, я из тебя сделаю беф-строгапов с подливкой. Понял!

Это говорил не лощеный делец, а какой-то совсем другой человек...

Его слышал и Шаринец. Навроцкий произнес свою угрозу достаточно громко.

Фабричный клуб был полон, за занавесом слышалась возня — участники готовились к выступлению. Скоро начало, а Слава не пришел — Миша отметил это с огорчением.

Занавес раздвинулся. Яша Полонский заиграл на рояле марш живой газеты — причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов и опереточных мелодий.

Под звуки этой своеобразной, но достаточно громкой музыки строй живой газеты — мальчики и девочки, рубашки и кофточки белые, брюки и юбки темные — промаршировали по сцене, декламируя вступление:

Мы сотрудники газеты,
Не артисты, не поэты.
С мира занавес дерем,
Всем покажем и споем.

Что в Париже? Все морокно!
Что у нас сейчас под бомом,
Как по Франции дела,
Как экскурсия прошла.

На Арбате что у нас,
Как в Италии сейчас,
Что в деревне, И короче:
Обо всем прочем и почесать!

Хор смолк, шеренга застыла, из-за нее выступила девочка, загримированная под Люду Зичину, сплела пальцы, вытянула руки и, поводя плечами, запела:

Я жеманство, тру-ля-ля,
И скажу вам смело:
Люблю глазами стрелять,
Не люблю лишь дела.

Как приятно день-деньской
Шевелить глазами,
И влюбляться с головой,
И не сыграть ночами.

Запела я лисеночек,
В нем пишу стихи я:
Мопассан и Поль де-Кок —
Вот моя стихия.

Девочка отошла в сторону. Из-за строя шагнул мальчик, одетый, как Юра: бархатная толстовка с белым бантом.

Только станет лишь темно,
Страстно ждешь меня кино,
Мэри Пикфорд, Гарри Паль,
Вскочат вдур в автомобиль,
И, сверкая, так алмаз,
Прянет к ним Форенке Дуглас.
Ах, держите вы меня,
Сколько жизни и огня!
Что мне школа, забыл давно,
Дайте мне кино!

Мальчик стал рядом с девочкой. Из-за строя вышел увалень, похожий на Витьку Бурова, и басом, подражая Витьке, запел:

Эй, берсегит! Посторонись!
Я очень гордый, с поднятой мордой.
Я разгильдяист! Я друг лентяйств!
Я чемпионов всех сильнее.

Я весь промира и пролаза,
Стекла бью и до отказа,
Мне каждый враг, кто не со мной,
И всех зову с собой на бой!

Появился мальчик, загримированный под Мишиного друга Генку — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги. В руках у него была громадная метла.

Я чемпион, я чемпион.
Нас летит, нас летит,
Эти паразиты здесь и там
Не дают работать нам.
Всех их с собой требую на бой!
С шен долон
Сбросим метлой!

Чемпион бьет метлой Барышню, Пиконза и Хулигана — они падают под его ударами; строй, маршируя, удаляется за сцену. За ним, охая и стаяя, плетутся Пикон, Барышня и Хулиган.

Потом были сцены из международной жизни, из жизни школы и фабрики. Встреча на сегодняшнем экране документальные кадры живой газеты двадцатых годов, известной под названием Синей блузы, современный зритель, возможно, воспримет их как наивные. В те годы это были ростки новой культуры, массовое действие, созвучное времени и увлекавшее зрителя.

На сцену поднялся Миша.

— Живая газета показала персонажи, на которых мы видим тлетворное влияние эпэ: хулиган, пикон и барышня. Эпэ принес с собой и другие отрицательные явления. Как с ними бороться? — вот предмет сегодняшнего диспута. Кто хочет выступить?

Встал Генка, одетый так, как его только что изобразили, — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги.

— Пошлость и мещанство — вот главный враг. Носят банты, галстуки, ажурные чулки, воняют духами. К чему эти декорации?

— Чем тебе мешают галстуки? — спросил Яша Полонский.

— Надо открывать шею солнцу, а не ходить, как собачка, в ошейник.

— А ажурные чулки?

— Для чего они? — воскликнул Генка. — Чтобы какой-нибудь гипокритный буржуазный выродок любовался «изящной дамской ножкой» на танцуйках?

— Ты против танцев?

— Их вред доказан наукой.

— Где ты это вычитал?

— Могу и тебе дать почитать. А некоторые элементы еще продолжают вертеть ногами. Танцы наскаждают мелкобуржуазные нравы. Обращаются на «вы», говорят «извините», «простите», «пардон» — все это гнилая интеллигентщина. Я сам видел, как один комсомолец подавал комсомолке пальто. Зачем? Чтобы подчеркнуть ее неадекватность? Ведь она ему пальто не подала.

— Хочешь, чтобы тебе подавали?

— А если у них любовь?

— Разве любовь в том, чтобы подавать пальто? Я не отрицаю любовь...

— Спасибо, благодетель!

— ...Но только на основе общей идеи...

Молодой звонкий голос из зала пропел частушку:

Ох, по дороге колокольцы,
Сердце словно прыгает.
Ох, не влюбляйтесь в комсомольца,
Стуюю измызгает.

Эти и последующие стихи написаны в двадцатых годах учеником московской школы имени Лесгинской — Яшей Полонским. Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.

— Генка, про тебя!

На сцену подиалась Зина Круглова в форме юнштурма — защитного цвета гимнастерка и юбка, широкий ремень, портупея через плечо.

— Мужичка называется мужичком потому, что он мужественный.

— Вода называется водой потому, что она водянистая, — вставил Яша Полонский.

— Поэтому, — продолжала Зина, — если парень подаст девушку пальто, в этом нет ничего унижительно-го, простая вежливость.

— Женщина называется женщиной потому, что она женственная, — не унимался Яша.

— Именн! Почему обязательно ходить в сапогах, я предпочитаю туфли...

— Танцевать удобнее? — Хотя бы! Мы будем танцевать независимо от того, разрешает это Генка или нет.

На сцене появился Юра.

— Я признателен Яше Полонскому за то, что послужил ему прообразом, дал пищу его богатой фантазии, его блестящей музе, горжусь этим. Но еще больше благодарен Генке: он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Стандарта! Всех подогнать под один тип: одинаково одеваться, одинаково развлекаться, одинаково думать! А я, например, не хочу. Хочу быть самим собой. И буду носить бант. Привет!

— Мы не хотим стандарта, — сказал Миша, — но нельзя думать только о себе — о своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант заменил тебе все.

Он забавтовался! — крикнул Яша.

Ручку поднял Сава Панкратов.

— Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размакывают финками.

— Это ты про меня, что ли? — ухмыльнулся Витка Буро.

— Да, про тебя. Ты выражаешься. Слова говоришь.

— А ты слышал? Слышал, как я ругался?

— Слышал.

— Как? Повтори!

— Сам знаешь, как. Я тебе потом повторю.

— И я слышал... И я! — закричали ребята в зале.

— А вы не слушайте! — огрызнулся Витка.

Зина Круглова сказала:

— Мало того, что Буров хулиганит сам, он вовлекает в хулиганство малолетних.

— Судить показательно судом! — сурово объявил Генка.

— А право имеешь?

— Имей. Школа отвечает за наш дом.

— Ой, испугался, — ухмыльнулся Витка, довольный, что оказался в центре внимания. — Когда судить-то будете?

— Сообщим, не забудем, — пообещал Миша, — не беспокойся, как-нибудь справимся с тобой. Запомним, на всякий случай. Итак, предложение?

— Повести решительно борьбу с меценатством, пошлостью и обывательщиной, — предложил Генка.

— Общо. Давай конкретнее.

— Запретить галстук, банты, ажурные чулки, духи.

— А одекон? — спросил Яша.

— Тоже.

— Одекон не роскошь, а гигиена.

— Этот лозунг выдумали частники-парикмахеры. Кто за предложение Генки? — спросил Миша.

Ручку поднял один Генка.

— Какие еще предложения?

— Запретить танцуйки! — объявил Генка.

— У меня другое предложение, — сказала Зина Круглова. — Танцы разрешить, кроме фокстрота и чарльстона.

— Это почему?

— В фокстроте прижимаются.

— А ты кай прижимайся.

— Это буржуазный танец, — настаивала Зина, — и никто не умеет его по-настоящему танцевать, получается одно кривляние и выливание.

Тот же молодой, звонкий девичий голос из зала выкрикнул:

— А барыню-сударыню можно?

— А трепак?

— Лично я предпочитаю лезгинку, — сказал Миша — кабардинскую и каурскую, но в перерывах между ними иногда задумываюсь: для чего я живу и работаю?

9

Писпуг только возвысил Витку Бурова в собственном мнении, он стал там центральной фигурой. Он и шел в клуб в расчете, что о нем заговорят, а если нет, то он выкинет такое, что бы заговорили.

В своей обычной расслабленной позе Витка сидел во дворе, на пустом дерзавном эскизе позади первого корпуса, в узком проходе между стеной дома и забором. Рядом на асфальте расположились Шныра, Фургон и Белка. У угла, на стреме, стоял Паштет. Было утро, не самое раннее, часов десять. Воскресенье.

Паштет махнул рукой — все в порядке.

Витка лениво пристал, потянулся, даже зазнул, подтянул Белку, она встала ему на плечи и проскользнула в форточку.

Витка опустился на ящик, принял прежнюю позу, Шныра и Фургон не сделали ни одного движения, Паштет был на посту. Все совершилось молниеносно, никто не заметил — зедний тупик двора, по чему не ходят, задняя стена дома — ни дверей, ни подъездов, впереди — глухая кирпичная стена.

Белка очутилась в пустом фойе кинотеатра «Арбатский Арс».

На стенах висели афиши, рекламы, фотографии из кинофильмов.

У стены возвышалась буфетная стойка под круглым стеклом. Белка отодвинула дверцу. Скрип не смутил ее: кинотеатр заперт снаружи. Прозерено.

Она сняла с прилавка четыре бутылки лимонада, пирожные, конфеты, бутерброды, сложила в мешок, вернулась к окну, поскребла о стекло.

Витка снова так же неторопливо поднялся, протянул руку, взял мешок, помог Белке вылезти из окна. Белка схватила мешок и скрылась с ним в подъезде черного хода.

Ребята обогнули корпус, очутились на переднем дворе, где играли детишки, и подошли к пожарной лестнице.

Узкая металлическая лестница начиналась от второго этажа и, прикрепленная к стене металлическими прутьями, достигала крыши восьмизатонного корпуса. У крыши прутья были оторваны, верх лестницы раскачивался.

Витка уселся на нижней ступени лестницы.

— Куда забрался, места тебе другого нет? — недовольно заметила дворничиха.

— Сидеть нельзя?

— Нельзя, слаз!

Витка потянул носом воздух.

— Мне кислород нужен, кислороду не хватает.— Он поднялся еще на две ступеньки, снова потянул носом.— Хороший кислород, первый сорт.

— Доиграешься, Витка!

Дворничиха ушла со своей метлой. Витка ухмылялся: цель достигнута, все видели, что он на лестнице и, следовательно, к буфету отношения иметь не может. Ему было нужно а и б и, слово, которого он не знал, но представление о нем имел.

Шныра, Паштет и Фургон, задрав головы, смотрели, как Витка поднимается по лестнице.

Достигнув четвертого этажа, Витка свесился и заглянул в открытое окно. Перед зеркалом сидела Ольга Дмитриевна в халате и с полотенцем на голове.

Умылаясь, Витка смотрел на нее.

Она оглянулась, вскрикнула в испуге.

Витка скорчил страшную рожу.

Ольга Дмитриевна вскопичила с пufика, закрыла окно, задернула занавеску.

Довольный своей проделкой, Витка посмотрел вниз, желая увидеть, какой эффект произвела она на ребят, как вдруг заметил проходящего по двору Шаринца.

— Где Белка? — спросил Шаринец Шныру.

— Не знаю.

Витка спустился вниз, прыгнул с лестницы.

— Тебе чего?

— А тебе чего?

— Ну и мотай отсюда!

— Ты, Витка, один, а я не один.

— Плевал я на твоих, ты моих не трогай.

— Дождешься! — пригрозил Шаринец и пошел со двора.

Витка снова взобрался по лестнице. Рискованно балансируя на пруте, дотронулся до окна, взял стоящую между рамами банку, запустил в нее палец, набрал веревку и отправил в рот.

Мальчишки криками и смехом выразили свой восторг.

В следующем окне, этажом выше, Витка увидел целующуюся парочку.

— Сосед, что делаешь?

Парочка оглянулась, девушка выскочила из комнаты.

В окне следующего этажа устатый дяденька сосредоточенно уминал за столом большой шматок сала.

— Дай кусочек!

Устатый перестал жевать и озадаченно уставился на Витку.

Забавляясь таким образом, Витка достиг вершины лестницы. Край ее не доходил до крыши, оба прута были сломаны.

Предстояла самая опасная часть операции.

Сильно и размахисто раскачиваясь, Витка приближал верш лестницы к крыше и, когда она достигла ее, схватился рукой за желоб, подтянулся, перекинулся на крышу, продолжая удерживать лестницу сначала ногами, потом руками.

Улегишись на крыше, крикнул вниз:

— Давай!

Ловко и быстро, как обезьяна, взобрался Шныра. За ним, умирая от страха, начал подъем Фургон. Добравшись до середины, остановился, посмотрел вниз.

— На меня смотри! — крикнул Витка.

Фургон снова начал неловко подниматься. Витка протянул ему руку и перетянул на крышу. После того, как уверенно взобрался Паштет, Витка отпустил лестницу.

Ребятишки внизу с завистью следили за их подъемом. Виткино тщеславие было удовлетворено, и он крикнул вниз:

— Привет!

Через слуховое окно он спустился на чердак, перелез через балки и стропила, откинул задвижку на двери. На площадке черного хода сидела Белка с мешком.

— Час сижу!

Он впустил ее на чердак, накиннул задвижку.

...Вся компания сидела на крыше.

Витка вынул из мешка бутылки с лимонадом, пирожные, бутерброды, конфеты, отложил в сторону две закупоренные банки с мопансье.

— Это в Крым.

Он снова через слуховое окно спустился на чердак и спрятал банки в чуланчике, замаскированном досками и фанерой. На полу лежали тюфяк и равное одеяло, на досках, заменявших стены, висели открытки с видами Крыма.

Он вернулся на крышу, откупорил лимонад, разложил пирожные и конфеты.

— Шамайте! В Крым поедем — в вагоне-ресторане будем обедать.

— Что за вагон-ресторан?

— Вагон, а в нем столики, ресторан. Поезд идет, колеса постукивают, а ты рубашку, официант подает, что закажешь, а закажешь, что захочешь,— расписывал Витка предстоящую поездку в Крым.— Пообедаешь — и к себе, по тамбурам, из вагона в вагон, все на ходу. Пришел в свой вагон, заваляйся спать, у каждого своя полка — плацкарт называется. Спать не хочешь — смотри в окно. Главное — деньги сделать.

— А как деньги сделаем? — спросил Фургон.

— Тебе что позволил такие вопросы задавать? Испуганный Фургон молчал.

— Кто, спрашиваю, позволил? Или кто подучил?

Подоснал! Кто? Мишка Поляков? Сашка-Фасон? Говори! А то сброшу с крыши. Арцы — и в воду концы!

— Он просто так спросил,— вступился Шныра.

— Заткнись! Если кто насчет Крыма натреплется, голову оторву.

— А чего трепаться? — возразил Шныра.— Думаешь, не знаю? Знают.

— Откуда? Кто сказал?

— Да брось ты! Сам сколько раз говорил: Крым... Крым...

— А хорошо в Крыму? — спросила Белка, предупреждая ссору.

Ее наивную дипломатию поддержал Паштет.

— Спрашивает! Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили. Там море кругом.

— Всесоюзная здравница называется,— добавил Шныра.

Витка лег на спину, подставил лицо солнцу, мечтательно заговорил:

— Самое лучшее место — Крым. Море, само собой, тепло круглый год, хочешь — купайся, хочешь — загорай. Фрукты ни по чем: груши дюшес, виноград дамские пальчики, абрикосы — копейка фунт. В Ливадию поедем, там дворец, царь Николай жил. Ялта... Главное, ксиву надежную иметь, а то снимут с поезда как безнадзорных.

— Какую ксиву? — спросил Фургон.

— Вот дурачок,— засмеялся Паштет,— ксива — документ, значит.

— Ксива будет такая,— сказал Витка,— экскурсия, вы ученики, я за старшего. Печать поставим — и порядок.

— А где печать возьмем? — опять спросил наивный Фургон.

Витька приподнялся, пристально посмотрел на Фургона.

Шныра опять защитил приятеля:

— Он просто так спросил... Не видишь разве, дурачок еще, ничего не понимает.

Витька погрозил Фургону пальцем.

— Много знать хочешь, треплешься. Не суйся, за тебя все сделают.

Он замолчал, прислушался: дергали чердачную дверь.

Витька сделал знак сидеть тихо, спустился на чердак, прокрался к двери, прислушался.

За дверью разговаривали. Витька узнал голоса Миши и Генки.

— ...Кто-то запер дверь. Управдом, кто ли...

— ...Замка нет, изнутри заперта...

— ...Пойдем со двора...

Было слышно как они спускаются по лестнице.

Витька вернулся на крышу, лег на спину.

— Миша с Генкой... Убрались...

10

Миша и Генка вернулись во двор и подошли к пожарной лестнице.

Миша надел на шею моток проволоки, прикрепил к поясу связки роликов и стал взбираться по лестнице. За ним с двумя шестами последовал Генка.

Их подъем был прерван появлением в окне женщины с растрепанными волосами и банкой в руке.

— Хулиганы! Ворюги! — кричала женщина, поворачиваясь во все стороны и показывая банку жильцам. — Полбанки варенья сожрали!

Миша недоумоменно смотрел на нее.

— Не трогай мы вашего варенья.

Мужчина в подтяжках, в другом окне, укоризненно качал головой:

— Стыдно, Миша, а еще комсомолец. И ты, Генка! Вот уж не ожидал.

— Не видели мы никакого варенья! — закричал Генка.

— Хулиганы! Бездельники! — бешевала женщина.

— Какое варенье? — осведомился Миша.

— Еще спрашивает! Клубничное.

— Извините, мы не едим клубничного варенья.

Мальчики поднялись выше.

— Мытарства первых радиолубителей, — сказал Миша. — Такие, как ты, прокладывают дорогу в будущее.

— Сознание этого только и поддерживает во мне бодрость духа, — ответил Генка, подтягивая шесты.

На восьмом этаже из окна выглянул русоволосый рабфаковец, подмигнул:

— Радиозайцы!

— Мы зарегистрированные.

— Будете крышу ломать? Крыша-то надо мной.

— Даже не дотронуем, — успокоил его Генка.

Миша проделал то же, что и Витька: раскачал верх лестницы, перебрался на крышу, удержал лестницу.

Генка передал ему шесты и тоже перебрался на крышу.

Они не удивились, увидев здесь Витькину компанию: они сами в свое время лезли сюда погребаться на солнышке. Но компания была враждебной. И этот пир... Откуда такие яства! Ворованное, в этом не могло быть никаких сомнений.

Миша не хотел затеваться здесь, на крыше. Не место.

Но Генка, как всегда, не смог удержаться:

— Богато живете!

— Живем! А что? — ответил Витька, спокойно отхлебывая ситро из горлышка бутылки. — Завидно?

— Наверно, — пробормотал Генка, прикрепляя шест к дымовой трубе.

Когда Миша натягивал антенну, лежавший на его пути Витька не пошевелился. Миша перешагнул через него.

Витька ухмыльнулся.

Убедившись, что спуск висит хорошо, между окон, Миша и Генка через слуховое окно спустились на чердак, перелезли через балки и подошли к чердачной двери.

— Устроил нелегальный дом, — сказал Генка и оторвал задвижку. — Сам ворует, — продолжал он, спускаясь с Мишей по лестнице, — и маленьких причащает. Вот тебе и диспут! Плевал он на наш диспут. Его надо изолировать. Наши школьники участвуют в воровстве, мы это видим и никак не реагируем, закрываем глаза. А если они попадутся на настоящем преступлении?

Очутившись во дворе, они натянули свисающий с крыши провод.

Из окна выглянул Славка.

— Приходи, сейчас слушать будем, — сказал Генка.

— Ладно!

Из подъезда вышел Валентин Валентинович Навроцкий, на этот раз не в светлом, а в темно-синем бостоновом костюме.

— Здравствуйте, Миша!

— Guten tag! — ответил Миша.

Навроцкий сделал вид, будто не заметил мальчишек.

— Радио устраиваете?

— Будем, — ответил Генка.

Миша пристально и изучающе рассматривал Навроцкого.

Навроцкий ответил ему таким же взглядом.

Так некоторое время они молча смотрели друг на друга.

Потом Навроцкий сказал:

— Радиостанция Коминтерна скоро начнет свои передачи. Так, во всяком случае, пишут в газетах. Миша молчал.

— Кстати, — продолжал Навроцкий, — на крыше вы не встретились со своим недругом?

— С каким недругом?

— С этим, как его, Альфонсом Доде, так, кажется, его зовут.

— Его зовут Виктор Буров, — хмуро ответил Миша.

— Возможно. Как раз перед вами он со своим акционерным обществом взобрался на крышу.

— Чердак — его постоянное местожительство, там и ночует, — сказал Генка.

— Я поражен, — сказал Навроцкий, — он так легко отделился. Размахивал финкой, а его поддержали час в милиции и отпустили.

— Он никого не резал, — возразил Миша.

— Но была попытка.

Навроцкий был прав, но Миша не хотел с ним соглашаться.

— Я думаю, была только попытка похвастаться своим ножом.

Навроцкий засмеялся.

— Он хвастун, оказывается, вот почему его называют Альфонсом Доде... Но, знаете, сегодня он хвастается ножом, завтра пустит его в ход. Мы в обществе «Друг детей» часто сталкиваемся с по-

добными ситуациями — один негодяй портит десяток детей: они тоже заводят ножи.

— Этого мы ему не позволим, — сказал Генка, — как-нибудь справимся. Не с такими справлялись.

— Между прочим, — сказал Навроцкий, — у одного моего приятеля есть итальянский детекторный приемник. Свой вы, наверно, сами собрали?

— Сами, — подтвердил Генка.

— Ну вот, а то фабричный, настоящий, их производят в Италии. Если хотите, я попрошу на время, вы послушаете, может быть, скопируете что-либо.

— Спасибо, мы попробуем свой, — ответил Миша.
— Желаю успеха, — сказал Навроцкий.

II

От же комод, покрытый белой салфеткой с кружевной оборкой, квадратное зеркало с зеленым лепестком в углу, моток ниток, пропнутый длинной иглой, старинные фотографии в овальных рамках с тисненными золотом фамилиями фотографов. Мало что изменилось в этой комнате. Только вместо широкой кровати с горой подушек стелили две узкие койки: одна, отгороженная занавеской, — для тетки, другая — для Генки. На маленьком столике в углу — детекторный приемник, пачки тонкого шнура в белой обмотке, шурупы, гайки, винты, отвертка.

Генка присоединил антенну к приемнику, надел на голову наушники и, осторожно гыкая острием иглы в камешек, пытался поймать какую-нибудь стацию. Из наушников доносились шипение, хрип, свист.

Генка положил наушники в стакан. Сквозь хрип и свист донесся далекий глухой голос:

«Из Парижа передают: правительство Пенлеве-Ериана-Каю поставило в палате депутатов вопрос о доверии»...

— Ну что? — торжествующе спросил Генка.

— Блеск!

— Красота!

Однако опять посылались хрипение, свист, треск и шум...

— Ничего, — сказал Генка, — будет работать не хуже итальянского.

— А ты его видел, итальянский? — спросил Славка.

— Рассказывал тут один тип, Валентин Валентинович, предлагал даже. Зря ты, Миша, отказался. Была бы хоть польза от излпана.

— Он не излпан, а агент по снабжению.

— Один черт! Посмотри на костюм, галстук, лакированные ботинки...

— Ты грубый и примитивный социолог, — сказал Миша, — для тебя одежда — главный признак классовой принадлежности.

— Больше того! — подхватил Генка. — Признак его психологии. Человек, возводящий в культ лакированные ботинки, пуст, как барабан.

— Кулом могут стать и стопанные сапоги.

— Простю у меня нет друзей.

— Возможно, Валентин Валентинович не так уж плох, — заметил Славка. — Тогда с Виткой, с финкой, другой бы побоялся ввязаться, а он вышел и сказал правду.

— Это так, — согласился Миша, — и все же... Гладкий, сладкий, обходительный...

— Коммерсант, он и должен быть обходительным.

— Зими приказал задержать его вагон, а Красавцев отправил. Потом я их видел вместе в ресторане. В чем суть махинации?

— Даэт взятки Красавцеву, дает в лапу, а тот ему побыстрее отпускает товар, — объяснил Славка.

— Спокойно ты об этом говоришь...

— А что! Стенать, рыдать, посылать голову пеплом? Только слепой не видит, что делается. Халют, руут, тащат, дают взятки, берут взятки. Мелкота все сваливает на четыре «у»: уусука, утруска, утер, утечка. Крупняки становятся миллионерами на чуждых «без»: бесхозяйственность, безответственность, безграмотность, безразличие. Какое мне дело до Навроцкого, до Красавцева, когда их тысячи!

— Рано ты складываешь оружие.

— Просто я вижу немного больше. Другая, знаешь ли, площадка.

— Эстрада для оркестра.

— Ты хочешь меня оскорбить?

— Просто я хочу сказать, что ресторан не такая уж высокая площадка для обозрения жизни.

— Также остается добавить, что я гнилой интеллигент.

— Не надо говорить за меня, — возразил Миша. — Я могу сам за себя сказать...

— Пожалуйста, говори!

— Мору. Не следует собственные невзгоды превращать в барометр, в мерило жизни всего человечества. Тебе сейчас плохо, да, плохо, трудно. Но это не значит, что наступил мировой потоп. Он еще не наступил. Ты видишь излпанов, аферистов, взяточников, но жизнь — это не только ресторан «Эрмитаж», жизнь значительно больше, чем ресторан «Эрмитаж». И если кучка паразитов, именно кучка, обворовывает государство, крадет и расхищает народное добро, вряд ли можно быть безразличным. Этот разговор должен был рано или поздно произойти, он просто откладывался. Все же Генка примирительно сказал:

— Я думаю, вы оба неправы. Безусловно, ты, Славка, субъективен. Изп — это временно, и нельзя так обобщать. С другой стороны, помогать голову над их делишками тоже не следует. Нам в их коммерции не разобратся, да и есть кому разобратся помимо нас. У нас свои задачи и свои обязанности, мы уклоняемся от них, прямо говорю. Юра и Лида шатаются по ресторанам — разве им место в советской школе? А мы молчим, мы в стороне. Витка Буров разлагает учащихся нашей школы, малолетних, замечьте, — мы опять в стороне, опять молчим.

— Им интересно с Виткой, — сказал Славка, — он их заворожил Крымом.

— Ах, так? У него, у Витки, значит, романтика, а у нас скучная проза. Это ты хочешь сказать?

— Именно это, — подтвердил Славка.

— Ну, знаешь... Защищать Витку...

— А что, такого? В сущности, он не злой парень.

— Он бездельник! — сказал Миша.

— Не забывай, что у него дома.

— Ах, да, отец-алкоголик — это оправдание?

— Не оправдание, а объяснение.

— Витка Буров — достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя сам, а не прятаться за отца-алкоголика, и не сидеть на шее у матери, и...

Генка пербиги его:

— Тише, тише! Слышите? Говорит Нижний Новгород...



Витка подошел к антенне.
— Что за фигура?

— Антенна для детекторного приемника,— объяснил Фургон.

Витка понятия не имел, что такое детекторный приемник; но показывая свою несведомленность не хотел, а потому спросил пренебрежительно:

— Ты откуда знаешь?

— Ребята в школе делают. Наушники надевают и слушают радио.

— Ни черта они не услышат!

Так он выразил свое презрение к авторам этой затеи. Но сама затея беспокоила: они торглись в его владения. Крыша — его резиденция; чуланчик — его спальня, чердак — хранилище всего, что собирают они на Крым.

Первым побуждением было сорвать проволоку, сломать дурацкие палки, торчащие над дымовыми трубами и уродующие крышу.

Он этого не сделал. Миша и Генка заявлять снова, поставят палки, натянут проволоку; они не отступят, Витка их хорошо знает, и если здесь на крыше начнутся драки, то он все ее потеряет.

Эти рассуждения свидетелевали о наличии у Витки здравого смысла. Однако вид задвижки, сорванной с чердачной двери, привел его в бешенство — он чуть было не вернулся на крышу и не сломал их чертовое сооружение. Но уличная, чисто арбатская выдержка победила и на этот раз. Слишком важен для него чердак, чтобы принимать решение, продиктованное желанием отомстить. Чердак — его дом. Родительский дом Витка не любил, не любил отца-алкоголика, надоели попреки: когда будешь работать, когда будешь зарабатывать?... А что он! Стоял на бирже труда, очередь на бронь подростков большая, в ФШУ не послали, в пекарню загнали, к черту на рога, на Разгуляй, являясь к пяти утра, нечестать ему в пекарню, кто ли! Пекарня тесная, душная, грязная — валькавая! Бросил, вернулся на биржу, а ему: «Не хочешь работать?»

Съездит в Крым, погуляет, а потом устроится на работу, только на такую, чтобы по душе. Завод, фабрика — каждый день один и те же морды — ни за что! Хотела мать определить к сапожнику — спину гнуть, подметки подбивать. Сапожник — последний человек; к кино и то орут на механика: «Сапожники!» — когда чиста пугает или вверх ногами показывает. Вот лифты — это подходяще. Приходил мастер, лазил на чердак, в машинное отделение, Витка увязался за ним. Мастер сказал: летом будут лифты налаживать. Раньше электроэнергия не было, из-за этого не пускали, а теперь энергия есть, а мастеров не хватает. Лифты «старые, изношенные, поломанные, все растащено, ремонтировать надо, дело тонкое, сложное, а мастеров на всю Москву — два, три, и обчелся.

Витка лазил с ним по чердакам, показывал тросы, блоки, знал, где что лежит, мастер его одобрил, сказал: возмуж в помощники, научу, будешь за лифтами смотреть. Налаживать лифты — это да, это устраивало. В доме шесть подъездов — шесть лифтов. Пустит лифт — будут люди подниматься, не пустит — попрут пехом на восьмой этаж. Это придает ему значительности. Витке хотелось быть значительным именно здесь, у себя дома. Придут к нему: товарищ Буров, почините, пожалуйста, лифт, не работает, не поднимается, или не спускается, или застрял какой чудик между этажами — потеха! Захочет — починит, не захочет — нет, не починит. И не надо тащиться на завод, толкаться в трамвае. Не только сам себе —

всему дому хозяин. Ключи от чердака в кармане, на чердаке — аппаратная будка, никто не имеет права войти, всех с крыши погонит, покажет им палки с проводами, антенны ихние и радио! Сиди себе дома; если что надо, сами за тобой прибегут. После Крыма лифты были второй мечтой Витки.

Он прохаживался по Арбату, совершал привычный рейс по улице, интересам которой жил, где знал каждый булыжник мостовой, выбоину на тротуаре. Но ничего нового на улице не было, и Витка пошел поест что-нибудь. Потом он отправился на чердак и устроил такую задвижку, какую ни Миша, ни Генка не оторвут, пусть лазают по пожарной лестнице.

Картина, которую он застал дома, его не удивила, он привык к подобным представлениям, особенно по воскресеньям.

За столом сидел пьяный отец. Где успел набраться с утра, черт его знает! Витка с неприязнью смотрел на его побуревшее от водки лицо. Плюгавый какой-то, грязный, жалкий. Витка его особенно презирал за то, что жалкий. Было стыдно, что у него та кой отец. Никто его в доме не уважает. И оттого, что никто не уважает его отца, Витка упорно утверждал себя.

— Дай рубль, говорю, тебе говорю, дай сейчас же, кому говорю! — бубнил отец.

— Нет у меня рубля, сказала тебе!

Засучив рукава, мать стирала белье в деревянном корыте.

— Кому говорю! — заплетаящимся языком повторил отец, не обращая внимания на приход Витки, будучи тот и не пришел воевать.

— Хватит, набрался, спать ложись! — сказала мать.

— Мне долг надо отдать... Поняла?... Д-долг... Д-долг чести, поняла?

Отец куражился, показывал, что он городской, а мать деревенская. Он пытался встать, но пошатнулся и сразу опустился на табурет.

— Работать надо, а не долги делать. — Мать сильными руками перетирала белье в жидкой мыльной пене.

— Я без... безработный... Долг чести...

— Не пил бы, так и не был бы без работы.

— Работа... Я мастер, дура!

— Не мастер ты, алкоголик! Занавески и те пропил. От людей стыдно... Хоть бы куда провалился с моей головы, алкоголь проклятый! Хоть бы тебя пьяного трамваем задавило!

— Это-то... Это-то ты на кого! — Буров опять поднялся, удержался на этот раз в вертикальном положении. — На кого, спрашиваю, на мужа? На мужа, который, значит, тут есть лицо... Такие слова!

Витка загрохотал мать.

— Ложись спать, папаян!

Он был одного роста с отцом, но плотнее и сильнее его.

— Ты! Как смеешь?!

Отец поднял кулак, но Витка перехватил его руку.

— Ложись спать, папаян!

Сообразив, что если он вырвет руку, то упадет, Буров-отец завопил:

— На отца! Люди! Народ! Караул! Убивают!

Но люди не откликнулись: в квартире привыкли к скандалам у Буровых. Жили они на первом этаже, крики были слышны во дворе, но и во дворе никто не отозвался: тоже привыкли.

Витка держал руку отца.

— Не смей ее трогать!

Открылась дверь, и появился Миша, остановился, молча взглянув на происходящее.

Буров-отец вырвал руку, плюхнулся на табуретку.
— Тебе чего?! — спросил Витка.

— Дело есть.

— Не звали тебя. Чеси!

Буров-отец ударил кулаком по столу:

— Нет! Не уходи, товарищ! Смотри, как сын на отца кидается. Смотри, какие дети пошли. Раньше их ремнем, а теперь нет, права не имеешь.

— Не возвремья вы пришли, — сказала Бурова-мать.

— Не уходи! — кричал Буров-отец. — Я их, паразитов, жидовенцев, кормлю, пою... И меня же, в моем доме... Куда мне теперь, деваться?.. Сын — бездельник, хулиган, отца не уважает, на отца кидается... Убить хочет, смерти моей желает...

— Чего на парня возводишь, — сказала Бурова-мать. — Сам ты паразит, бездельник... Она обернулась к Мише. — Меня ударить хотел, а Вита не дал. Разве сын позволит мать бить?

— Ты зачем с ним разговариваешь?! — нахмурился Витка. — Он кто? Лезет тоже! Убирайся, уходи! Сказали тебе!

— Может, и ты со мной выйдешь? — сказал Миша.

— Зачем?

— Поговорим.

— Не о чем. Звали тебя! Иди!

— Будь здоров! Только не шумите так, на весь двор.

— Не твоё дело! — отрезал Витка.

13

Комбинация Навроцкого была проста. На фабрике товар оформлялся как бракованный или третьесортный. На самом деле товар был высококачественный. Сбивая его частникам по цене, во много превышающей фабричную, Валентин Валентинович зарабатывал столько, что был вполне подготовлен к возвращению России к капитализму, а о том, что Россия к нему возвращается, свидетельствовал нэт: восемьдесят пять процентов розничной торговли уже в частных руках.

Надо получить на фабрике еще пять вагонов мануфактуры. Такой шаг решит проблему, позволит уйти в тень и дожидаться, когда но в а я экономическая политика окончательно вернется к старой, дореволюционной. Объявляли, что отступление кончилось, усилили налоговый пресс, навязывают на частника — все это временное, государство делает отчаянные попытки сохранить терпящие позиции. Бесполезно, против законов экономического развития не поспрешь, без частной инициативы не обойдётся.

Он финансовый гений, потенциальный промышленный магнат, попавший в условия социальной революции. Уехать на Запад? Жалкая судьба русских эмигрантов его не устраивала. Они не предвидели будущего России, они близорукы, а он прозорлив. Он возвращает свой период первоначального накопления, возвращает себе то, что государство отобрало у других. Кому принадлежала эта фабрика? Братьям Бутиковым. По какому праву Советская власть отобрала ее? Для создания нового общества? Прекрасно! Теперь он отбирает отобранное для возвращения к старому обществу.

Такова конечная цель. А конкретная задача — получить пять вагонов мануфактуры. Но на пути встал инженер Зимин, велел задержать вагон, хотел проверить товар, теперь требует документы. Но инженер при всей своей барской нахмуренности, по-видимому, не так уж неприступен. Вечер в ресторане и Люда — первый шаг. Люда — очаровательная девица,

хотя ее «маман» Навроцкому еще больше понравилась. Но «маман» смотрит на него пустыми глазами, еле отвечает на поклон. Люда перспективнее, у нее к нему какой-то интерес, остается его развить. Девочка неглупа, держится достойно, даже аристократично; как и он, увлечена действительностью. Он еще не разобрался, как реагирует она на его рассказы и философию, но то, как он отодвинул плечом Альфонса Доде, действовало наверняка. Девочки нужны героям. Были! Он и есть герой.

Валентин Валентинович требовал от людей уважения, которое он испытывал сам к себе, высоко ценил свою репутацию; она нужна ему не только в будущем, но и в настоящем: охраняет, внушает уверенность и спокойствие. Он никого не боится, но всегда нацелен, собран, мобилизован — нужна неприязнь, но бывает случайной, надо знать, что за ней скрывается, — удар, даже самый слабый, может иметь губительные последствия.

Миша Поляков смотрит, как волчок. Почему? Усек с вагоном? Сомнительно. Шокирует модный костюм. Ведь они ходят в косоворотках и кожаных куртках. Ну, уж такое он на себя не напялит, такая мимикрия ни к чему. И вообще к черту этого мальчишку, молокосос, не стоит о нем думать...

Однако этот мальчишка испортил ему настроение. Что-то неприемлимое во взгляде, такого не купишь, на промышленного магната он работать не будет. Навроцкий знал, как разговаривать с фининспектором, с властью, даже со следователем. Миша представлял не власть, а идею, мораль, нравственность, а к этому у Валентина Валентиновича ключа не было.

В плохом настроении Навроцкий никогда не признавался, у него нет права на плохое настроение. Свое нынешнее настроение он называл не плохим, а лирическим.

Он так и сказал Юре, когда они встретились у ресторана «Эрмитаж»:

— У меня, мой друг, сегодня лирическое настроение. Мы не пойдем в этот вертеп. Мы честные труженики, и я не желаю сидеть рядом с гонимыми и мандарилками. Мы пойдем к артистам. Ты собираешься стать Рудольфом Валентино, а в душе поэт.

Так они очутились у маленького кафе «Эклер» — название несколько странное для места, где собирались артисты и поэты.

Перед его слабо освещенным входом Валентин Валентинович задержался:

— Эклер! Много сладкого, жирного крема. Ты любишь крем? Или предпочитаешь что-нибудь другое? Мороженое, например? Или что-нибудь покрепче! Неудачное название. Но здесь ты убедишься, что содержание не всегда соответствует форме.

По крутой каменной лестнице они спустились в низкое, тесное, прокуренное помещение со сводчатыми потолками. За маленькими столиками чудом умещались кучи людей. На возвышении, заменявшем эстраду, молодой человек небрежно и виртуозно перебирал клавиши пианино.

Пробираясь между тесно стоящими столиками, Юра поздоровался с Эллен и Игорем Буш, сидевшими в шумной молодой компании.

— Кто это? — спросил Валентин Валентинович, когда они наконец втиснулись между стеной и чьи-то спинами и уселись за столик, добытый Навроцким с великим трудом.

— Знаменитая цирковая пара Эллен Буш и ее брат Игорь.

— Откуда ты ее знаешь?

— Знаком, — загадочно ответил Юра, но не удержался и добавил: — В нее втрескался Мишка Поляков.

Валентин Валентинович поднял брови.

— Смазливый мальчишка, но для такой королевы? — Он нахмурился: — Мне не нравится твой Миша Поляков.

— Мой! Я его сам терпеть не могу. А вы его хвалили, он вам о ч е м понравился.

Не обращая внимания на упрек, Валентин Валентинович продолжал:

— У него слишком тяжелый взгляд. Даже странно в таком юном возрасте. Я не люблю, когда на меня так смотрят.

На страде небритый поэт в рваных сандалиях на босу ногу, завывая, читал стихи о том, как замечательно быть дикарем, ходить по Африке нагишом, с одной только бамбуковой палкой... «И Бей по голове бамбуковой палкой!...» — это при встрече с врагом, «Ее тихонько оглуши и делай с нею все, что хочешь!...» — при встрече с женщиной.

— Да мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — мы честные труженики и, как что-то сказал, должины стоять над скважиной.

— Это сказал Робен Роллан.

— Молодец Робен Роллан! Хорошо сказал! Однako... — Он задумался, помахав ложечкой а чашке и с горечью заключил: — Однако некоторые, как будто неглупые, интеллигентные люди все еще в плену сословных предрассудков. Революция их ничему не научила. Я не все принимаю в нашей действительности. Больше того, я расхожусь с ней в ряде вопросов. Но, мой друг, согласись, что сословные предрассудки — это мещанство.

— О ком вы говорите?

— Писмавший, для некоторых слово «агент-заготовитель» звучит несолодию, слишком плебейски... Какой-то там агентик...

— Кто может так мыслить в наше время?

— В общем, банальная история — я влюбился.

— Без взаимности?

— Допускаю.

— Этого не может быть. Что вас смущает?

— Ну, хотя бы разница в возрасте. Мне двадцать пять, ей семнадцать.

— Мой папа старше мамы на двенадцать лет.

— Еще одно: ей надо учиться.

— Пусть учится, чему это мешает?

— Слушай, а ты о ком? — спросил Валентин Валентинович.

— О той, в которую вы влюблены.

— Кто она?

Юра с недоумением посмотрел на Валентина Валентиновича:

— Я думал, это Люда...

— Ты угадал. А как ты угадал?

— Это совсем нетрудно угадать. В нее многие влюблены.

— А она?

— Ни в кого.

— А ты в нее не влюблен?

— Был... принался. Юра... но потом надоело: снежная королева с принципами. Хорошая, хорошая девочка и хорошенькая, а вот какая-то очень одинокая.

— Да? При таких родителях?

— Возможно, а в родителях как раз все дело, — ответил Юра. — Они несовременны.

— В каком смысле?

— Папаша знает три языка, мамаша — два.

— Ты прав, мой друг, это чересчур.

— И при всем том, — продолжал Юра, — поразительная детскость, инфантильность. До сих пор устраивают елку, по подумайте! И веселятся, как дети. Папаша стоит на табурете, украшает, мамаша тай-

ком готовит подарки, утром их находят под елкой, все в диком восторге — их, видите ли, подожгли Дед Мороз... Вот в такие игры они до сих пор играют, и не только на рождество, а при любом случае...

Валентин Валентинович медленно потягивал кофе, помешивая его ложечкой, задумчиво поглядывал в зал.

Взгляд его задержался на Эллен Буш.

Красавица окружена циркачами, и их узною по физиономиям.

— Да, вероятно.

— Один к ней очень внимателен.

— Это ее брат.

— Нет, ведь брат — тот блондин, ты с ним познакомился.

— Да.

— А я имею в виду шатена, видишь — такой крепкий парень. Впрочем, все они крепкие ребята. Боюсь, что шансы нашего Миши очень малы.

— Шансы!... Аскет, как все они... «Любовь возможна только на общей идейной основе». Какая же может быть общая идейная основа с циркачкой? Она даже не комсомолка.

— Но ты сам сказал, что он в нее влюблен.

— Тайком, вопреки собственным убеждениям.

— Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — я уже имел случай тебе говорить: папиросы «Ира» не все, что осталось от старого мира. Остались страсти человеческие... — Он поднял палец. — Извечные, непреходящие страсти; важно не быть их рабом... Я должен работать, должен делать свое будущее, но и мне хочется спокойствия, уюта, заботливой женской руки. С тридцати лет я зарабатываю свой кусок хлеба, я пережил мировую войну, гражданскую, потерял родителей, меня швыряло, как щепку, я устал. Но, — он развел руками, — в этой семье несколько поколений носили форменные инженерные фуражки. А я? Я простой агентик. У меня даже нет родословной. У лошадей есть родословная, а у меня нет. Какая родословная может быть у агентика! Он возник из ничего, с а б ж а е! Разве порядочные родители отдадут свою дочь человеку, возникшему из ничего?

Юра пожал плечами.

— Родители? Кто с этим считается?

— Я считаю! — воскликнул Валентин Валентинович. — Я в этом смысле консерватор. Я хочу не семейных раздоров, а семейного согласия.

— Ольга Дмитриевна к вам благосклонна, мне кажется, благодарна за тот случай во дворе. Она добрая и делит людей только на хороших и плохих. Середины нет. Вас она, наверняка, относит к хорошим.

— Она — возможно. А Николай Львович?

— Да, перед ним как-то робеешь, и все равно Ольга Дмитриевна главная. А Люда еще главнее.

— Да, все сложно, очень сложно, — задумчиво проговорил Валентин Валентинович, — и все же... И все же... И все же ты меня обнадежил. Да, да, представь себе: ты меня обнадежил.

— Что ж, — сказал Юра, — мне это очень приятно слышать.

— И я тебе скажу, чем ты меня обнадежил, — продолжал Валентин Валентинович, — но прежде всего извини меня, не обижайся, я решительно не разделяю твоей иронии.

— Иронии?

— Ты пренебрежительно отзывался о елке у Зиминных, а я, например, на этом вырос, мой друг. Елка — это мое детство. У меня сердце защищено, когда ты заговорил об этом.

— Вы меня не так поняли, — попытался оправдаться Юра. — Когда-то и у нас устраивалась елка, но

мы с Людой уже выросли из этого, а ее родители тем более.

— Нет, мой дорогой,— покачал головой Валентин Валентинович,— не надо кричать душой; в данном случае ты поддался нашему прозаическому времени: елки нынче не в моде. Ты не устоял перед этим, а Зиминьи устояли, и это вызывает у нас большую симпатию к ним и уважение, если хочешь.

— И мне они нравятся... Я просто хотел...

— Украшают елку,— перебил его Валентин Валентинович.— Это так прекрасно, так человечно. Играют — это чудно! Ты ходишь со мной на бега — неужели только ради выигрыша?

— Ну, что вы! — Возмущенные Юры прозвучало не слишком натурально.

— Меня на бегах привлекает прежде всего зрелище. Люблю лошадей, их бег! — продолжал Валентин Валентинович. — Тотализатор для меня не деньги, а именно игра, азарт, риск, рад выигрышу, самому пустяковому... И подарки под елки грошовые — а сколько радости! Сюрприз, неожиданность, знак внимания...

Завывающего про Африку поэта сменил другой, в рубаше навыпуск, в лаптях, онучах; читал что-то про деревню, тихо, задумчиво. Что именно читал, слышно не было.

Валентин Валентинович пристально посмотрел на Юру.

— Можешь оказать мне услугу?

— Какую?

— Так друзьям не отвечают. Если друг просит оказать услугу, ему отвечают: пожалуйста, любя!

— Пожалуйста, любую, — улыбаясь, повторил Юра.

Валентин Валентинович вынул из внутреннего кармана пиджака плоскую коробку, обтянутую сафьяном. В нее углублениях блестели инструменты для маникюра: ножнички, щипчики, пилочки.

Любуясь набором, Валентин Валентинович сказал: — Из Парижа, последнее достижение косметической техники. Хочу презентовать Ольге Дмитриевне. Но как это сделать?

— Подарите.

Валентин Валентинович поморщился.

— Это невозможно: она не возьмет. Нужно именно то, о чем мы с тобой говорили, — игра, веселая игра, в этом весь смысл. Нужен сюрприз, что-то таинственное, загадочное. Ты бываешь у них, положи это незаметно на трельжак Ольге Дмитриевне.

— Я! — Юра был поражен. — Это невозможно...

— Почему?

— Я редко бываю у Люды, и всегда кто-то есть дома, хотя бы та же Люда. Как я пройду в спальню к Ольге Дмитриевне? Проще попросить Люду.

— Нет, — разочарованно протянул Валентин Валентинович, — Люда откажется так же, как и ее мама... И потом терется игра, пропадает эффект... Он вдруг оживился. — Слушай! Я видел, как мальчишки лазают по пожарной лестнице, она как раз возле окон Зиминых. Днем квартира пуста. Николай Львович на работе, Люда и Андрей в школе, Ольга Дмитриевна уходит в магазин, на базар, в парикмахерскую. В общем, можно выбрать время... Подняться по лестнице, влезть в окно, положить коробку. А?

— Прекрасный план, — согласился Юра, — но кто его осуществит?

— Как кто? Ты!

— Я! — Юра совсем ошел. — Но днем я тоже в школе или на фабрике.

— Ты трусишь! Боишься подняться по лестнице. Сегодня на моих глазах Миша Поляков поднялся на

крышу, да еще с шестью в руках, с проволокой для антенны на шее. Вот в чем их преимущество — они знают, чего хотят, и добиваются своего. Ты боишься Витьку Бурова, а он нет. Он защитил бедного Андрея, а ты не двинулся с места. И ты надеешься выиграть у них жизнь... Нет, мой дорогой, ты ее проиграешь, будешь в итоге плясать под их дудку, потому что сила у них, а не у тебя.

— Я тысячу раз поднимался по этой лестнице, — соврал Юра, — но я не могу уйти из школы.

— Ты ничего не хочешь для меня сделать, — горько произнес Валентин Валентинович. — Прекрасно, так и отметим. Очень хорошо, прекрасно. Я сам залезу в окно и положу набор.

— На глазах у всего дома?

— Я влюблен и готов на любые сумасбродства, — капризно проговорил Валентин Валентинович. — Я хочу вписаться в стиль этой семьи. Этот стиль — добрая и хорошая игра.

Эллен и циркачи поднялись и направились к выходу.

Валентин Валентинович проводил ее задумчивым взглядом и сказал:

— Ради не Миша залез бы на Эйфелеву башню.

— Вы глубоко ошибаетесь в Мише и когда-нибудь в этом убедитесь.

— Что ты имеешь в виду? — настороженно спросил Валентин Валентинович.

— Ничего конкретно... Вы сами только что сказали, что он вам не нравится, а теперь превозносите его.

— Во всяком случае, будь он моим другом, он бы мне не отказал, поднялся бы по лестнице и положил набор.

— Может быть, попросить кого-нибудь из ребят во дворе? — предложил Юра.

— Довериться Витьке Бурову? Показат ему дорогу в квартиру Зиминых? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?

— Но я ищу вариант, — ответил Юра.

Валентин Валентинович ударил себя ладонью по лбу.

— Эврика! Ты говорил, что в школе вы храните свои вещи в ящиках.

— Да, в таких клетках.

— В коридоре?

— В коридоре.

— Значит, в клетке лежит и портфель Люды?

— Да.

— А в портфеле ключи от квартиры?

Залезть в чужую клетку, взять ключи, войти в чужую квартиру — нет, на это он не пойдет, ни за что! — Я не понимаю.

— Боже мой, так просто, — нетерпеливо продолжал Валентин Валентинович. — Возьмешь ключи, передашь мне, я за час все сделаю, положу набор, верну тебе ключи, ты их положишь обратно в портфель, и решена проблема.

Юра облегченно вздохнул: в чужую квартиру ему входить не придется... И все же — воровать ключи... В коридоре всегда кто-то есть.

— А что будет потом? Ведь Зиминьи будут выяснять, как к ним попал набор?

— Ну, это уже пуста! Для полной ясности я привяжу к коробке два цветка. Зиминьи все поймут, у них есть чувство юмора, чувство игры. И они не будут выяснять, как и каким образом он попал к ним.

— А если все же будут?

— Тогда мое разоблачение неизбежно, — весело объявил Валентин Валентинович.

— И что тогда?

— Вот тогда я скажу, что взобрался по пожарной лестнице. Это будет выглядеть очень весело и романтично. И расположит ко мне и Люду и Ольгу Дмитриевну. И, возможно, тронет черствое сердце Николая Львовича.

14

«крыть чужой портфель, взять ключи от чужой квартиры...»

Дурацкая затея, idiotская причуда... К чему?! Люда не выйдет за него замуж, даже если он поселился на этой пожарной лестнице. «Влюблен, способен на сумасбродства, игра...» Странно слышать это от такого человека! Кретинизм, сопли, сантименты! А может быть, и не сантименты? И нет особой влюбленности? Нужна не Люда, а Николай Львович, нужна не жена, а мануфактура. Кто он такой, в сущности? Ординарный снабженец, несмотря на лоск, шик, респектабельность; плетей, хотя и произносит это слово с иронией. «Сюрприз»—словечко из Замошворечья. Принеси! Сморозь какую-нибудь банальность—для ваших прелестных пальчиков, Ольга Дмитриевна! Ведь не бриллиантовое кольцо дарит. Копеечная коробка с ножничками и пилочками. У его, Юриной, мамы десяток таких ножничек, щипчиков и пилочек. И нечего устраивать весь этот спектакль».

Так размышлял Юра, сидя за письменной работой в кабинете литературы. Блестящее майское солнце сплело глаза, тишина класса усыпляла, поскрипывали перья, шелестели перелистываемые страницы.

Генка с шумом отодвинул стул, собрал тетради и пересел на другое место.

— Ты что, Петров?—спросил преподаватель.

— Не хочу сидеть рядом с Зиминой.

— Почему?

— А вы, Виктор Григорьевич, сядьте с ней, тогда узнаете.

Виктор Григорьевич сел рядом с Людой.

— Духи как будто чудесно пахнут.

— Да, чудесно, всю школу провоняла своими духами.

— Если тебя раздражает запах духов, сиди, где хочешь,—сказал Виктор Григорьевич.

— И потом, Виктор Григорьевич, я хочу переменить тему.

— Какая у тебя тема?

— Крестьянство в изображении Тургенева.

— Она тебе не нравится? Почему?

— Крестьянство надо изучать не у крепостника Тургенева.

— Тургенев был против крепостного права,—заметила Зина Круглова.

— Все равно! Литература должна объяснять историю с правильных идейных позиций.

— Литература не объясняет историю, а воспитывает человека,—сказала Зина Круглова.

— Сейчас не диспут,—сказал Виктор Григорьевич,—занимайтесь! Тема за тобой, Петров. Можешь изложить в ней свою точку зрения.

Тишина вернула Юру к его горестным мыслям, к истории, в которую он так глупо влип. Приближалась перемена, а ровно в одиннадцать он должен вынести Валентину ключи.

Надо было сразу отказаться. Категорически, не мямлить, не канючить. На глазах у всей школы от-

крыть чужой портфель, взять ключи—он что, с ума спятил или его считают круглым идиотом?

Не выходи! Сказать потом, что были заперты двери. Или выйти, но объявить, что в коридоре были ребята и он не смог взять ключей. Или еще лучше: портфеля не было в клетке, Люда взяла его в класс. Мысль!.. Впрочем, Валентин наверняка скажет:

«Хорошо, сделай это завтра».

Нет, нет, нет! В такую авантюру он не ввязается. Вышибут из школы. За месяц до окончания, спасибо! Конечно, если он попадется, можно наврать, что он хотел положить Люде в портфель записку, Люда выругит, подтвердит... И все же надо объясняться, оправдываться; они будут сидеть на учком с каменными лицами, будут допрашивать, выпытывать, читать нотации... Даже если в школе все сойдет благополучно, то неизвестно, как получится у Валентина. Войдет в дом, а тут явится Ольга Дмитриевна. Не поверит же она, что он влез в окно по пожарной лестнице.

Прозвенел звонок. Юра вышел в коридор, посмотрел на клетки.

Клетками назывались стеллажи, разделенные на открытые ящики, над каждым—бумажка с фамилией владельца. Сюда складывали книги, тетради, чертежи, личные вещи—клетки неприкосновенны, взять что-либо, даже заглянуть в чужую клетку считалось преступлением.

Юра подошел к своему ящику, сделал вид, что перебирает там что-то, взглядом примерился к клетке Люды: достаточно протянуть руку, чтобы взять ее портфель.

Портфель приткрыт. Люда не зацепилла его, просто втиснула в ящик.

По коридору бегали ребята, толпились у кооператива—столика, на котором разложены тетрадки, карандаши, ручки, чернильницы, линейки, циркули, транспортиры, стиральные резинки.

Один из школьных анахронизмов, которые так презирал Юра,—кооператив сохранился с донатовских времен, когда тетради и карандаши добывались с трудом и распределялись учком среди учеников.

Теперь все можно купить в любом магазине в большом выборе, хоть и на копейку-две дороже. Но кооператив остается: не надо, видите ли, покупать у эмпанов и тем поддерживать частный капитал, а главное—традиция, которую надо сохранить во всей ее чистоте и неприкосновенности.

Как надоело! Одно и то же из года в год, из класса в класс. Такие нелепости! Валентин затевает глупую историю, но в ней хотя бы проглядывают личность, индивидуальность; он не боится войти в чужую квартиру, положить набор; он вырос в другое время—в то далекое время устраивали маскирады, шутили, мистифицировали и ничего не боялись. Почему же он, Юра, должен жить по чужим ему законам? На диспуте он декларировал свою независимость, свое желание быть самим собой. Вот он и будет самим собой.

Его приятель влюблен, хочет сделать подарок, делает в не совсем обычной шутилой форме, что предосудительного?

Прозвенел звонок. Все потянулись в классы и кабинеты. Коридор опустел. Юра вынул из клетки портфель, открыл, вытащил ключи, один большой, другой маленький для французского замка, положил в карман, поставил портфель в ящик и спустился по лестнице.

На первом этаже, у вешалки, он столкнулся с Сашей Панкратовым.

— Ты куда? — спросил Саша. На руке у него была красная повязка — знак дежурного по школе.

В другой ситуации Юра не обратил бы внимания на эту мелюзгу, хотя и с красной повязкой из рюкзака.

Но страх, волнение еще не прошли, и он растерянно пробормотал:

— Я выйду на минутку, отдам отцу ключ от квартиры, свой он потерял. Сейчас вернусь

Валентин Валентинович уже ожидал его, Юра передал ключи.

— Когда у вас обед?

— С двенадцати до часа.

— Без четверти час я верну ключи.

— Только не опоздайте, а то двери закроют.

— Не беспокойся; может быть, приду и раньше.

— Это было бы очень хорошо.

— Пока!

— Пока!

В дверях стоял Саша Панкратов, Идиот!

— Ты чего здесь торчишь?!

— Запереть двери.

— Я могу это сделать сам.

Юра вошел в школу.

Саша запер двери.

Предстояли два часа томительного ожидания. Надо делать физику, но Юра пошел в исторический, там занималась Люда: не выйдет ли она к своей клетке, вдруг потребует портфель...

Люда конспектировала, из кабинета не выходила.

Звонок возвестил большую перемену.

Выкрикивая «Распределение! Распределение!», все выпрыгали в коридор и понеслись вниз по лестнице, накинусь на закрытые двери столовой, яростно стучали по ним кулаками: «Распределение — открывай!»

Яша Полонский прокричал:

Девочки-преlestницы,
Не ломайте лестницы!
Мальчики-сонолики,
Берегите столыки!

Двери открылись. Расталкивая друг друга, ребята ворвались в столовую, уселись за длинные, покрытые клеенкой столы. Во главе стола — кастрюля с супом, по краям — алюминиевые миски и ложки, в середине — блюдо с ломтиками черного хлеба, его тут же расхватили, каждый стремился получить горбушку...

Юра вышел из класса за Людой.

Люда вынула из клетки портфель, сунула в него тетрадки, положила обратно. Слава богу! Теперь возьмет его только после обеда...

Единственным украшением столовой был плакат: «Хорошо прожеванная пища идет впрок». Внизу карандашом было приписано: «Что такое прок?»

Ребята стучали локтями по столу:

— Распределение — распределя!

Яша Полонский взобрался на скамейку.

Перестаньте шуметь!
Бросьте разговаривать!
Пищу надо переваривать.
Тыше эти, ша — и тише!
Вы жевать мешаете!

Дежурные в халатах разливали суп по мискам. Большим кухонным ножом разрезали на противне блинчатый пирог.

— Что это такое? — Юра брезгливо ткнул вилкой пирог.

— Блинчатый пирог.

— Где же мясо?

— Он с кашей.

Юра отодвинул миску.

— Дрянь, завернутая в гадость!

— Ты, наверно, лебеду пополам с согомой не по-паи? — спросил Генка.

— Извини, не ел ни соломой, ни сеном.

— Недобитый контрик! — бросил ему вслед Генка.

Ребята стучали локтями по столу:

— Добавки! Добавки!

Миша окликнул Шныру и Фургон:

— Панфилов! Зими!

Они подошли.

Ведь вы знали, что финка не моя, а Вишнякина. Почему молчали?

И на этот раз Шныра и Фургон молчали. Что они могли сказать?

— Непонятно, в какие игры вы с ним играете? — сказал Генка. — Он вдвое старше вас. Пируете вместе. На какие деньги? Воруете?

— А ты видел? — осмелел Шныра.

— Трусоседы вы несчастные, — сказал Миша, — еще раз продадите вот так вот, мы с вами такое сделаем — пух полетит. А теперь катитесь!

Шныра и Фургон поспешили это сделать.

— Зря ты их так отпустил, — сказал Генка.

— В угол поставите?

— Гнать из школы к чертовой матери!

— Всех поисключаем, один Генка останется, — усмехнулся Миша.

15

Юра вышел на улицу. Валентина не было. Правда, еще только половина первого, но все равно Юра нервничал.

Вышла из школы Люда с девочками, ребята помчались на спортплощадку, Миша и Генка присоединились к тем, кто играл в итальянскую лапту.

Юра посмотрел на часы. Черт возьми! Без четверти час.

Люда прохаживалась по двору с подружкой. Юра не спускал с нее глаз: если она попытается вернуться в школу, он во что бы то ни стало задержит ее до прихода Валентина, оставит с Валентином и в это время положит ключи.

Валентин Валентинович появился без десяти час. Юра пошел ему навстречу.

— Ну как?

— Все в порядке, — весело ответил Валентин Валентинович.

— Если можно, задержите на несколько минут Люду.

— Это нужно?

— Нужно.

Валентин Валентинович подошел к Люде, поздоровался, познакомился с подружкой...

Юра вошел в школу, поднялся по лестнице, коридор был пуст, вложил ключи в портфель Люды, запер портфель на место.

Стражи его казались теперь смешными. Идиот, психопат, истерик, паникер.

Как весело и уверенно держался Валентин Валентинович! Да, человек!

На последнем уроке Миша объявил, что сегодня заседание учкома. Все члены учкома обязаны явиться; могут остаться и желающие.

Юра не был ни членом учкома, ни желающим остаться. Но после занятий, собирая книги у своей

клетки, он услышал, как один паренек сказал другому:

— Я останусь на учюлке.

— А что будет?

— Кто-то у кого-то чего-то спер из клетки.

Юра похлодел. Впрочем, если о нем, то почему его не вызвали?

К клеткам подошли Миша с Генкой.

Миша как-то странно посмотрел на Юру, а Генка сказал:

— Между прочим, и тебе не мешает остаться на учюлке.

— Зачем? — с замирающим сердцем спросил Юра: боялся, что сейчас он услышит про портфель.

Но Генка сказал только:

— И тебя касается.

Юра пожал плечами.

— Не понимаю...

— Там поймешь!

В красном уголке было душно, набилось много ребят. Тянуло на улицу.

Миша поторопил Юру:

— Давай, что у тебя, только покороче!

— Диспут о мещанстве ничего не дал, — сказал Генка, — обывательщина нас захлестывает, отрицательные явления множатся. Известный всем Витяка Буров, воровская кличка Альфонс Доде, продолжает разлагать младшеклассников, а мы никак не реагируем. Есть и другие факты, совсем свежие, — он посмотрел на Юру, — но о них потом...

Ждать, томиться два часа, пока дойдут до него? Нет, пусть уж сразу!

— Почему потом? Говори сейчас! — сказал Юра.

— Успейшь! Так вот, продолжаю, — Генка вынул из сумки тетрадь в колечковом переплете. — Сейчас я прочтешу стихи, которые пишут учащиеся шестого класса — кстати, пионеры!... Генка перелистал тетрадь... — Вот: «Розы тогда расцветали и пели тогда соловьи, когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни». Дальше! «Пускай друг другу ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда». Это пишет ученица советской школы и пионерка. — Генка перевернул еще несколько страниц: «Ты не знаешь, что я тайно страдаю, ты не знаешь, что я тайно люблю, к тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу»...

А вот еще: «Вспомни минувшие годы, вспомни минувшие дни, вспомни детей твоих веселых, когда познакомились мы». Мама? Пожалеюста! Не плачь, когда крылом могучим твой горючий тоска затмил, не верь ты этим грозным тучам, за ними солнышко блестит». И рисунок, смотри!

В тетради было аккуратно нарисовано сердце, пронзенное стрелой, с его острия капала кровь.

— Я их не сочинила, а переписала! — ответила Зоя Новикова — хорошенькая девочка с падающей на лоб челкой.

— У кого?

— Не скажу.

— Как так не скажешь?

— Так, не скажу.

— Мы хотим знать, кто в школе распространяет эту пошлость.

— А я все равно не скажу.

— Значит, ты укрываешь пошляков и мещан и сама мещанка.

— Я не мещанка, просто у меня было плохое настроение, я и переписала.

— Плохое настроение? — поразился Генка. — Но ведь ты пионерка! Разве у тебя может быть плохое настроение?

— А когда ты получаешь «неуд», у тебя хорошее настроение? — спросила Зина Круглова.

— Я комсомолец, и у меня всегда хорошее настроение.

— Брось губами шлепать! — сказал Яша Полонский.

— Генка, откуда у тебя эта тетрадь? — спросил Миша.

— Это не имеет значения.

— Ура, ты давала Генке тетрадь?

— Нет! Ее вытащили из моей клетки. Кто вытаскивал, не знаю, хотя подозреваю.

Юра на минуту воспрянул — вот, оказывается, о чем речь!

— Кого подозреваешь? — спросил Миша.

— Не скажу, — ответила Зоя Новикова.

— Но ты утверждаешь, что тетрадь вытащили из клетки, настаиваешь на этом?

— Утверждаю и настаиваю.

— Подумай, вспомни: может быть, ты кому-нибудь ее давала?

— Никому не давала, ее у меня вытащили из клетки.

Каждый раз, когда произносилось слово «клетка», Юру словно обжигало, точно говорили о нем самом... Может быть, еще заговорят. Наверно, заговорят. Их манера! Сначала накаляет атмосферу этим случаем, а потом переидет к нему. Если за то, что вытаскила стихи, обвяжет выговор, то за ключи... Тут они разиграются.

Дело принимало серьезный оборот.

Генка сказал:

— Тетрадь мне дала Лара Усова.

— Так я и знала! — торжествующе объявила Зоя.

Все смотрели на Лару, чернявую девочку с узко поставленными глазами.

— Как к тебе попала эта тетрадь?

Опустил глаза, Лара молчала.

— Ты мне сказала, что ее тебе дала Зоя, так? — сказал Генка.

Лара молчала.

— Украла?

— Я случайно, по ошибке, — прошептала Лара, — наши клетки рядом.

— Почему обратно не положила?

Лара молчала.

— Зачем Генке отдала?

Лара метнула на Генку узкий взгляд, но ничего не ответила.

— Нет, скажи! — потребовал Генка. — Я что, просил тебя? Отвечай!.. Ведь ты сама подошла ко мне и сказала: вот Зоя сочинила стихи, почитай для стеногазеты. Так ты сказала или нет? Отвечай!

Лара молчала.

Генка вскрипел:

— Мало того, что крадешь! Ты еще и обманываешь.

Лара начала всхлипывать.

— Рви, рви громче! — сказал Генка. — Преступники всегда режут, как белуги, это помогает.

«Черт возьми», — с тоской думал Юра, — скорее бы они кончили с этим».

— Что решим? — спросил Миша.

— Ларе бойкот на семь дней, — предложила Зина.

— А Генке!

— Мне за что? — поразился Генка.

— Читаешь чужие дневники.

— Нет, погоди, — заволаговался Генка, — нельзя, знаешь, так, за здорово живешь... «Что Генке?»

В чем мое преступление?

— Повторяю: читаешь чужие дневники.

— Но ведь мне его дали, сказали: посмотри для стенгазеты. Я не знал, что его украли. Думал: Зоя всем дает читать свои стихи, дала Ларе, Лара дала мне.

— Прежде чем выносить стихи на обсуждение, ты должен был спросить у Зои: это ее собственный, личный дневник?

— Что? А если бы там было написано, что Зоя знает о каком-то преступлении или даже участвовала в преступлении, то и тогда я должен молча вернуть ей дневник, и все? Нет, я это понимаю по-другому.

— Демагогия! — рассердился Миша. — Стихи плохие, но ничего преступного в них нет. А вот выкрасить из чужой клетки — преступление. Вынести их на учком — способствовать преступлению.

— Но ведь я не знал, что их выкрали! — закричал несчастный Генка. — Я хотел как лучше. Должны мы бороться с межданством или нет?

— Генка совершил ошибку, поступил незачинно, но его не за что наказывать, — сказала Зина Круглова. Обращаясь к Зое, Миша Полонский продекламировал:

Милая, кроткая печная,
Вся воплощенные мечты.
Нравится мне твоя муза унылая,
Только вот Генке не нравишься ты!

— Ладно, — сказал Миша, — я не настаиваю на языкании Генке, но пусть будет осмотнительнее. Что у тебя еще, Генка?

— Еще... Вот случай, не далее как сегодня...

Юра напрягся — это, конечно, о нем.

— Не далее как сегодня, за обедом, Юра не стал есть пирог — больше того, назвал его дрянно, за вернутой в гадость. И это в то время, когда страна только выходит из голода и разрухи, когда миллионы людей в Поволжье и других краях недостает куска хлеба. Такое заявление — возмутительное барство, нетерпимое в нашей среде!

Теперь все смотрели на Юру.

— И за этим вы меня вызывали? — спросил Юра, еще не веря тому, что все оказалось такой уродой.

— Тебя не вызывали, а посоветовали прийти.

— И больше вам нечего сказать?

— Кому это в а м? — спросил Миша. — Ты что, отделеешь себя от нас?

— Знаешь, Миша, могу ответить тебе твоими же словами: не надо демагогии! Генка, больше ты ничего не хочешь мне сказать?

— Этого тебе мало!

— Тогда всеобщий привет!

Юра махнул рукой и вышел.

— Вот, пожалуйста, — сказал Генка, — демонстративно покинул заседание учкома. Так оставлять нельзя.

Зина Круглова предложила:

— Выговор ему за барство, за игнорирование учкома.

— Голосуем, — сказал Миша.

Все подняли руки.

Ободренный тем, что в этом случае он оказался прав, Генка деловито спросил:

— Что будем делать с Виткой Буровой и его компанией? Может быть, передать в СПОН?

— Давайте пока ничего не решать, я попробую с ними поговорить, — сказал Миша.

— Ты уже пытался говорить с Виткой. Что получилось?

— Я попробую еще раз.

Разговор с Виткой действительно не получился.

Но то, что увидел тогда Миша, внесло в его представления существенную поправку: Витка защищал мать от пьяного отца.

После учкома, вечером, Миша отправился к Белке.

По узкой лестнице с выщербленными цементными ступенями спустился в подвал, открыл дверь с ободранной обшивкой из грязной мешковины и очутился в темном коридоре со сколзкими стенами, пропитанном гнилыми запахами сырой штукатурки, нищего жилья, вонючего тряпья, подгоревшего подсолнечного масла.

Комната тоже была сырой, полутемной, с голыми стенами, низкими, сводчатыми потолками, придававшими ей вид кельи.

Под потолком тускло серел маленький прямоугольник окна, выходящий в яку, прикрытый со двора металлической решеткой.

На постели, застланной тряпьем, сидела тетка или бабушка Белки — нищая старуха, побирущка. За квадратным, грубым, голым столом сидела на табурете Белка.

Табурет был единственным. Миша стал, прислонившись к косяку двери.

Белка исподлобья посмотрела на него и отвернулась.

Старуха, бормоча, перебирала тряпье на кровати.

— Слушай, Белка! — сказал Миша. — Как тебе настоящее имя?

— Белка! — вызывающе ответила девочка.

Миша повернулся к старухе.

— Как ее зовут?

— Кто знает, — пробормотала та, перебирая тряпье, — приبلудная девочка. Подобрала на вокзале, в голод еще, вот и живет. Как крестили, не знаю. Во дворе Белкой кличут.

— Почему в школу не ходишь?

— Не хочу и не хожу.

— А если в колонию отправят?

— Убегу.

— Брали ее, — сказала старуха, — убежала, откуда хощь убежит, вертка.

Стол был пуст, никаких следов еды, даже посуды не было — ни стакана, ни кастрюли, ни чайника.

— На что живете?

— А что люди добрые дадут, на то и живем. И Белка вон кормит, не обижает, спасибо!

— А ты где достаем? — спросил Миша у белки.

— Где надо, там и достаю.

— Можно поапастся.

Болтая ногами, Белка запела:

Что вы советы мне даете, словно маленькой.
Ведь для меня давно решен уже вопрос.
Оставте, папешня, ведь мы решили с маменькой.
Что нам мужком будет с Виткой матрос.
Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку,
Все говориши, что он славный морщочок.
Когда он шел, его качало, словно лодочку.
И этим самым он закидывал крышечку.
Была весна, цвета сирень и пели птищечки...

Она обрвала песню:

— Ты зачем пришел?

— В гости.

— Погулять со мной хочешь? Деньги у тебя есть?

— Денег у меня нет.

— А на кино у тебя хватит?

— На кино, пожалуй, хватит.
— Тоже, кавалер нашелся!
— Чем не кавалер?
— Легавый — вот ты кто!
— Так уж легавый?
— Легавый! — повторила Белка, не меняя позы, — сидела спиной к Мише, подперев подбородок ладошью.

— Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму.
— Мне и в тюрьме хорошо — там кормят.
— В колонии тоже кормят, а ты убежала. А из тюрьмы не убежишь: четыре стены, решетка.
— А за что в тюрьму, что я сделала?
— Сама знаешь.
— Знаю, а не скажу.
— А я тебе скажу: буфет в кино обворовала. Белка ничего не ответила.
— Ты думала, никто не знает. А я знаю.
— Ну и знай!
— Посадят в тюрьму, и тебе будет плохо, и бабка твоя с голоду помрет. Тебе сколько лет?
— Нисколько.

— Четырнадцать лет записано, — сказала старуха.
— Записано. — усмехнулась Белка. — Где это?
— В домоуправлении, а как же.
— Хочешь, на фабрику устрою? — предложил Миша.

— Чего-чего? — насмешливо переспросила Белка.
— На фабрику устрою, на работу. Получишь специальность, зарплату, оденешься; плохо разве?
— Все лучше, чем с жульем-то возиться, — сказала старуха. — Ты послушай, что человек говорит.
Белка молчала.
— Платок бы купила, ботинки, — продолжала старуха. — Зимой босиком не побежишь. Сахару бы поела.

Белка опять заткнула тонким голоском:

Была весна. цвела сирень и пели пташечки:
Братиска с Витлики сумел кой-что залить.
Ему понравилась красивая Наташенька.
Такой кусочек не хотел он пропустить...

— Я поговорю на фабрике — сказал Миша.
— Сам работай, если тебе надо!

17

Опять был фабричный день. После смены Миша пошел к Зимину.

Года два назад Миша был у Людю на дне рождения. Мама Людю держалась с ребятами, как товарищ, пела смешные куплеты, пародии, затеяла шарады, потом она и Николай Львович играли с ними в слова: из одного слова составляли другие, новое слово не меньше, чем из четырех букв. Затем Ольга Дмитриевна ушла на кухню, нажарила там гору блинчиков, очень вкусных, ребята всю эту гору умяли моментально. Потом Ольга Дмитриевна и Николай Львович ушли в кино. Ольга Дмитриевна сказала, что они уходят, чтобы не мешать, и звали ребят приходите, сказала, что это ее личная просьба — она обожает играть в слова, а Людю с ней не играет, валяничает, потому что всегда ее обыгрывает. Она много смеялась, и ребята смеялись, и Николай Львович. У Николая Львовича было тогда совсем другое лицо. Миша даже не узнал его, когда встретил на фабрике. Два года назад, на дне рождения, это было лицо легкое, доброе, даже молодое и даже красивое, хотя с этим понятием — красота — Миша

здорово путался, вообще считал эту проблему преувеличенной, тем более что единое мнение тут невозможно: даже насчет Аполлона и особенно Венеры еще можно здорово поспорить. В школе, например, все считали Людю Зимину очень хорошенькой, самся хорошенькой. Миша недоумевал. Ее мать, на которую, кстати, Людя была очень похожа, действительно была красивой, прежде всего потому, что была веселой.

Людя веселой никогда не была. Наоборот, она была какой-то замороженной: наверно, думала, что это ей больше идет. Таким же несколько надменным и недоступным держался на фабрике и Николай Львович.

Как Людя в школе, так и Николай Львович на фабрике был одинок, старомодный, в своем хорошо вытюженном костюме, чужой в новом мире, буржуазный спец, терпимый потому, что нет своих спесцов.

На собраниях его часто ругали. Всех ругали — много неполадок на фабрике, — но Зимина ругали сдержанно, не как своего, а как чужого. Он выходил на трибуну и отвечал чересчур спокойно, обстоятельно.

...Зимин поднял голову и посмотрел на вошедшего в кабинет Мишу.

— Николай Львович! — Миша подошел к столу. — Нельзя ли принять на фабрику одну девочку и одного мальчика, ей четырнадцать лет, а мальчику, наверно, пятнадцать.

— Садитесь!

Миша сел на стул возле стола.

— В школе они не учатся, пусть хоть работают.

— Я не занимаюсь наймом и увольнением, — ответил Зимин, — это решает директор. Обратитесь к нему... Насколько мне известно, броне подростков записано.

— Безнадзорные ребята...

— Да, да, понимаю, — проговорил Николай Львович, собирая бумаги в папки и раскладывая их по ящикам стола, — но броне есть броне, выйти за ее пределы мы не можем. И потом — мальчик? На фабрике работают женщины, и броне подростков — девочки.

— Ну, хотя бы девочку, — настаивал Миша, — она сирота, убежала из колонии.

— А с фабрики не убежит?

Вопрос был задан рассеянно, равнодушно, из вежливости, для поддержания разговора, чтобы что-нибудь сказать. Николай Львович был обозначен своими бумагами, сложил их наконец в стол, запер ящики на замок и поднялся, давая понять, что разговор окончен. Рабочий день тоже, между прочим, окончен.

— Пропадет девчонка, жалко, — сказал Миша. — Рядом Смоленский рынок, Проточный переулок, ворье, жулики...

Николай Львович снял с вешалки плащ, взял в руку кепи.

— Вам следует поговорить с директором, хотя, боюсь, он ничего не сумеет сделать до нового набора; набор, повторяю, будет в сентябре. Я, со своей стороны, поддержу вашу просьбу. Вы надеетесь, что это ей поможет?

Он открыл дверь кабинета, приглашая Мишу выйти, и вышел вслед за ним.

Итак, он согласился помочь и, следовательно, помог. Но, черт возьми, в какой форме! И что толку от его обещания? «Я поддержу вашу просьбу, но директор все равно ничего не сумеет сделать до нового набора». Ироническое «А с фабрики не убежит?» — и тут же равнодушно-вежливое «Вы наде-



тес, что это поможет?» Странная постановка вопроса! Да, Миша надеется, что поможет; не надеялся — не пришел бы, не просил бы! А вы, значит, нет, не надеетесь; тогда зачем обещаете помочь? Вам безразлично. Вот именно, скорее всего безразлично... С неожиданной жесткостью, которая иногда находила на него и о которой он потом часто жалел, Миша сказал:

— Эта девочка в плохой компании. Между прочим, в этой плохой компании и ваш Андрей.

Они стояли в коридоре. Рядом грохотал сновальный цех, виднелись станки, бесконечные нити тянулись с больших катушек на малые, работницы внимательно следили за ними; когда нить обрывалась, работница останавливала станок, быстро связывала нить мелким узлом, почти невидимым.

— Андрей!

Он кивнул в сторону цеха, показывая, что шум мешает разговаривать.

По узкой металлической лестнице с железными перилами они спустились до двор.

— Андрей! Мальш? В компании? Может быть, он играет в компанию?

— Я сказал вам об этом потому, что считаю это достаточно серьезным.

— И что за компания? Расскажите, Миша.

— У нас во дворе... Андрей, еще два мальчика, девочка Белка, о которой я вас просил, главарь — Витька Буров, тоже живет в нашем доме.

— Жена говорит, что Витька издевался над Андреем, бил его, чуть не зарезал, если бы вы не вмешались тогда.

— Он его, конечно, не собирался зарезать. Он главарь, читает расправу над подчиненными. Ничему хорошему он Андрея не научит, а Андрей бегает за ним, как собачка.

Они шли к проходной, их обгоняли работницы, окончившие службу.

— Я целый день на работе, Андреем занимается мать, — сказал Николай Львович, — но я, конечно, приму меры... Так странно — Андрей в воровской компании. Спасибо, что вы предупредили меня, я вам очень признателен... Какой скрытный, дурачок, дома — ни звука... Но раз уж речь зашла о моей семье, то у меня и к вам еще вопрос: что произошло у Люды в школе?

— У Люды в школе?... Как будто ничего, во всяком случае, я ничего из знаю.

— Что-то произошло. После вашей живой газеты она пришла домой сама не своя. Плакала.

— Странно, — пробормотал Миша, — а там громче всех смеялась.

— Это делает ей честь, — сказал Николай Львович. — Дома она не смеялась, да и сейчас не смеется. В чем же дело? Я прекрасно понимаю: и справедливую критику трудно воспринимать спокойно, а несправедливую? Да к тому же публичную, со сцены и, по-видимому, достаточно окартированную... В вашей школе нет предрешения против детей из интеллигентных семей?

— Нет, мы никого не разделяем по социальному признаку. В той же живой газете прохвятили и детей рабочих — Генку Петрова, например, того же Витьку Бурова. Люда зря обиделась. Там про нее спели очень невинные куплеты. Я не помню текста, что-то в стиле оперетты.

Значит, моя дочь не поклонница этого жанра. Благодарю вас. Не хотелось бы, чтобы Люда узнала о нашем разговоре, она будет недовольна моим вмешательством...

— Я ей ничего не скажу, — пообещал Миша. Вспышка гнева прошла, ему почему-то стало жалко Зимины.

— Спасибо, благодарю. О той девочке, вашей подопечной, я переговорю с директором.

Зимин поклонился Мише, направился в проходную, но его окликнули:

— Николай Львович!

К проходной спешил Красавцев, протянул Зимину папку.

— Документы по браку, Николай Львович, вы просили.

— Документы? Сейчас? — удивился Зимин. — Ведь я иду домой.

Только-только закончили, — объяснил Красавцев, — подбирали документы, как вы дали указание. Несу — вижу, вы идете. Обратно нести? У меня в отделе сотрудники уже разошлись.

Николай Львович положил папку в портфель.

— Хорошо, завтра воскресенье, я их посмотрю дома.

Зимину явно не хотелось брать документы. Красавцев не хотел возвращаться с ними в отдел. Зимин взял документы очень недовольный. Миша подумал, что мог бы и не брать.

А он взял.

Типичный мягкотелый интеллигент.

18

Ома Николая Львовича ждали билеты в Художественный театр на «Дни Турбиных». К билетам прилагался эlegantный Валентин Валентинович в полосатом костюме и лаковых штиблетах, эдакий князь Данила, не хватает бутоньерки в петлице.

Верные решению, принятому ими после возвращения Люды из ресторана, Зимини как передовые родители разрешили этот визит. Сегодня все отправлялись в театр, а с завтрашнего дня Ольга Дмитриевна начнет осторожно шутить над этим фантомом и развешивать его в глазах Люды. Затем не слишком нравился Николаю Львовичу, но он согласился с женой, что из всех худших вариантов это лучший. И дай бог, этот визит последний...

Из-под полуприкрытых век он разглядывал Навроцкого: не слишком вьется с привычным типом работника снабжения — интеллигентен, корректен, держится с достоинством.

— Популярны сейчас «Лес» у Мейерхольда, «Принцесса Турандот» у Вахтангова, «Жирюфле-Жи-рофля» у Таирова, — говорил Валентин Валентинович, — но самый значительный — «Дни Турбиных» в Художественном. Я думаю, спектакль вам понравится.

— «Принцессу Турандот» мы видели недавно, — сказала Ольга Дмитриевна. — Театр Вахтангова рядом. Таирова Николай Львович не очень любит, тут мы с ним расходимся во вкусах. Что касается Мейерхольда, то это, в общем, спорно.

— Да, — согласился Валентин Валентинович, — Мейерхольд необычен, но, безусловно, оригинален, это вполне современное зрелище.

— Вот видите, а мы бегали на галерею в Художественный, — сказала Ольга Дмитриевна.

Тем более вам должны понравиться «Дни Турбиных», — серьезно сказал Валентин Валентинович. — Спектакль поставлен Станиславским и Судановым, заняты Хмелев, Добронравов, Яшин. Я уже раз смотрел, с удовольствием посмотрю второй. Пьеса о крушении белой армии, первая попытка серьезно рассмотреть трагедию людей, веривших в правоту

своего дела. Можно принимать такое толкование, можно не принимать, но интересно бесспорно.

Не простой делец. Судя по манерам — из приличной семьи.

— Вы москвич? — спросил Николай Родич.

— Да, поскольку живу в Москве. Но родился я в Воронежской губернии, мой отец управлял конными заводами графа Орлова.

Прозвучало так, будто отец Валентина Валентиновича был не управляющим чими-то заводами, а их владельцем.

Чем он нравится Люде? Ведь умная, проницательная девочка. Впрочем, он, кажется, впадает в обычную родительскую ошибку. Разве можно определить, чем он не нравится дочери? Можно только предположить, чем он не нравится ему самому. Чем же? Ласковыми штиблетами? Конечно, нет, не штиблетами. Все дело, безусловно, в фабрике, в эпизоде с тем вагоном, который он велел задержать и который не задержали. Возможно, Нарвский ни при чем, ему погрузили вагон, и он его отправил, и все же... Красавец нечист на руку, и все это, вероятно, не случайно. Коротко: проходимец он или нет?

Ольга Дмитриевна посмотрела на часы.

— Андрею пора быть дома. Где он, Люда?

— Во дворе, наверно.

— Надо его позвать.

Люда подошла к окну.

— Андрюша! До-о-мой!

— Тянет его во двор, — сказала Ольга Дмитриевна, — а у нас ужасный двор, один Витка Буров чужой стоит.

— Двор... улыбнулся Валентин Валентинович. Это естественно в его возрасте. И даже, если хотите, необходимо. Двор лучше подготовит его к жизни реальной и весьма жестокой, чем... Поймите меня правильно, у меня тоже была хорошая мама, даже, может быть, чересчур хорошая, так что говорю это по собственному нелегкому опыту.

— Ваша мама жива? — спросила Ольга Дмитриевна.

— Мои родители погибли в железнодорожной катастрофе...

Наступило короткое неловкое молчание, потом Ольга Дмитриевна сказала:

— Может быть, двор и лучше подготовит его к будущей жизни, но пока не был двора, он был гораздо послушнее.

— Андрей дружит не с Виткой Буровой, а с Лейней Панфиловым, он его защищает, — сказала Люда. — Все это нормально, мамочка. Но дети — не цветы жизни...

— Как представить Деткомиссии, я так не думаю, — сказал Валентин Валентинович. — Как представить Деткомиссии, я просто не имею права так думать.

Все засмеялись, кроме Люды. Ей было не смешно. Зачем она затеяла все это? Он был терпим там, в ресторане, но здесь, у них в доме, этот чужой человек неосторожен, банален. А замек на знатное происхождение — какая дешево! Родители погибли в железнодорожной катастрофе — вранье. Эти тривиальные о трудностях жизни, там у Славке, здесь об Андрее.

А Николай Львович думал о том, что сказал ему Миша Поляков. Он все не мог допустить, что его Андрей, толстый, неуклюжий, но добрый и, между прочим, довольно способный мальчик, растет бандитом. Вот и Люда подтверждает, что он дружит не с Виткой, а с Лейней Панфиловым, сыном кладовщика.

— Все же в чем дело с этим Виткой Буровой? — спросил он осторожно, стараясь не обеспокоить

Ольгу Дмитриевну — она так нервничала по этому поводу.

Люда молчала.

Ответила Ольга Дмитриевна:

— Дети его боятся. Если бы можно было уехать из этого дома, я бы уехала.

— Наверно, он плохо влияет на детей, — сказал Валентин Валентинович. — Мы в Деткомиссии часто сталкиваемся с такими ситуациями: один великовозрастный болван портит хороших подростков. Я со своей стороны могу вам пообещать навести там порядок. Мне, как бывшему дворовому мальчику, это не будет особенно трудно.

Опять фальшь! Граф превращается в дворового мальчика. Что за чушь!

— Витка — безобидный парень, — сказала Люда, — я его знаю тысячу лет. Просто он тшится изображать из себя грозу Арбата, вожака и атамана. И у нас очень хороший двор, мы в нем выросли, и никакого особенного порядка наводить нет нужды. Валентин Валентинович с удивлением посмотрел на нее: ее вызывающий тон был для него неожидан — что-то он упустил, что-то ускользнуло от него, где-то дал промашку. А может быть, все это относится не к нему, а к матери, к отцу... Нет, она прямо и неприязненно смотрит на него...

Валентин Валентинович даже на мгновение растерялся, не зная, что сказать.

Выручило появление Андрея в запачканной мелом рубашке.

— Я тебе велела быть дома, — строго проговорила Ольга Дмитриевна.

— Я дома, — ответил Андрей простодушно.

— Каждый раз тебя приходится звать — так нельзя, Андрюша. Ты очень грязный. Умойся, поужинай — ужин на кухне, — сделал урки и ложись спать. Дверь на цепочку не бери, чтобы не было, как в прошлый раз...

— Я догадываюсь, что было прошлый раз, — улыбнулся Валентин Валентинович, он уже овладел собой. — Богатыри именно так и должны спать.

Ольга Дмитриевна подняла с пола портфель мужа, поставила на письменный стол.

— Пора, наверно? Трамвай довезет нас только до Охотного.

— У нас еще достаточно времени, — ответил Нарвский.

Его нетерпеливость объяснилась, когда они вышли на улицу.

У тротуара стоял открытый легковой автомобиль. За рулем сидел шофер в кожаной куртке и кожаных крагах.

Валентин Валентинович открыл дверку:

— Прошу!

— Зачем это? — поморщился Николай Львович.

— Не хотелось, чтобы наших дам толкали в трамвае.

19

И эти еще спали. Николай Львович и Ольга Дмитриевна пили утренний кофе. Ольга Дмитриевна в халате, Николай Львович в домашней куртке.

Вчерашний спектакль ему понравился, давал повод для размышлений. И перед ним в свое время стояли те же вопросы: сотрудничество с новой властью, признание новых хозяев страны. Были годы разрухи, казалось, все пошло прахом. Но восстано-

лено хозяйство, заводы и фабрики работают, как работали раньше, отчуждение между властью и технической интеллигенцией сглаживается. И надо работать. Для блага России.

Ольга Дмитриевна чувствовала его настроение, улыбалась и молчала...

Бог послал ему хорошую жену, верную спутницу жизни и хорошенкую вдобавок. Она училась пению, ее даже приглашали в оперетту (опять оперетта, везет ему на оперетты!), но сама не пожелала для себя такой судьбы. У нее была поразительная способность довольствоваться тем, что есть. Они дважды ездили за границу, в Париж и Лондон, но и эти поездки она никогда почти не вспоминала, наделенная редкостным даром радоваться тому, что у нее есть: любить то, чем обладает, и не говорить о том, чего нет; даже тогда, когда было трудно, она выкручивалась, как могла, что-то продавала, таянула семью и сумела сохранить праздничность, как будто прожила легкие, беспечные годы, не знала голода и лишений, страха, детских болезней и всего, что она знала и пережила.

— Налить еще кофе? — спросила она шепотом, чтобы не разбудить Андриуша, спавшего на диване.

— Налей. Вкусный кофе сегодня.

Она кивнула кудрявой головой. И эту свою черту она сохранила — любила, когда ее хвалили. Но ей не терпелось обсудить вчерашний поход...

— Ну, как он тебе?

— Обходительный чересчур.

— Но без лакейства...

— И еще: чересчур собран, чересчур начеку... Мне кажется, что Людя не слишком им очарована.

— Да, мне это тоже показалось... Мне кажется, он просто ей неинтересен, так же, как тебе и мне. Но он ей почему-то нужен... Хочет иметь при себе постоянного поклонника? Это льстит ее детскому самолюбию? Непонятно. Желание кружить голову? На нее это не похоже. Она и не кинется в воле. С мальчишками из ее класса, если ты помнишь, она кокетничала гораздо смелее. Выйти замуж за него? Нет, она не собирается выходить за него замуж. Перед тем, как он пришел к нам, я спросила ее: зачем он тебе? Она напустила таинственности, сказала: значит, нужен. Но вид был чересчур таинственный, и ничего за этим, я думаю, нет.

— Тогда остается понять, зачем это нужно ему?

— Ну вот, это типично мужская постановка вопроса. Посмотри на Людю, я думаю, что этот Валентин Валентинович не последнее разбитое сердце.

— Что-то он не похож на разбитое сердце.

— Похож, похож, — сказала Ольга Дмитриевна довольно безапелляционно, — возможно, поэтому он и был так ненаaturalен — от смущения... А в общем, я думаю, все скоро пройдет.

— И чем быстрее, тем лучше, — добавил Николай Львович, — ей в этом году поступать в вуз. И не надо забывать, какой конкурс, — ей придется все лето готовиться; тут, я думаю, не до молодых людей.

— Конечно, как только кончится школа, уедем на дачу, и пусть сидит и занимается до самых экзаменов... Кстати, надо бы нам с тобой съездить на дачу, помочь маме. Дачей пользуемся, а все на маме — и дом и сад.

Утещи была дача на Клязьме по Ярославской дороге; теща жила там круглый год, они выезжали летом.

— Не знаю, сумею ли я выбраться. Поезжай с Людой, Весеннее солнце, загар вам будет к лицу.

— Мне хотелось с тобой, тебе тоже загар идет, — пошутила Ольга Дмитриевна.

Николай Львович пересел к письменному столу, закурил, решил посмотреть документы, отданные ему вчера Красавцевым, поискал глазами портфель. Портфеля на столе не было. Наклонился, посмотрел, нет ли его возле стола, — там тоже не оказалось.

Ольга Дмитриевна кончила пить кофе, ушла в спальню, присела к трельяжу, начала присматриваться.

— Оля, ты не видела моего портфеля?

— Портфеля? Сегодня не видела.

Николай Львович вышел в переднюю, зажег свет, посмотрел под вешалкой — портфеля не было.

Он вернулся в столовую, еще раз посмотрел вокруг письменного стола, осматрел диван, за диваном. Портфеля не было.

Он прошел в спальню, посмотрел и там.

— Что ты ищешь? — по-прежнему шепотом спросила Ольга Дмитриевна.

— Все тот же портфель. Куда я мог его засунуть?

— Может быть, ты оставил его на работе?

— Ты сама вчера, перед театром, переставила его на стол.

— Да, верно, вспоминаю. Тогда он на столе.

— Его нет на столе.

— Почему ты так обеспокоен? Там что-нибудь важное?

— Служебные бумаги.

— Но он нигде не мог деваться. Давай искать вместе.

— Я все обыскал.

— Хорошо, ты сидишь, я сама буду искать. Я найду — что мне за это будет? Оставаться здесь.

Ольга Дмитриевна вышла из спальни, довольно скоро вернулась.

— Нигде нет. Я разбудил Андрея?

— Разбудил, — попросил Николай Львович.

— Господи, значит, это так важно! — воскликнула она и подошла к дивану, тихонько позвала сына: — Андриуша, проснись! Проснись, малыш! Проснись и вспомни, что было. Ты выходил во двор?

Андрей поднялся, протирая глаза кулаками, уселся на диване.

— Андриуша, когда мы уехали в театр, ты выходил во двор?

— Какой двор? — недовольным, заспанным голосом переспросил Андрей.

— Ну, проснись, мальчик, вспомни, скажи: ты выходил во двор?

— Никуда я не выходил.

— Это правда?

— Правда.

— Да, я знаю, ты всегда говоришь правду, — сказала Ольга Дмитриевна.

— А к тебе кто-нибудь приходил? — спросил Николай Львович. — Товарищ какой-нибудь?

— Нет.

Николай Львович показал на стол.

— Вот здесь стоял мой портфель. Где он?

Андрюша, понимая, что очень важно для папы, — сказала Ольга Дмитриевна.

У мальчика сделалось встревоженное лицо, ему передалась тревога родителей.

— Я его даже не видел, портфеля.

— Но не мог же он улететь в форточку! — воскликнула Ольга Дмитриевна.

Николай Львович открыл окно и свесился через подоконник. Пожарная лестница проходила между окнами спальни и столовой, однако перелезть с нее было невозможно — прут, крепящий лестницу, проходил много выше окна.

— В окно никто залезть не мог. Если бы даже смог, — зачем понадобился портфель со служебными бумагами?

— Но сам портфель очень хороший, кожаный, прекрасный, с серебряной монограммой. Позвони в милицию.

Николай Львович подумал, потом сказал:

— Спи, сынок, портфель найдется. Пойдем, Оля, не будем ему мешать.

Они вернулись в спальню, Николай Львович прикрыл дверь.

— Надо немедленно позвонить в милицию,— снова сказала Ольга Дмитриевна.

— А кого обвинять? Никого, кроме Андрея, не было дома,— возразил Николай Львович.— И в сущности, это уж не так страшно—бумаги не слишком важные: старые акты на брак. А затевать все из-за портфеля, из-за монограммы не стоит.

Ольга Дмитриевна пристально смотрела на мужа. Она всегда безошибочно угадывала, когда он говорит неправду, говорит единственно, чтобы успокоить ее. Сейчас он говорил именно так.

Николай Львович молча прошелся по спальне, постоял у окна, подумал, потом сказал:

— Пожалуй, я съезжу с тобой на дачу. Поедем в субботу, переночуем, вернемся в воскресенье вечером. Успокоимся, подумаем, как быть. О портфеле пока никому не говори.

— Господи, кому я могу сказать! Что ты, Коля! Но все это очень странно. Может быть, это сделал Витка Буров?

— Все может быть,— согласился Николай Львович и, подумав, добавил:— Я думаю, что Люде тоже не следует ничего говорить.

Ольга Дмитриевна растерянно пробормотала:

— Люде?.. Я ничего не понимаю... Коля! Почему это надо скрывать от Люды?

— Я не хочу ее волновать.

— Какие глупости! Мы все волнуемся. Она разве не член нашей семьи, ей чужды наши заботы?

— Я этого не говорю... Но она проходит практику на фабрике...

— Она проболтается?

— Конечно, нет. Но она будет себя чувствовать на фабрике несколько неуверенно, что ли, будет опасаться каких-то осложнений для меня, а никаких осложнений не будет, все это, в общем, пустяки...

Ольга Дмитриевна продолжала пристально смотреть на мужа. Все звучало очень неубедительно.

— Ты это связываешь с Навроцким?

— Оленька, милая, я ни с кем не связываю, у меня нет никаких оснований связывать это ни с Навроцким, ни с Андреем, ни с Виткой Буровым. Мне надо подумать. И я не хочу лишних разговоров и потому прошу тебя никому ничего не говорить, в том числе и Люде.

— Но ей может сказать Андрей.

— Скажи ему, что портфель нашлся.

20

Итак, вагон отправили, а документы похитили. Все продумано. Красавцев сделал так, что он взял документы домой. Навроцкий ушел в театр, третий забрал документы. Кто он, третий? Некто неизвестный, проникший в квартиру, когда Андрей спал! Или Андрей сам отдал портфель сыну кладовщика Панфилова? Он исключает такую возможность, но то, что вынужден об этом думать, уже чудовищно. Если эти товарищи Андрея, компания—как называет Миша Поляков—то в милиции их заставят говорить, преступник обнаружится, но и его сын окажется замешанным. Это невозможно. Не сознатель-

ное зло, воровство мальчик не способен, но его могли обмануть, использовать. Если Андрей не замешан, то преступника не найдут, преступником будет он, Николай Львович Зимин; он унес документы с фабрики, у него дома они пропали, он отвечает за брак на производстве и хотел скрыть его причины. В обоих случаях он на подозрении, и дальнейшая работа на фабрике немислима.

Обратиться к Красавцеву? Тому ничего не стоит скрыть пропажу документов. Но тогда он в их руках, тогда-то они распожуются, покажут себя, разворуют фабрику.

Следовательно, или компроматация, или шантаж.

Они не добьются ни того, ни другого. Он не глупее их, проработал на этой фабрике двадцать лет, знает все возможные уловки. Они не обведут его.

В понедельник, на фабрике, Николай Львович сказал Красавцеву:

— Я просмотрел документы, но там не все. Будьте добры, подберите мне в сс документы по браку, скажем, за последние два месяца. Кроме того, подберите все документы Навроцкого. Как, кажется, фамилия представителя Деткомиссии?

— Да, так,— подтвердил Красавцев, соображая, зачем все это требуется Зимину.

— Вот и прекрасно. Сделайте это побыстрее.

— Нужно время, документов много.

— Понимаю. Три-четыре дня вам хватит? Ну, пять дней? Неделя? Значит, получаю их в субботу. Правда, в субботу я уезжаю на дачу, с собой я их, естественно, не потащу. Но в воскресенье вернусь с дачи пораньше и просмотрю.

— Кто вы проверяете, Николай Львович?

Зимин усмехнулся.

— Себя проверяю, Георгий Федорович, себя. Вы допускаете такую возможность?

21

Операция с Навроцким не внушала Красавцеву опасений. Службевые бумаги в порядке: товар для Деткомиссии. А что с товаром дальше его, Красавцева, не волнует, за это он не отвечает. Что касается комбинации с браком, то браковочные акты оформлены, подписаны мастером и техническим контролером—людьми, подчиненными Николаю Львовичу Зимину. Акты липовые, но они существуют, проверить соответствие их качеству товара невозможно: товар ушел.

Требование Зимина передать ему новые документы насторожило Красавцева. Зачем, если Навроцкий с ним поладил? Значит, не поладил. Зимина не купил. «Себя проверяю»—это сказано неспроста, он хорошо понимает иносказательные обороты инженера. Зря послушался Навроцкого, зря передал Зимину документы, потянул бы неделю-другую, Зимин бы забыл о них. И новые документы не даст, в коммерческом отделе три сотрудника, некогда этим заниматься.

С Навроцким пора кончать: меры не знает, подведет да еще строит из себя аристократа. Этого Красавцев особенно не терпит. Комбинируй и не строй из себя принца Уэльского.

Красавцев с Навроцким встали в казино.

Валентин Валентинович не играл в рулетку, из всех игр признавал только тотализатор—на бегах властвует не случай, а знание. Навроцкий знал лошадей, разбирался, играл наверняка.

Войдя в зал, Валентин Валентинович отыскал глазами Красавцева за игорным столом, но не подошел,

сделал вид, что не замечает. По лицу Красавцева было видно, что дела его плохи. Как заявлять игрок, он обычно выигрывал, но в конечном итоге — всегда в проигрыше и нуждается в деньгах.

Валентин Валентинович молча изучал расчерченные на клетки игорные столы.

Крупье провозглашал:

— Граждане, давайте ставки!

Игроки клали фишки на клетки. Крупье дергал рычаг, вертелся круг, по нему метался шарик, пока не попадал в одно из нумерованных отделений. Все напряженно следили за ним... Потом крупье лопаточкой сгребал фишки.

Все как в настоящей рулетке. Только нет бледных, испитых лиц стариков и старух, годами восседающих за игорными столами, нет князей и графов, оставляющих тут состояния. Средних лет люди, полные силы и здоровья, пытаются счастье, играют по мелочи, провинциальные кассиры и уполномоченные, прокутившие в столичных ресторанах казенные деньги, делают здесь отчаянную попытку их вернуть, взяточники, вроде Красавцева, просят за то, что ханнули у залпавших и снужденных. Эти люди проигрывают не деньги, а жизнь. Нет, его игра другая.

Краем глаза он следил за Красавцевым. И этот проигрывает жизнь. Впрочем, чем больше теряет Красавцев, тем больше получает он, Навроцкий.

Наконец Красавцев поднялся.

Валентин Валентинович пошел ему навстречу.

— Здравствуйте, — буркнул Красавцев, — вы мне нужны!

Они вышли на улицу, свернули за угол и пошли по Тверской.

— Зимин требует документы по всем вашим отправлениям, — мрачно сообщил Красавцев.

— А что он сказал о бумагах, которые вы уже ему передали?

— Сказал, что их недостаточно, хочет посмотреть остальные.

— Дайте ему остальные. Дайте, дайте! В тех документах он ничего не нашел и в этих не найдет. Да и что можно найти? Документы в порядке, акты оформлены, вы это сами хорошо знаете.

— Зачем он их требует?

— У него свои соображения, — загадочно ответил Навроцкий, — хочет окончательно убедиться, что со мной можно иметь дело. Неужели непонятно? Дайте ему документы, а мне сделайте пять вагонов и все оформите браком.

Красавцев остановился.

— Вы с ума спятили?

— Разве я похож на сумасшедшего? Да, да, пять вагонов. В понедельник Зимин сам подпишет любой акт, даю вам гарантию, головой отвечаю.

Его веселая уверенность поколебала Красавцева. Все же он сказал:

— Пять вагонов брака невозможно, слишком заметно, вмешается трест. Пять вагонов! Чрезвычайное происшествие! Даже если Зимин подпишет акт, я на такое не пойду.

— Чем вы рискуете? Вагоны уйдут, останется акт — официальный, оформленный, всеми подписанный.

Некоторое время они шли молча, потом Красавцев сказал:

— Мне нужно тридцать червонцев.

— Не повезло? — сочувственно спросил Навроцкий.

— Мне нужно тридцать червонцев!

— Я могу вам их дать, но прошу: не играйте, сегодня вам не везет.

— Не учите меня... Сегодня играть не буду.

Они зашли в подворотню, Валентин Валентинович вручил Красавцеву тридцать червонцев.

Тот сунул их в карман. Они пошли дальше.

Пять вагонов обеспечены, и он временно уходит в сторону. Надо оглядеться, отдохнуть, может быть, поехать на юг с какой-нибудь блондинкой... Элен Буш! Красотка! Вот с кем отправиться в Ялту или в Кисловодск. Заслужил он отдых или нет? Королева! Он оденет ее, как королеву! Люда не подходит. За чем ему девушка-аристократка, когда он сам аристократ? Аристократу нужна артистка — это имеет вид, как говорят в Одессе.

— Так как с вагонами?

— Оформить все браком я не могу.

— Половина браком, половина третьим сортом?

— Подумаем... И я не могу сделать все для Деткомиссии. Слишком мало.

— Сделайте часть для Минской швейной фабрики.

— Доверенность настоящая?

— Георгий Федорович, — внушительно проговорил Навроцкий, — мои документы все настоящие. Липы не бывает. И деньги с Гознака, а не с Марьиной рощи. Эта сторона дела пусть вас никогда не беспокоит. И Зимина тоже пусть не беспокоит.

Красавцев молчал.

— Так кик, договорились?

— Если в понедельник Зимин вернет документы и не будет осложнений, я вам сделаю пару вагонов третьим сортом для Минской швейной фабрики.

— Не пару, а пять.

— Почему именно пять!

— Так рассчитано, Георгий Федорович. Нам надо расстаться на серьезной операции с приятными воспоминаниями друг о друге. Эта операция даст вам возможность еще много раз посидеть в казино. А мне — купить шале, небольшую дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу, особенно в средней полосе России... Ведь Подмосковье — это тоже средняя полоса России, не правда ли?

22

Витка не остался безучастным к появлению Миши Полякова в своем доме: пожаловал, на испуг хотел взять. И к Белке приходил — тоже на испуг хотел взять, buffet оборовали. А ты докажи! Кто видел? Пирожные на крыше ели, так их вон в булочной продают. Нет свидетелей. Тот их могут узнат!

Витка об этом не беспокоился. Он вообще редко беспокоился. Но своими работами был недоволен. Белку видел на улице с Шаринцом, а ей запрещено никуда подходить. Шныра и Фургона взяли на грузку в школе, кооперативе какой-то, проторговались, просят денег из кримских.

Чем бы стали они без него? Паштет — кармаником, Белка — форточницей, давно бы сидели в колонии. Шныра и Фургона завербовали бы в пионеры, маршировали бы, дурачки, в красных галстуках. А он их в Крым берет, людьми сделал.

Сидя во дворе, Витка лениво выслушивал их объяснения.

— Нас с Фургоном поставили тетрадки продавать, карандаши и все прочее, — рассказывал Шныра, — а потом из учкомы проверили — три рубля недостатка.

— Согласились зачем? Вам больше всех надо!

— Так ведь постановление учкомы...

— Дурачки вы! — пренебрежительно сказал Витка. — Мишка нарочно всучил вам кооператив, чтобы запутать. А как проторговались? Взяли чего?

— Ничего не брали! Фургон перепутал. Линейки есть и по четыре копейки, и по десять, и по пятнадцать, от длины зависит, а он всем говорил четыре. Все перепутал.

— Зачем перепутал?

— Я вижу, написано: линейки деревянные — четыре копейки, я и говорю четыре копейки; все шумят, торопят, я и перепутал, — попытался оправдаться Фургон.

— Выкручивайтесь, как хотите, — сказал Витка. — Не дам денег, они на Крым. Влезли — вылезайте. Витка повернулся к Белке, неожиданно спросил:

— О чем с Шаринцом говорил?

— Вовсе не говорил.

— У магазина с ним стояла?

— Я у витрины стояла, он подошел, я отошла.

— Врешь!

— Не вру.

— Шныра! Говорила она: Шаринцом!

— Говорила.

— Чего же врешь?

— Не говорила я, — упорствовала Белка, — он подошел, я отошла.

— Я еще разберусь, — сказал Витка. — Шаринец — ширмач, к нашим деньгам подбирается. Кто ему про Крым натрелся?

Белка прижала руки к груди:

— Вот, христом-богом...

— Еще раз увижу с Шаринцом, никакой христок не поможет, — пригрозил Витка. — Ладно! Я воскресенье поеду на Дорогомиловское кладбище синичек ловить.

— Я не могу, — сказал Фургон, — в субботу мои уезжают на дачу, велели в воскресенье даче сидеть.

Без тебя обойдемся, — презрительно ответил Витка.

Витка не знал, что в субботу вечером Шныра и Паштет собираются с Мишей Поляковым з цирк. Шныра и Паштет ему об этом не сказали: знали: Витка запретит. А пойти з цирк им очень хотелось.

23

Невиданный воздушный аттракцион под куполом цирка без сетки! Три-Буш-три!

Эллен и ее партнеры ловко взобрались по веревочной лестнице. Погас свет. Проекторы осветили в воздухе стройные фигуры, перелетающие от одной трапеции к другой. Барабан выбивал мелкую дробь.

Они спустились по канатам, раскланивались, ухаживали, возвращались, вызванные аплодисментами, снова уходили и опять возвращались, задержанные жестом инспектора манежа. Все смотрели на Эллен, освещенную проекторами красавицу в трико с блестками.

К ее ногам упал букет цветов. Миша оглянулся. Букет кинул Валентин Валентинович.

В антракте Миша, Шныра и Паштет прошли за кулисы. Их ожидала Эллен. Она была в сером шерстяном костюме, туфлях на высоком каблучке и в берете.

— Ты уходишь? — спросил Миша.

— Да, я уже выступила.

— Я провожу тебя?

— Зачем, ведь еще одно отделение. — Она кинула на мальчиков, рассматривающих зверей в клетках: — Кто это?

— Ребята с нашего двора. У них замечательные акробатические способности. Может быть, вы их посмотрите?

— Беспорядочные, безнадзорные, неустroенные, — засмеялась Эллен, — ты все еще занимаешься этим!

— Приходите.

— А дальше?

— Собираюсь в Плехановский.

— Кого он готовит?

— Экономистов.

— Будешь все экзотичить, считать, жадничать, — снова засмеялась Эллен. — Не скучно?

— Ты путаешь: экономист — это не экономка. И скучать я не буду, скучать можно по человеку.

Миша покраснел. Признание, даже такое отдаленное, казалось ему на языке ванилием себя.

— Это верно, — согласилась Эллен, — я очень соскучилась по тебе, Генке, Славке.

— Мы тебя редко видим, — сказал Миша, обрадованный тем, что она не заметила или сделала вид, что не заметила его признания.

— Я цирковая, гастролирую, — рассеянно проговорила Эллен, оглядываясь, видимо, ожидая кого-то. Как тебе понравился наш номер?

— Понравился. Но я предпочитаю два-Буш-два.

— Почему?

В ее голосе прозвучало кокетство, несколько снисходительное: для нее Миша был все еще мальчик, он чувствовал это.

— Мне это кое-что напоминает, — сказал Миша.

— Я не знала, что ты так привязан к воспоминаниям детства.

— К некоторым очень, — сказал он твердо.

— Придется обновлять номер, иначе он надоест публике, — сказала Эллен. — Ты бы мог смотреть все время одно и то же?

— Я бы мог.

— Если на арене будут твои знакомые, — засмеялась Эллен. — Но не у всех зрителей знакомые актеры. Теперь у нас новый номер, и он потребовал нового партнера, Сережу. И поскольку он присоединился к нам, а не мы к нему, то он тоже стал Бушем.

— Самозванец! — засмеялся Миша.

Подошли Игорь и Сережа — стройный молодой человек с мужественным лицом.

— Знакомьтесь: Миша, Сережа...

В Сережином рукопожатии Миша почувствовал полное к себе равнодушие.

В сопровождении униформиста появился Валентин Валентинович.

— К вам, — Униформист обратился к Эллен.

— Я восхищен вашей замечательной работой, — сказал Валентин Валентинович.

— Спасибо, — ответила Эллен, — и за цветы спасибо.

— Аплодисменты и цветы — единственное, чем зритель может выразить свою благодарность, — продолжал Валентин Валентинович. — Кого я только не видел... Немцев, итальянцев... Но никакого сравнения! Двойное сальто на такой высоте — изумительно!

Игорь, игнорируя слова Навроцкого, спросил Мишу:

— Что же не привел Генку, Славку?

— Они не могут сегодня, в следующий раз придут.

— Давненько я их не видел.

Прозвучал настоятельный звонок, за ним другой.

— Идите, — сказала Эллен, — а то свои места упустите.

В то время, как Миша и Валентин Валентинович были в цирке, Зиминьи собирались на дачу.

Ольга Дмитриевна устроила большой беспорядок. Николай Львович подозревал, что она всю неделю продолжала поиски портфеля: в доме все было сдвинуто и переставлено. Сейчас она пыталась справиться с пакетами и пакетиками; у нее их всегда получалось очень много. Люда, отпуская по этому поводу иронические замечания, собирала пакетики в большие пакеты и узлы. Николаю Львовичу ее ирония казалась неуместной, но он молчал. Люде явно не хотелось ехать. Почему? Неужели этот прохвост в лакированных штиблетах играет в ее жизни большую роль, чем она старается показать? Всю эту неделю она о нем ни слова, в доме он тоже не появлялся. И о портфеле ни слова. Они ей, правда, ничего не сказали. Но неужели она в самом деле ничего не знает?

— Как хотите, — сказала Ольга Дмитриевна, — а я еще возьму старое пальто, а его уже не ношу, а бабушке в нем будет удобно выходить в сад. Как подумаю, что она там одна... Мы себе совершенно не представляем ее жизни...

Николай Львович перебирал бумаги. Папку, полученную сегодня от Красавцева, он оставил на столе, на видном месте, покосился на Андрея.

— Из дома не выходи, почитай и ложись спать в Людиной комнате. Дверь никому не открывая, скажи: нет дома.

— Хорошо, — буркнул Андрей.

По выражению его лица ничего нельзя было понять.

И все же другого выхода нет, надо проверить Андрея. Если не Андрей, в чем он уверен, тогда он захватит преступников. План безошибочен: если взяли те документы, должны прийти за ними.

О своем плане он не сказал жене, не хотел ее волновать. И без того он сказал ей много лишнего, создал в доме атмосферу недоверия, подозревает Андрея, подозревает Люду. Как все это ужасно, он сам разрушает самое дорогое в своей жизни — семью.

Каковы бы ни были отношения Люды с Навроцким, она не способна притворяться и лгать. Нет, нет, нет!

Именно поэтому Николай Львович поступит так, как решил.

На карту поставлено не только его служебное положение, но его незапятнанное имя, будущее его детей.

Когда поезд подходил к Лосиноостровской, Николай Львович вдруг сказал жене:

— Совсем забыл! Директор просил срочно приготовить докладную записку. Сейчас вернусь домой. Поезжайте без меня.

— Но, Коля... — только и смогла ответить пораженная Ольга Дмитриевна.

— Пожалуйста, умоляю тебя!

Люда удивленно смотрела на них, не понимая, что происходит.

Поезд тормозил, подходя к платформе «Лосиноостровская».

Николай Львович вынул папиросы, приготовил спички, встал и направился к выходу.

В тамбуре он закурил.

Когда поезд остановился, Николай Львович вышел на платформу, поднял воротник плаща, перешел на

другую платформу и через минуту-две сел в поезд, идущий в Москву.

Расписание он изучил точно.

В Москве, на Арбате, он сошел с трамвая на одну остановку раньше своей; медленно пошел по противоположной стороне улицы, по-прежнему с поднятым воротником; вошел в ворота своего дома, когда оттуда хлынула толпа из кинотеатра «Арбатский Арс», — Николай Львович рассчитал свой приезд так, чтобы попасть к концу сеанса. Снявшись с толпой, он пересек двор, бросил взгляд на окна своей квартиры — они были темны. С заднего двора он вошел в подъезд черного хода, поднялся по лестнице и открыл дверь.

Не зажигая света, через кухню прошел в столовую.

В тусклом свете, доходящем из окон соседнего корпуса, увидел папку на столе, на прежнем месте.

Николай Львович приоткрыл дверь в комнату Люды.

Андрей спал.

Андрей ни при чем. Он это знал.

По-прежнему не зажигая света, Николай Львович снял пальто, повесил на вешалку, посмотрел на часы: еще только половина десятого. Ну что ж! Подождем!

25

Из цирка они доехали до Арбатской площади на «Анушке», как называли москвичи трамвай «А», по Арбату же пошли пешком.

Шныра и Паштет убежали вперед. Миша и Валентин Валентинович медленно шли по улице.

От встречи с Эллен Миша ожидал другого. Чего именно — не знал. Шел с надеждой. Какой — тоже не мог сказать.

Девочка, с которой он еще год назад был снисходителен, теперь была снисходительна к нему — сознание, оскорбительное для молодого человека, считающего себя мужчиной.

Уход в личное Миша всегда третировал, как обкрадывание общественного. Теперь этой спасительной формуле, защищавшей его юное сердце, был нанесен удар: мысль об Эллен не покидала его.

— Цирк — прекрасное зрелище, — говорил между тем Валентин Валентинович, — но многое преувеличивает. Эффект достигается манипуляциями, зритель принимает их за чистую монету. На маневры мужчины как-то Аполлонами, женщины — Афродитами, а за кулисами... Такое разочарование... Я не говорю об Эллен Буш, она действительно красавица, это делает честь вашему вкусу.

— Почему моему? — нахмурился Миша.

— Мне показалось, что у вас к ней особенное отношение...

Миша остановился, вызывающе спросил:

— Как вы смеете это говорить? Какое, собственно, вам дело?

Они стояли друг против друга.

Ладно, стерпим, возьмем себя в руки, он накажет Мишу, когда увезет Эллен, вот тогда этот идейный мальчик попляшет. Сейчас не время.

— Прошу прощения, Миша, я вел себя, как хам, признаю. Но злого умысла не было, поверьте. Я преисполнен к вам самого лучшего, самого доброго отношения. А за амикосство, повторяю, простите.



Они пошли дальше.
Миша хмуро молчал.

— Вы сердитесь,— сказал Валентин Валентинович,— вы правы. В вашем возрасте это трепетно, серьезно, а мы, старики, скоты и циники. Мне стыдно за себя, поверьте. Хотите поехать со мной на беге?— неожиданно спросил он.

— Меня это не привлекает.
— Жаль. Лошади— моя страсть. В этом я кое-что понимаю. Игрок! Да-да, играю в тотализатор. Это предсудительно, я знаю, за азартную игру в тотализатор исключают из партии, но я беспартийный, более того, я обыватель. Представьте себе! Обыва-

тель тоже предсудительно, но у каждого своя судьба. Вы комсомолец, человек идейный, а я рядовой совслужащий, получаю небольшой оклад, крошечные проценты...

— Все люди живут на зарплату.

Валентин Валентинович покосился на Мишу. Мальчик поучает. Что ж, продолжим комедию.

— Понимаете, Миша, люблю хорошо пожить. У меня примитивные потребности. Хорошо жить— тоже примитивная потребность, не правда ли?

Миша пожал плечами. Его вызывают на разговор, а он не хочет разговора— этот человек ему чужд, что он будет ему доказывать?!

Не дождавшись ответа, Навроцкий продолжал: — Да, люблю хорошо пожить. Вы спросите, как? Отвечаю: лошадики выручают. Я не просто игрок, я счастливый игрок.

Его смех громко прозвучал в тишине ночной улицы.

— Да, Миша, я счастливый игрок, вот кто я такой. Я знаю, я вам не нравлюсь, и вот смотрите: делаю все, чтобы понравиться еще меньше. Дурацкий характер! Вместо того, чтобы завоевать ваши симпатии, я, наоборот, углубляю ваши антипатии. Кстати,— неожиданно спросил он,— почему я вам не нравлюсь?

Его болтовня раздражала Мишу, он чувствовал скрытое издевательство и сухо ответил:

— Какая разница? Мне, например, безразлично, нравлюсь я вам или нет.

— Вы не считаетесь с мнением других людей?

— Считаться с мнением других вовсе не означает всем нравиться.

— И все же я вам не нравлюсь, признайтесь! — настаивал Навроцкий.

— Да, не нравитесь.

— За что именно, интересно узнать?

— Вы получили вагон мануфактуры; помните, я помогал толкать?

— Конечно, помню.

— Зимин велел этот вагон задержать, его отравили, а Зимину сказали, что не успели задержать.

— Кто сказал?

— Кладовщик Панфилов.

— А я при чем?

— Вы вместе с Панфиловым и Красавцевым обманули Зимина.

— Ах, Миша, Миша,— улыбнулся Навроцкий,— и по таким вещам вы судите о людях? Хотите знать правду? Да, все сделали с моего ведома. Больше того—по моему настоянию. Судите сами. С великими трудами добыл я вагон мануфактуры, обил десятки порогов, вырвал сотни резолюций. Наконец товар мне выдан, я его оплатил, получил железнодорожный вагон, тоже, между прочим, не без труда, телеграфировал в Батум, что отгружаю товар. И вдруг, в последнюю минуту, Зимин приказывает задержать вагон, по-видимому, для того, чтобы передать его другому агенту, возможно, более настойчивому, более предпринимчивому или более знающему. А я должен начинать все сначала, опять ждать месяца или два. Какой же я после этого снабженец? Попух, дурак и бездарь!

Они шли мимо темных, но знакомых витрин. Миша молчал. В рассуждениях Навроцкого была своя логика. Впрочем, логика была и в рассуждениях Панфилова. Чужая логика.

Валентин Валентинович продолжал:

— Представьте: вы директор швейной фабрики, ждете вагон мануфактуры, иначе фабрика не может работать. А ваш уполномоченный, тюфяк, чурбан, проворонил этот вагон, уступил его неизвестно кому, и фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного?

— Допустим, вы защищали интересы своего предприятия,— сказал Миша.— А Красавцев? Панфилов?

Они стояли во дворе, в глубоком, темном колодезь, образованном корпусами дома. Несколько окон еще светилось.

Валентин Валентинович развел руками.

— О Красавцеве я ничего не знаю.

Не хочет говорить о Красавцеве. А ведь встречался с ним в ресторане. Все врет, все придумывает.

— А Панфилов? Почему Панфилов защищал интересы вашего предприятия, а не выполнил приказ своего инженера?

— Я должен отвечать за какого-то Панфилова?

— Вы с ним вступили в сделку, дали взятку. Он взяточник, а вы взятокодатель.

Удар был точный. Прямолинейность этих мальчиков может быть опасной.

Обдумывая каждое слово, Валентин Валентинович сказал:

— Взятки я ему не давал. Просто Панфилов не хотел лишней волокиты и был, между прочим, прав: задержка вызвала бы много осложнений—простой вагона, штраф, неустойки и так далее и тому подобное... Но предположим, чисто теоретически, что все было по-другому: я что-то дал Панфилову, пятерку, десятку, допустим, дал. Ну и что? Ведь мануфактуру я получаю не для себя, а для государственного предприятия.

— Это вопрос не денежных, а моральных,— возразил Миша.— За десятку человек продаст честь и совесть.

— Да ничего я ему не давал! — закричал Навроцкий.— Вы заблуждаетесь!

— Я ничего не утверждаю,— ответил Миша,— не видел и потому не утверждаю. Вы у меня спросили: почему вы мне не нравитесь, я вам ответил.

Валентин Валентинович задумчиво проговорил: — Да, с такими принципами, с такой прямолинейностью вам будет трудно жить, Миша...

В ночной тишине глухо, но близко и отчетливо раздался выстрел.

— Вы слышали? — Валентин Валентинович повернулся в ту сторону, откуда послышался выстрел.

— Как будто выстрел, может быть, пугач...

— Нет, не пугач,— встревоженно произнес Валентин Валентинович.— Это не пугач!

Миша показал на подъезд Зиминых.

— Вроде бы оттуда.

— Посмотрим! — решительно проговорил Валентин Валентинович и быстрым шагом направился к подъезду.

26

Они вошли в подъезд и услышали, как кто-то бежал вверх по лестнице.

— Они побежали наверх,— сказал Миша и, перескочивая через две ступеньки, кинулся вдогонку.

— Осторожнее, Миша, они вооружены! — закричал Валентин Валентинович и побежал за ним.

Они пробежали несколько этажей и остановились, прислушиваясь.

Топота ног уже не было слышно.

— Ушли на чердак,— сказал Миша.

И вдруг до них донесся детский крик:

— Папа, папа...

Они поднялись еще на этаж и увидели в дверях квартиры Андрея Зимина, босого, в трусах и майке. Размазывая кулаками слезы по лицу, он повторил:

— Папа, папа...

В коридоре на полу лежал Николай Львович.

— Зажигте свеч! — сказал Навроцкий.

Миша повернул выключатель.

Валентин Валентинович наклонился над Зиминым, увидел струйку крови на куртке и на полу.

— Звоните соседям! Срочно врача, милицию!

Соседи уже толпились на площадке, заглядывали в квартиру: полуодетые фигуры, испуганные, застывшие лица...

— Товарищи! — сказал Валентин Валентинович. — Есть ли поблизости врач?

— Во втором подъезде. Илья Борисович, — ответил соседка.

— Сходите за ним, побыстрее, пожалуйста!

— Сейчас, пальто накину.

— Товарищи мужчины, бегите к дворнику! У кого

есть телефон, звоните в милицию!

Валентин Валентинович действовал быстро, решительно, все подчинялся ему. Сверху и снизу, разбуженные шумом, подходили жильцы, толпа заполнила площадку.

— Я услышал выстрел, разбудил Сою, говорю: слышите, стреляют!

— Я дремала, но сквозь сон тоже слышала выстрел. Потом — топот ног по лестнице.

— Они вверх побежали.

— Наоборот, вниз.

— Человека застрелили, в собственной квартире, какой ужас! Но побежали наверх.

— Бандиты! Они вниз побежали. Зачем наверх? На крышу? На небо?

Валентин Валентинович сказал:

— Андрей, походи оденься, простудишься!

Андрей шагнул в коридор, но испуганно отшатнулся, увидев распростертое на полу тело отца.

— Пойдем, деточка...

Соседка увела Андрея к себе.

Появился врач, с нахмуренным лицом прошел в квартиру.

Валентин Валентинович стоял в дверях.

Врач склонился над Николаем Львовичем, потом поднялся.

— Он мертв.

— Боже мой! — всплеснула руками соседка.

Кто-то предложил:

— Может быть, положить его на диван?

Врач запретил:

— До милиции не трогайте!

Наступило тягостное ожидание.

Валентин Валентинович курил папиросу за папиросой.

Подходили еще люди, расспрашивали, им рассказывали про выстрел, про топот ног...

Появились милиционеры, трое, они вошли в квартиру, осмотрели тело Зимина, коридор, прошли в комнаты, переговорили с врачом, вышли на площадку.

— Кто что видел или слышал?

Миша показал на Валентина Валентиновича.

— Мы с товарищем Навроцким услышали выстрел, во дворе еще... Мы вбежали в подъезд, услышали топот ног наверху, побежали туда, но не догнали.

— Куда же те могли деваться?

— На чердак, конечно.

— Ты знаешь чердак?

— Знаю.

— Пошли!

Миша и два милиционера поднялись по лестнице и вошли на чердак.

Милиционеры вынули пистолеты, осветили чердак карманным фонариком.

Они осторожно двинулись, перелезая через стропила и балки, тщательно освещали углы. Чердак был пуст.

Так добрались они до Виткиной каморки. Миша потянул самодельную дверь. Милиционер осветил чуланчик. На тюфяке сидел Витка, щурил глаза, ослепленный светом фонарика.

— Ты чего здесь?

— Ничего, сплю.

— Вставай!

Витка поднялся.

— Оружие!

— Какое оружие?

— Подними руки!

Витка поднял руки.

Один милиционер направил на Витку свет фонарика, другой обыскал.

Оружия при Витке не оказалось.

— Кто здесь еще есть?

— Ничего нет.

— Выйди!

Витка вышел из каморки, увидел Мишу, с удивлением посмотрел на него.

— Ты?

— Кто-то вбежал на чердак. Ты не слышал, не видел?

— Не слышал, не видел.

Милиционер вытащил из-под тюфяка жестяную коробку с бумажными, серебряными и медными деньгами.

— Чьи деньги?

— Мои.

— Куда револьвер закинул?

— Не видел я никакого револьвера, чего пристали!!

— Не шуми, я тебе так пошумлю! — пригрозил милиционер. — Посмотри за ним, — сказал он товарищу, — я тут пошучу.

С Мишей он пошел по чердаку. Свет фонарика скользил по балкам и стропилам. У одной балки милиционер задержался, наклонился, разрыл кучу шлака, вытащил портфель, открыл, осветил фонариком.

Портфель был пуст, на внутреннем клапане серебрилась монограмма: «Николай Львовичу Зимину от коллектива фабрики».

Они вернулись к каморке, милиционер показал Витке портфель.

— Где взял портфель?

— Не видел я этого портфеля.

— Пошли!

Жильцы стояли на лестнице, внизу и сверху, свешивались через перила, поминутно хлопала дверь подъезда, подходили еще люди.

Толпа расступилась, пропуская в квартиру милиционеров и Витку. Миша остался на площадке. Валентин Валентинович стоял в дверях. Послышался шум машины, подъехавшей к подъезду.

Агенты угрозыска вошли в квартиру. Они вышли оттуда с Виткой и поднялись на чердак.

Миша устал, хотелось спать, он присел на ступеньки лестницы.

В широких окнах брезжил ранний майский рассвет.

Жильцы не уходили, появлялись новые, подошли отец и мать Витки. Отец был трезв, суетлив, поворачивался во все стороны, слушал разговоры, все время приговаривал: «Так ведь разобраться надо по справедливости, а как же, иначе нельзя». Мать смотрела на всех умоляющим, жалким и загнанным взглядом.

В квартире что-то происходило, осмотр или обыск. Тело Николая Львовича перенесли в комнату.

Вернулись с чердака агенты угрозыска с Виткой. Мать метнулась к нему, но Витка сурово проговорил:

— Чего кидаетесь?

Можно было только подивиться его дерзкому хладнокровию.

— Откажитесь, гражданин, — сказал агент.

— Это его мать, — объяснял кто-то из толпы.

— Незачем волноваться, — ответил агент, — все выяснят.

Они опять вошли в квартиру. Настало утро, люди уходили на работу, другие топились на лестнице, во дворе, у подъезда.

Из квартиры вышли милиционеры, между ними шел Витка.

Все хлынуло за ними. Спустились во двор и Миша с Валентином Валентиновичем.

В воротах Витка оглянулся, разрывая глазами мать, но, видно, не нашел ее.

Его взгляд встретился с Мишиным взглядом.

27

Тяжелые, намокшие бревна захватывали баграми, обвязывали веревками, втаскивали на берег, грузили на дроги, стоявшие вдоль набережной, тогда еще не гранитной, а земляной, местами выложенной булыжником, между камнями пробивалась чахлая травка.

Яша Полонский всех подбадривал:

Это мы разгружали поленья.
Провалившись по пояс в воду,
Этo мы, этo мы — поколение
Рвущихся к новой весне.

— Сатира получается у тебя лучше, — заметил Миша.

— В данном случае нужна не сатира, а прямая и доходчивая агитка, — ответил Яша, сморкаясь в платок.

— Простудился?

— Ходил я по лужам, теперь я простужен.

На школьном дворе ребята распиливали бревна, копали чурки на дрова, цепочкой передавали друг другу, укладывали штабелями возле котельной. За лето дрова высохнут, на следующую зиму школа будет обеспечена топливом.

Кончатся занятия, кончатся школа...

На последнем бюро обсуждали, кого рекомендовать в председатели учкома на будущий год. Миша предложил Сашу Панкратова. Только-только передали в комсомол? Ну и что? Толковый парень, смелый, принципиальный. С ним согласились — хорошая кандидатура. И другие ребята ничего: Нина Иванова, Максим Костин...

Всегда кажется, что тот, кто придет после тебя, будет хуже, но ведь и те ребята, которых сменил он, Миша, тоже считали его маленьким, боялись, что дальше будет еще так. Не так, конечно, по-другому, а ничего, работал.

В цепочке ребят, передающих дрова, Миша увидел Андрея Зихина и Лёно Панфилова. Жалко Андрея и Люду, и их маму, не похожую на маму. И ничего не выяснено, подозрение на одного Витку.

Миша не мог забыть взгляда, каким Витка разговаривал с мамой.

Он увидел Витку таким, какого знал в детстве, тут Витка не мог убить. И Витка, который оглянулся, ища глазами мать, тоже не мог и не убил Зихина.

Чистая психология, конечно, а все же не мог убить.

Как-то Миша зашел к Люде. Она читала, отложила книгу, когда Миша вошел, посмотрела на Мишу глубоким, выжидательным, совсем новым взглядом, потом вдруг улыбнулась.

— Садись!

У Миши сжалось сердце от этой улыбки. Странная девочка, гордая. Он вспомнил разговор с Ни-

колаем Львовичем. Николай Львович сказал тогда: «Это делает ей честь». Она и сейчас держится так же, старается скрыть свое горе, не навязывает его никому. А они пели про нее: «Я жеманство тру-ля-ля»...

— Где мама? — спросил Миша.

— Скоро придет.

— Как она?

— Мне кажется, она еще не понимает, что произошло, не верит, не осознает. То вдруг становится такой, будто сама умерла. А иногда она вдруг начинает лихорадочно обвинять Витку Бурова, быстро, быстро, и все про Витку, все про него, как будто хочет и себя и меня убедить, что именно он во всем виноват.

— Наверно, она так и думает, — заметил Миша.

— Да, убеждена в этом. Она всегда его побаивалась, хотя не всегда сознавала, храбрилась, а теперь утверждает, что еще до всего она пыталась на ее глазах влезть в окно.

— Миша взглядом примерился к пожарной лестнице.

— Это довольно сложно.

— Я то же самое ей сказала, а она отвечает: «Сложно? Для него?»

— А что было в портфеле?

— Служебные бумаги, какие-то документы на брак.

— Зачем они Витке?

— Возможно, он их просто выбросил. Мама утверждает, что ему был нужен портфель. Ведь они собирались в Крым. Андрей замуслил тон энциклопедии на «К», Андрей ведь еще совсем дурачок. Он, например, своим почерком, с ошибками через каждые два слова, изговаривал «д А к у м е н т и». В «дАкументе» указывалось, что учитель Витя Буров едет со своими больными чахоткой учениками в Крым.

— Для Крыма нужен не портфель, а чемодан. Но, допустим. Скажи, если не секрет, почему о пропаже портфеля твой отец не заявил в милицию?

— Роковая ошибка. Если бы заявил, то остался бы жив. Но понимаешь... В тот вечер дома оставался один Андрей, папа опасался, что подозрение падет на него. Кроме того, если Андрей как-то причастен к пропаже, то папа надеялся, что со временем он сумеет вернуть документы — зачем они ребята?

— Неужели Андрей причастен?

— Нет, ни в коем случае, этого не может быть. Я пытаюсь представить себе ход панических мыслей.

— Ну, хорошо, Витка украл портфель, допустим, даже с помощью Андрея. Но убийство...

— Я не верю, что Витка убил папу, не верю... — сказала Люда. — Я думаю, что нас хотели ограбить, проследили, как мы уехали на дачу, забрлись в квартиру, но папа неожиданно вернулся с дороги.

— Да? Почему?

— Вспомнил, что ему надо написать докладную записку. Конечно, это очень странно, я до сих пор лежю над этой головой.

— Действительно, странно, — сказал Миша.

— Вообще, много непонятого... Например, о пропаже портфеля я узнала после того, как убили папу.

— Тебе не говорили? Скрывали? Целую неделю?

— Да.

— Почему?

— Мама говорит: не хотели волновать меня... Я в это не слишком верю.

— И Андрей тоже не знал?

— Андрей знал, они спрашивали у него, где портфель.

— Значит, только от тебя скрывали?

— Люда пристально посмотрела на Мишу.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Просто констатирую это обстоятельство.

Но для самого Миши это обстоятельство было ясным: Зимины не доверяли Люде из-за Навроцкого.

Может ли Миша сейчас доверять Люде? А если она передаст Навроцкому?... После того, что случилось,— сомнительно. А прочее... Пусть думает в другой раз, с кем шататься по ресторанам!

— Я хочу, чтобы ты, в всякий случай, знала: в портфеле действительно были документы на брак. Но этот брак был отпущен твоему знакомому, Валентину Валентиновичу...

Миша подробно, обстоятельно рассказал Люде об эпизоде с вагоном.

— Кстати,— безжалостно заключил Миша,— когда вы с Юрой танцевали в ресторане, Валентин Валентинович разговаривал с Красавцевым, а потом Красавцев передал документы Николаю Львовичу в проходной, когда Николай Львович шел домой. Николай Львович не хотел брать, Красавцев навязал их ему.

Люда ошелоленно смотрела на Мишу.

— Но когда пропал портфель, Валентин Валентинович был с нами в театре...

— Был... А когда убили Николая Львовича, был со мной в церкви... Я его не обвиняю, я просто рассказываю тебе некоторые обстоятельства.

Люда широко раскрытыми глазами смотрела на Мишу. Потом закрыла лицо руками.

— Ну, ты чего...

— Это я была папу.— Она отняла руки, глаза ее были сухие и красные.— Я привела этого человека в наш дом.

«Что-то не так получается у меня с этой семьей,— подумал Миша.— То злюсь на них, то жалуюсь.

— Я ведь не сказал ничего утвердительного, просто пытаюсь связать между собой некоторые факты.

— Это я убила папу,— повторила Люда,— я привела этого человека в дом. Папа говорил, что он ему не нравится, не хотел видеть его в нашем доме. Теперь я понимаю, почему: он знал, он предчувствовал... Боже мой... Это я, я, я... Все я... Виновата одна я. Ведь когда он пришел к нам перед театром, я сразу поняла, что он такое, все врет, ни одного слова правды, я все почувствовала, но у меня не хватило духа отказаться, не идти в театр, мне было стыдно перед папой, перед мамой... Боже мой, боже мой, что я наделала...

Она раскисавлась, закрыл глаза. Миша впервые видел такое отчаяние, не знал, что ему делать, как успокоить. Все из-за него, а он, может быть, не прав, ведь нет никаких доказательств.

— Нет никаких доказательств, что это сделал Навроцкий,— сказал он.— Ты напрасно себя казнишь. Наоборот, все доказательства в его пользу, ты сама их приводила. Кроме того, убило твоего отца, они не взяли документов— значит, дело не в документах и, следовательно, не в Навроцком. Просто я так же, как и ты, не верю, что Витка— убийца.

Она сидела молча, смотрела в одну точку, потом сказала:

— Я убью этого мерзавца.

— Перестань!— сказал Миша.— Не бросайся из одной крайности в другую. Надо сначала доказать; идет следствие, оно все выяснит. Единственное, что от тебя требуется: не выдавай Навроцкому своих подозрений. Обещай?

— Я с ним больше не выжусь,— ответила Люда.

Славкина квартира, раньше такая большая и светлая, выглядела теперь скучной и запущенной. Пыльные ковры на полу, подгоревший абажур над столом, на диване в беспорядке маленькие подушки. И только рояль в углу такой же чистый и блестящий, как и раньше, и тот же перед ним вращающийся стул.

Дверь в спальню была открыта, там мелькнула фигура Константина Алексеевича в запыленном халате. Небритый, осунувшийся, мешки под глазами, он не вышел и не поздоровался.

Славка отнесся к этому спокойно, привык к странностям отца или не хотел, обращая внимание, подчеркивать их.

— Я не допускаю мысли, что Витка убил Зимины,— сказал Миша.— Обыскиали весь чердак, перебрала каждая щепка— оружия нет. Проник в квартиру? Как? В окно? На виду у всего дома? Через дверь? Ни ключей, ни отмычек у Витки не нашли. Дверь открыл Андрей? Андрей участвовал в убийстве отца? И главное— мотивы преступления? Обращение? Почему унес только портфель? Документы? Зачем они Витке?

— Я тоже не верю, что Витка убил Зимины,— сказал Славка.

— А я верю!— объявил Генка.— Кто такой Витка Буров? Начинающий бандит, подчеркиваю не а ч и н а ю щ и й. Он первый раз забирается ночью в чужую квартиру, волнуется, видит портфель, думает в нем что-то ценное, хватает, убегает. Проходит неделя, никто портфеля не ищет, все тихо. Прекрасно! Витка идет опять, дорожка знакомая, но там неожиданно хозяин... Витка со страху стреляет, ему уже не до барахла, удирает, закидывает куда-то пистоль, забирается на чердак в свою конуру и притворяется, что дышит.

— Если бы у Витки был револьвер, он обязательно показал бы его ребятам,— возразил Славка.

— Может быть, и показал! А они скрывают. Главное— откуда на чердаке взялся портфель?

— Да,— сказал Миша,— портфель— единственный пункт против Витки. Но в портфеле были документы на брак; они нужны не Витке, а Красавцеву, Панфилову и Навроцкому.

— А может быть, по их поручению Витка и сделал это,— предположил Генка.

— У него были плохие отношения с Навроцким.

— Для видимости можно и по мордасам лупить друг друга. Кто, если не Витка? Навроцкий. Когда украли портфель, он был с Зиминым в театре, когда убили Зимины— с тобой в церкви. Если он и взял портфель, если и убил Зимины, то Виткинскими руками, а сам устроил себе алиби: сначала Художественный театр, потом цирк.

— Вы оба горячитесь, а зря,— сказал Славка.— Один твердит— Витка, другой— Навроцкий. Ну, а сам Зимины? Почему он скрыл пропажу портфеля с документами? Боюсь, видите ли, подвести Андрея? Что грозило малолетнему Андрею? Ровным счетом ничего. Больше того! Несмотря на пропажу первых документов, Николай Львович взял домой вторую пачку документов, отправил на дачу жену и дочь, а сам с дороги неожиданно вернулся домой. Зачем? Вспомнил о докладной записке? Брунда! Николай Львович не тот человек, чтобы забыть о докладной записке. Если даже забыл, то написал бы в воскресенье вечером. Он вернулся не случайно, вернулся специально, намеренно, поехал, чтобы убрать Ольгу Дмитриевну и Люду, а сам вернулся. Зачем! Почему?

— Что ты долдонил: почему, почему? — заметил Генка. — Сам скажи — почему?

— Можно предположить только одно, — сказал Славка. — Зимин должен был встретиться с кем-то у себя дома. Встретились, повздорили, они его убили. Но, заметьте, документов не взяли. Значит, не в них дело.

— То есть Навроцкий ни при чем, это ты хочешь сказать? — спросил Миша.

— Да, возможно, дело не в Навроцком, не в Витке, а в ком-то третьем. Зимина могли вовлечь в какую-то аферу, запутать. Он, допустим, захотел выйти из игры, и его убили, опасаясь разоблачений.

— Зимин был нечестный человек?

— Честный. Может быть, даже свечестный. И в этом, может быть, все дело — он в чем-то запутался или его запутали.

— Выходит, никому нельзя верить?

Славка качнул головой:

— Просто я больше вижу, больше слышу. Я уже говорил: изнанка жизни. Вы ее не видите, я вижу. Сам подумай: зачем Навроцкому с Красавцевым убивать Зимина? Из-за документов? Красавцев мог с этими документами сделать на фабрике что угодно. Эти документы в его руках. Они отлично понимают, что за убийство выйдет! Нет, это не Навроцкий, не Красавцев, это другие люди, которых, может быть, никто, кроме самого Зимина, не знает. И именно потому, что никто, кроме Зимина, не знает, они и пошли на такое дело.

— Подведем итоги, — сказал Миша. — Генка считает убийцей Витку Бурова, так, Генка?

— Да. Допускаю, что Витка был исполнителем, орудием в чьих-то руках, возможно, в руках того же Навроцкого, того же Красавцева. Но портфель украл он, убил Зимина он.

— Ясно. Славкина точка зрения: Зимин запутался в связях с какими-то неизвестными нам дельцами, и его убили. Так, Славка?

— В общих чертах так.

— И, наконец, мое мнение: Витка ни при чем. За этим делом стоит Навроцкий. Теперь встает вопрос: что будем делать?

Славка удивился:

— Что мы можем делать? И почему мы должны что-то делать? Следствие само разберется.

— Как мы можем вмешиваться? — добавил Генка. — И зачем? Витку выручать?

— Да, — сказал Миша, — надо выручить Витку. Да, тебе в помощь. Я этого не собираюсь делать.

— Бог мне не помощник и не товарищ. Вы мои товарищи. От вас я жду помощи.

— Что именно?

— Хотелось бы знать, что говорят об этом на фабрике. Твоя тетка, наверно, в курсе.

— Это можно, — согласился Генка.

— А ты, Славка, поскольку ты так хорошо знаешь изнанку жизни...

— Твои насмешки меня не трогают.

— Тем лучше. Так вот. Навроцкий — частый посетитель «Эрмитажа». Не мог бы ты узнать о нем подробнее?

— Если что-нибудь узнаю, скажу.

— Прекрасно! От самого дела вы устранились?

— Я не намерен тратить на это время, да у меня его и нет, — сказал Славка.

— А у меня нет желания защищать Витку Бурова, бандита! — объявил Генка.

— Ну что ж, — сказал Миша, — значит, на этот раз я остался один.

Чем он располагает? Ничем, в сущности. История с вагоном? Маловато.

И все же среди бесчисленных лиц, мелькавших в ту ночь на лестнице, пораженных, взволнованных, испуганных, лицо Навроцкого было единственным исполненным затененной тревоги, внутреннего напряжения, готовности к любой неожиданности. Воспоминание об этом лице укрепляло Мишу в его уверенности больше, чем все другое. Опять психология? Ну и пусть!

С чего начинать? Кого он знает из окружения Навроцкого? Только Юру. Но если что-либо и знает, все равно не скажет, верный шаг. Продался за ресторанный похлебку, за беш-страганов и кофе со сливками. Ничего не скажет, не с него надо начинать.

Начинать надо с Андрея Зимина и Ленки Панфилова. Шныра и Фургон из компании Витки будут его защищать, выгораживать, и все же могут обнаружить какие-то подробности, что-то действительно существенное в пользу Витки. А все, что в пользу Витки, то против Навроцкого. Что они могут знать об истинном убийце? Ничего! И все же говорить больше не с кем, надо говорить с ними.

Шныра и Фургон дежурили в бригаде распределителя, и Миша отправился на кухню.

Нагнетил кухонным ножом Кит ловко разрезал круг масла на одинаковые кубики. Виртуоз, ничего не скажешь! Человек, нашедший свое призвание.

Шныра и Фургон чистили картошку.

— Потоньше срежьте кожуру, который раз вам говорю! — выговаривал им Кит.

— Кертфельная каторга! — пробормотал Шныра с отвращением.

Миша попросил Кита отпустить Фургона.

— Так ведь столы скоро накрывать, — ответил Кит недовольно.

— На несколько минут всего. Идем, Андрей! Они вышли на школьный двор, уселась в тени высокого тополя.

— Как ты думаешь, Андрей, Витка виноват в том, что случилось с твоим отцом?

— Откуда я знаю? Я не видел, кто убил папу.

— А кто украл портфель?

— Я спал, когда его украл.

— И не слышал, как кто-то забрался в квартиру и унес портфель?

— Не слышал.

— А как портфель очутился на чердаке?

Вместо ответа Фургон пожал плечами, губы у него задрожали.

«Мучаю ребенка», — подумал Миша.

— Слушай, Андрей, — сказал Миша, — твоего отца убил негодяй, мерзавец. Неужели ты будешь его защищать?

— Но ведь я ничего не знаю! Меня и следовательно вызывал, и мама спрашивала. А что я знаю? Я спал. Я не видел, кто взял портфель, не видел, кто стрелял.

— Но сам ты как думаешь: Витка виноват?

Андрей молчал.

— Что же ты молчишь? Ты его боишься? Кого ты боишься?

— Ниошя я не боюсь, — ответил Андрей, потупившись.

— Ну так говори!

— Ничего я не знаю. И про Витку не знаю: он украл или нет — не знаю.

— А зачем ты с ним водился?

— Я не с ним, а со Шнырой, а уж потом вместе...

- Что вместе?
- Ну, были вместе.
- А револьвер ты видел у Витки?
- Нет.
- Честное слово?
- Честное слово!

Миша смотрел на Фургона. Не может быть, чтобы врал, не похож на лгуна, неуклюжий, добродушный мальчишка, ничего в нем воровского, блатного, ничего хитрого, лукавого.

Все же Миша переспросил:

— Значит, у него не было револьвера?

— Я не знаю: был или не был. Только я не видел, он мне не показывал.

— А ты говорил кому-нибудь, что твои уйдут в театр?

— Никому не говорил. Я сам не знал, что они пойдут. Меня позвали со двора, сказали: уходим, остаемся дома, ложись спать. Я и лег.

— Хорошо. А во второй раз? Ты знал, что твои собираются на дачу?

— Знал.

— Говорил кому-нибудь?

— Чего?

— Что твои уезжают на дачу, говорил кому-нибудь?

— Нет...

Андрей вдруг осекся, растерянно посмотрел на Мишу...

От Миши это не ускользнуло.

— Сказал кому-нибудь, вспомни! Это очень важно.

Андрей снова потупился, потом тихо проговорил:

— Витке сказал.

— Значит, Витка знал, что твои уезжают на дачу?

— Знал,— прошептал Андрей.

— Зачем ты ему сказал?

— Сказал...

— Он спрашивал тебя?

— Нет.

— Зачем же ты сказал?

— Витка нам говорит: поедем в воскресенье на Дорогомиловское кладбище синичек ловить. А я ответил: не могу я, наши в субботу уезжают на дачу и мне велели сидеть дома. Вот так он и узнал про дачу.

— Кто при этом был?

— Ну кто... Я, Шныра, Паштет, Белка.

Черт возьми, все сложнее, чем он думал!

— Слушай меня внимательно, Андрей! Ничего и никого не бойся. Скажи мне правду, Витка брал портфель?

Андрей молчал.

— Из тебя все приходится вытаскивать клещами.

— Все говорят, что украл.

— И убил он?

— Все говорят, что убил.

— А ты, ты как думаешь?

— Я не верю,— прошептал Андрей.

Итак, Витка знал, что Зимины уезжают на дачу, и, конечно, видел, как они уходили в театр. В обоих случаях ему было точно известно, что никого, кроме Андрея, дома нет.

Серьезная улика. Многие меняет.

Неужели правы эти таинственные «все», а он не прав?

Может быть, неприязнь к Навроцкому мешает ему быть объективным? Он настолько уверовал в его виновность, что не видит фактов, уличающих Витку, не хочет их видеть, игнорирует. И Фургон недоговаривает. Круговая порука! Кого он боится?

Шныра? Паштета? Белку? Паштет и Белка водились раньше с уголовными, знают их обычаи, их законы.

Но главный у них, после Витки, безусловно, Шныра, правая рука атамана. Андрей без его покровительства, под его влиянием. Не его ли больше всего боится Андрей?

Миша проводил Фургона на кухню и позвал Шныру. Тот не стал ожидать разрешения Кита, скинул фартук, с отращиванием отбросил нож и вышел с Мишей во двор.

В отличие от Фургона Шныра категорически объясил:

— Никакого портфеля Витка не брал, а уж убивать... Как он он не убивал.

— Как это ты так можешь утверждать? Ты все его дела знаешь?

— Знаю.

— Выгораживаешь Витку.

— Не выгораживаю, а правду говорю.

— Ты же был со мной в цирке. Откуда ты знаешь, что в это время делал Витка? Когда мы были в цирке, как раз и убили Зимины.

— Все равно Витка не убивал.

— А буфет в кино вы обворовали?

Шныра молчал.

— Молчишь?! Не хочешь правду говорить? Почему же я должен тебе верить про Витку, раз ты не хочешь говорить правду про буфет?

Не глядя на Мишу, Шныра сказал:

— Да, в буфете мы взяли.

Миша пристально смотрел на Шныру. Его признание говорит о многом. Понимает, что сейчас не время лгать: решается судьба Витки. Этому парнишке можно верить. Миша поверил.

— Что взяли?

— Пирожные, конфеты, ситро, монпансье две банки.

— Вот видишь,— сказал Миша,— раз Витка обокрал буфет...

— Не Витка, а мы все.

— Без Витки вы бы этого не сделали. Не сделали бы, а?

Шныра пожал плечами, не зная, что ответить.

— Витка вас учил воровать,— продолжал Миша.— Он блатной, и вас хотел сделать блатняками.

— Витка не блатняк! Не водился с ними и нам не давал. Он, когда узнал, что Белка водится с Шаринцом, сказал, что не возьмет ез в Крым.

— Разве Белка водится с Шаринцом?

— Раньше водилась.

— А сейчас?

— Разговаривала. Витка спрашивает: говорила с Шаринцом? А она отпирается — нет, не говорила. Врет! Витка ей сказал: будешь с Шаринцом,— не поедешь в Крым.

— А о чем Белка разговаривала с Шаринцом?

— Не знаю, стояла у витрины и разговаривала.

— Ну и что Витка?

— Витка и говорит: не смей водиться с Шаринцом, он ширмач, к нашим деньгам подбирается.

— К каким деньгам?

— А что мы на Крым собирали.

— Те, что в жестяной банке были, в чуланчике?

— Ага!

— Он хотел, чтобы Белка украла эти деньги?

— Не знаю, как: чтобы украла или чтобы ему сказала, где их Витка прячет. Только бы не узнал никогда. Витка их перепрыгивал. Шаринец сколько раз искал,— не нашел.

— Где искал, на чердаке?

— Ну да! Сколько раз на чердак лазил, да не нашел Витка места менял.

— Как же он залезал на чердак? Что-то не видел я, чтобы он взбирался по пожарной.

— По пожарке он не лазил. Он через черный ход...

— Так ведь дверь Витка на задвижку закрывал.

— Витка закрывал наш черный ход, а Шаринец со своего хода лазил.

— Его подъезд на другом крыле.

— А он по крыше.

— Вы его видели на чердаке?

— Сколько раз!

Шаринец разговаривал с Белкой? Ну и что? Хочет отбить ее от Виткиной компании, давняя история. Что еще? Шаринец связан с уголовным миром? Но зачем ему документы? Впрочем, документы не были нужны и Витке — улитки тут одинаковые. А вот чердак — это существование: Шаринец тоже мог спрятать портфель на чердаке. Шаринец, если он убил Зимина, мог по крыше перелезть на свою черную ход — живет он в восьмом этаже, прямо в свою квартиру... Конечно, Шаринец — карманный воршика, не более того, но почему на Витку можно думать, а на Шаринца нельзя? Уж он скорее поверит, что Шаринец это сделал.

— Слушай, — снова заговорил Миша, — ты помнишь, как Андрей сказал, что его родные уезжают в воскресенье на дачу?

— Говорил. Мы за синичками собирались, он и сказал: не могу, уезжают мои.

— А кто при этом был?

— Все мы были.

— И Белка?

— И Белка.

Миша пристально посмотрел на Шныру. Нужно ему довериться, другого выхода нет.

— Скажи, могла Белка сказать Шаринцу, что Зимины уезжают в воскресенье на дачу?

— Не знаю... Могла... Она все может. Неверная.

— Что значит неверная?

— Ненадежная.

— А мне ты веришь? — спросил Миша.

— А чего? Почему ты спрашиваешь?

— Я, как и ты, убежден, что Витка не виноват, не крал портфеля и не убивал Зимина. И буду делать все, чтобы это доказать. Веришь ты мне?

— Верю.

— Будешь помогать?

— Буду. Что я должен делать?

— Пока молчать.

— Ладно, — сказал Шныра.

30

На чердачных дверях висели замки: после всех событий упрямом закрыл чердак. Пришлось взобраться на крышу по пожарной лестнице.

На крыше Миша проделал путь, который мог бы проделать Шаринец после убийства Зимина, если допустить, что именно он его убил, а потом убежал по крыше к своему черному ходу. Путь его в этом случае проходил по краю крыши, путь опасный, и переход на свое крыло тоже опасный, но при известной ловкости и сноровке вполне возможный.

Затем через слуховое окно Миша спустился на чердак.

Виткиной комнаты больше не существовало. Штакое сооружение было разрушено, на его месте

валялись старые доски с ржавыми, погнутыми гвоздями, ободранные листы фанеры, рваный тюфяк.

Сейчас, когда он был здесь один, Миша ощутил чердак таким, каким ощущал его в детстве, — таинственным, загадочным, отделенным от остального дома. Глухая тишина нарушалась далекими звуками улиц и двора, воркованием голубей на крыше, царапаньем их когтей по жести крыши, и тут как будто летали невидимые птицы, их крылья трепетали в улах и щелях чердака.

Он даже не услышал, а почувствовал кого-то за своей спиной и оглянулся: возле слухового окна стоял Шаринец, поглядывал на Мишу. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Ты чего здесь? — первым спросил Миша.

— А ты чего?

— Антенну проверяю.

Он был в ловушке: чердачные двери заперты, а на крышу Шаринец загрохочит дорогу. Справиться с Шаринцем ничего не стоит — хлопик! Но, может быть, он вооружен. Что у него: револьвер или нож?..

— Антенну? — повторил Шаринец, с трудом выговаривая это слово. — Проволока, что ли? — Он кивнул в сторону крыши.

— Ага, она, — спокойно сказал Миша, подходя к окну и выглядывая на крышу. — Провисает, приходится подтягивать.

Теперь он стоял рядом с Шаринцем, готовый предупредить любое его движение. Мысль работала четко и ясно. Револьвер страшен на расстоянии, а когда стоишь вплотную, он не успевает его выхватить. Однако никаких враждебных намерений Шаринец не проявлял. Кивнул на разрушенную Виткину каморку, злорадно усмехнулся:

— Теперь не вывернется, бандюга! С финкой на тебя кидался, помнишь?

— Помню, — ответил Миша и, подтянувшись, уперся в проеме окна. Одно движение — и он на крыше. Главное — выбраться на крышу.

— Что ж вы его не укоротили? — спросил Шаринец.

— Разве мы милиция? — ответил Миша, перебросил ноги на крышу, встал и подошел к антенне.

Шаринец подтянулся за ним на крышу.

— Мы не милиция, — повторил Миша, оттягивая шест. Он чувствовал себя в безопасности, стоит на виду, у окон соседнего корпуса. Впрочем, по-видимому, у Шаринца действительно нет враждебных намерений.

— Комсомольцы, штаб у вас, а вы просто так, мимо сада-огорода... Проморгали!

— Да, — согласился Миша, переходя к другому шесту. — Теперь ребят затаскают к следователю.

— А их за что? Убивал-то один Витка, его одного на чердаке нашли. Фургон спал. А Шныра с Паштетом в цирке были. С тобой были. Ведь были?

Хорошо, что Миша стоял спиной к Шаринцу, и Шаринец не видел его реакции: Шаринец отводит возможных Виткиных свидетелей, знает, где они были.

— Да, — подтвердил Миша, — они были со мной в цирке, а все же одна компания с Виткой... Он повернулся, медленно пошел по крыше, трогая антенну руками, и продолжал: — ...и Белка из той же компании. А где была в тот вечер, неизвестно.

Шаринец исподлобья смотрел на него. Миша отметил про себя и это: замечание о Белке обеспокоило Шаринца.

— Что ж, по-товоему: Белка была заодно с Витькой? — спросил Шаринец.

— Так ведь сам знаешь, в его компании была.

— Убивала, выходит, заодно? Девчонка?

— Разве я говорю, что убивала? Я говорю: ребят по следам теперь затащают. А насчет Белки я вообще хотел с тобой поговорить.

— Чего говорить-то? — насторожился Шаринец.

Мише было важно не то, что говорит Шаринец, он не проговорился, важно, как говорит.

— Видишь ли, ее могут взять на фабрику — не хочешь, что посоветуешь?

— А я при чем? Почему ты ко мне?

— Говорят, ты имеешь на нее влияние.

— Кто говорил? Ну! — грубо спросил Шаринец.

— А ты чего на меня кричишь?! Думаешь, я глухой? Может быть, ты сам глухой? Могут так рвануть, что у тебя барабанные перепонки лопнут. Знаешь, что такое барабанные перепонки? — Миша протянул руку к уху Шаринца. — Вот тут они у тебя, ты ими слышашь, а лопнут, ничего не будешь слышать, глухим навсегда останешься. Понял?

Шаринец мрачно молчал.

— Я тебе не мальчик, учти, — продолжал Миша, — не Шныра, не Паштет. Мне говорили, что ты имеешь влияние на Белку. Кто говорил? Витька Буров говорил, вот кто? Витька говорил, что Белка тебя слушает, вот я и прошу: уговори ее пойти работать на фабрику, хорошее дело сделаешь.

Мишкино объяснение, по-видимому, удовлетворило Шаринца, и он спокойно сказал:

— Не маленькая, сама все понимает об себе. И не знаюсь я с ней, она с Виткой была. В Крым, дураки, собирались, на солнышке позагорать, вот и загорает, бандюга!

В говорливости Шаринца Миша почувствовал возбужденность человека к чему-то причастного, в обвинении Витьки — фальшь, в злорядстве — торжество мстителя. И его осведомленность, что где был в ту ночь, и его беспокойство о Белке...

На другой день, в школе, Миша отозвал Шныру в сторону.

— Можешь узнать: говорила Белка Шаринцу, что Зимины уезжают на дачу?

— Если она Шаринца навела, разве она признается! — усомнился Шныра.

— Это верно. А могла она навести Шаринца?

— Не знаю. Только Витька ни при чем, это точно.

— Хочешь Витьку выручить?

— Спрашиваешь!

— Следи за Шаринцом и Белкой.

Шныра исподлобья посмотрел на него.

— Шаринец узнает — убьет.

— А ты так, чтобы не узнал. Белке ничего не говори. И Фурунго!

— Я с Паштетом, — подумав, сказал Шныра.

— Не продаст?

— Он верный, любит Витьку.

— Кто там?

— От Антониды Аристарховны, — паролем ответил Навроцкий.

Дверь открыла рослая, дебилая, покрашенная женщина — хозяйка заведения.

За ярко освещенным столом сидели игроки.

В углу, на маленьком столике, стояли вина и закуски. К нему и подошел Валентин Валентинович, дожидаясь конца игры.

Ждать пришлось долго, но он никуда не спешил. От него не ускользнул настороженный взгляд Красавцева; тем спокойнее и невозмутимее выглядел он сам, rispetабельный молодой человек в черных лакированных ботинках с гетрами на блестящих пуговицах.

Наконец Красавцев подошел к столику, налил рюмку водки, стоя выпил, аполголоса спросил:

— Зачем вы здесь?

— Повидаться с вами, — весело ответил Валентин Валентинович. — Присядете?

— Нам незачем видеться, — ответил Красавцев, однако сел.

— Мне трудно жить, не видя вас, — Валентин Валентинович покачивал ногой в лакированном ботинке.

— Ваши шутки неуместны.

— Шутки уместны в любых обстоятельствах, дорогой Георгий Федорович, тем более уместны они в обстоятельствах комических.

— О какой комедии вы говорите?

— Сидите с убийцей Зимина, спокойно пьете водку и закусываете селедочкой с луком.

— А что прикажете делать? Закричать: держите его!

— Идея! Это будет забавно.

Красавцев вытер губы салфеткой.

— Что вы хотите мне сказать?

— Вы должны твердо уяснить: никакого, повторяю, никакого отношения к происшествию, я не имею. Будь я хоть мало-мальски причастен, меня давным-давно не было бы в Москве, вообще не существовало бы никакого Валентина Валентиновича Навроцкого. Неужели вы этого не понимаете? Чувш! Ерунда! Какие основания у вас связывать меня с этим делом?

— Вы настаивали передать документы Зимину.

— Документы лежат на столе, никто их не тронул.

— Вторые документы. А первые?

— Они пропали с портфелем и, вероятно, из-за портфеля. Зимин стал бы нашим человеком, поверьте! Но впущался негодяй, мальчишка, бандит, какой-то Альфонс Додэ, черт бы его побрал, все испортил. Я не знаю деталей, не хочу знать, меня это не касается. Я чист! А поскольку чист я, чисты и вы. Стыдно паниковать, Красавцев!

— Не стыдите меня, пожалуйста! — вспыхнул Красавцев. — Много на себя берете, вы сами еще мальчишка. Я не утверждаю, что вы имеете отношения к происшествию, как вы изволили выразиться. Но оно имеет отношение к нам. Пока все не закончится, не уляжется, я ничего не могу делать и не буду делать. И вам не советую появляться на фабрике. Исчезните на время.

— Исчезнуть? Мне! Когда я ни сном, ни духом! Красавцев, будьте мужичной, не теряйте головы! Все должно продолжаться, как было.

— Что именно?

— Пять вагонов.

— Вы с ума спятили!

— Извините, это вы деморализованы, обеспокоены убийством Зимина, все это видят, в том числе и ваши подчиненные. Зачем вы сами вызываете ложные подозрения?

31

В карты Валентин Валентинович тоже не играл. Есть карточные игры, в которых требуется умение, но надо ломать голову, а свою голову Валентин Валентинович берег для чего-то более существенного.

Но местонахождение игорного притона, где играл Красавцев, было ему известно.

Два раза коротко он позвонил в дверь.

Настороженный женский голос спросил:

— Все равно, придется переждать, — уже спокойнее ответил Красавцев. — Назначен новый инженер, надо к нему присмотреться.

— Наоборот, — возразил Валентин Валентинович, — сразу ограничьте его: твое дело — производство, мое — сбыт.

Ваше указание, товарищ Навроцкий, будет выполнено, как только вы станете директором фабрики.

Валентин Валентинович астал, холодно сказал: — Я дал вам несколько дружеских советов, на мой взгляд, правильных и полезных. Главное, будьте спокойны, как спокоен я. Никаких, ни малейших оснований для беспокойства нет, по одной простой причине: ни я, ни вы не имеем никакого отношения к этому делу. Я жду ответа. И не задержите. Иначе нужные мне пять вагонов я получу в другом месте. Честь имею.

32

Все так же двигались толпы в тесных рядах Смоленского рынка, между ларьками, палатками, открытыми прилавками, коробами с фруктами и овощами, мясными тушами, подвешенными на крюках, растекались по Арбату, по Смоленскому и Новинскому бульварам, по бесчисленным переулкам, спускавшимся к Москве-реке, кри-вым, запутанным, пыльным и грязным.

В переулках тоже торговали дозволенным и запрещенным, гнилым и целым, собственным и краденым, прячась от милиции и фининспектора в глухих проходных дворах, возле ветхих домиков, вросших в землю и подпертых брезнями, в бывших ночлежках, где ютились безприспособные, старьевщики, фальшивые слепцы, в извозничьих трактирах, чайных и пивных. Одна из них, «Гротеск», соседствовала со складом пустых бутылок, описанием которого началась эта повесть.

Благопристойная на вид, с вывеской, где красовалась пивная кружка с громадным клубком белой пены, она, однако, пользовалась дурной славой даже среди постоянных обитателей Смоленского рынка. Здесь собирались воры, жулики, их подружки, скупщики краденого. Порядочные коммерсанты заходили сюда только днем.

Валентин Валентинович вошел в «Гротеск» тоже днем, побыл там некоторое время, вышел и смешался с рыночной толпой, не обратив внимания на двух мальчиков, сидевших на краю тротуара.

Этих мальчиков были Шныра и Паштет. Они видели, как Навроцкий вошел в «Гротеск» и как вышел оттуда.

Сообщение об этом было для Миши неожиданным. Шныра и Паштет следили за Шаринцом — постоянным посетителем «Гротеска». Туда же, оказывается, заходит и Навроцкий.

Пивная на открытом месте, Навроцкий мог зайти выпить кружку пива. И все же это первое, что удалось узнать Шныре и Паштету, причем сразу, сходу.

Второе, не менее важное сообщение Миша получил на следующий день...

Паштет шел за Белкой.

На Смоленском рынке, у галантерейного ларька, ее ожидал Шаринец. Паштет зашел за ларек и прислушался к их разговору.

— К тебе Мишка приходил? — спросил Шаринец.

— Ну, приходил.

— Почему мне не сказала?

— А ты мне кто: дедушка, бабушка?

— Схлопочешь!

— Сам схлопочешь!

— Ты что Мишке говорила?

— Ничего.

— А он тебе чего?

— На фабрику, говорит, иди.

— А ты что?

— Что, что... Ничего!

— Еще с Мишкой увяжу — убью!

— Дурак!

— Навешаю!

— Боксы, я тебя очень! — презрительно ответила Белка и пошла прочь.

Паштет смог выйти из-за палатки только вслед за Шаринцом.

Против «Гротеска» сидели на тротуаре Шныра и Белка.

Шныра пересчитывал бутылки. Белка, подперев подбородок кулаком, мрачно молчала.

Шаринец подошел к ним.

Подошел и Паштет, уселся рядом со Шнырой.

Шаринец ткнул ногой в корзинку с бутылками.

— Дерьмом занимаетесь, копейки считаете?

— Ты! Осторожнее! — крикнул Шныра. — Разобьешь!

— Как ваш Альфонс? — насмешливо спросил Шаринец, косясь на Белку.

Ребята молчали.

— Говорил: не водитесь. Влип! Попались бы с ним заодно, пропались бы.

Они по-прежнему молчали.

— И с бутылками кончайте! Барахлитесь на помойке! Хотите заработать — дам дело. Настоящее. Соображайте!

Шаринец вошел в «Гротеск».

— Пойди, Белка, сдай бутылки! — сказал Шныра.

— Не пойду.

— Почему.

— Не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Ничего не хочу! Умереть хочу! Надоели все!

— Да, скучно без Витки, — сказал Паштет.

— Шаринец радуется, что Витку посадили, гад! — добавил Шныра.

— Из-за него Витка и сидит, — сказала вдруг Белка.

— Почему из-за него? — в один голос спросили Шныра и Паштет.

Белка вскрикнула, вскочила, крикнула:

— А ну вас всех!

И побежала по переулку.

Из «Гротеска» вышли Шаринец и еще какой-то человек и скрылись за углом.

Шныра и Паштет пошли за ними.

33

Из-за него Витка и сидит... Белка зря не скажет. Такое тем более...

Допрос, который учинил ей Шаринец, не случаен. Забеспокоился после разговора на чердаке. Все, что показалось тогда Мише, ему не показалось. Все так и есть. Не случайно и появление Навроцкого в «Гротеске».

Следователь Свиридов, давний знакомый Миши, вызывал его. Миша рассказал тогда о вагоне, о Навроцком и Красавцеве, рассказал все, что знал и что

предполагал Свиридов своего отношения не высказал. «Посмотрим, поглядим».

Но теперь у Миши не только предположения. Шаринец! Новый персонаж, еще неизвещенный следствию.

Миша тут же позвонил Свиридову. Того не было на месте. Миша звонил еще, но застал его только на следующий день к вечеру. Свиридов попросил немедленно приехать. Миша поехал, хотя на этот вечер договорился встретиться с Эллен после ее выступления. Обидно! Но ничего не поделаешь.

Миша рассказал Свиридову все подробно, начиная от разговора с Фургоном и кончая тем, что крикнула Белка возле «гротеска».

— Ты поздно пришел! — сказал Свиридов.

— Поздно?

— Попов Владимир Степанович, он же Шаринец, убит.

Миша ошеломленно смотрел на Свиридова.

— Когда твои ребята видели его в последний раз?

— Позавчера, часов в пять, наверно. Он вышел с кем-то из «гротеска».

— В тот вечер его и убили. В лесу, недалеко от платформы «Девятнадцатая верста» Брянской железной дороги. Труп найден вчера.

— Навроцкий! Валентин Валентинович! — убежденно сказал Миша.

— В ту ночь Навроцкий мирно спал дома. Кроме того, Шаринец убит из револьвера, вот пуля... Свиридов вынул из ящика стола маленькую приплюснутую свинцовую пульку, —...того же калибра, что и пуля, которой убит Зимин. Возможно, стреляли из одного и того же револьвера. Этого револьвера у Навроцкого не было и нет. Вероятнее всего, Шаринец убил человека, который вышел с ним из пивной «Гротеска».

— Поговорите со Шнырой и Паштетом, ведь они видели этого человека.

— Ты думаешь, они его узнают? Они его запомнили?

— Конечно! Они шли за ними до трамвайной остановки. Шаринец и этот человек сели в трамвай, на четвертку, и как раз в сторону Брянского вокзала.

— Вот видишь! Значит, не Навроцкий, а скорее всего именно этот человек убил Шаринца. Но звать сюда ребят я не буду. Приблизительное описание ничего не даст, неточное — собьет со следа. Тебе тоже не следует с ними об этом говорить.

— Они все равно узнают, что Шаринец убит.

— Пусть. Только не об тебя.

— Почему?

— Видишь, что делается, — убивают.

— Могут и меня? — усмехнулся Миша.

— Могут и тебя. За этим стоят люди пострашнее Навроцкого.

— А Навроцкий?

— Убивал не он.

— Выходит, убил Витка Буров?

— Я этого не сказал.

— Витка ни при чем, — убежденно сказал Миша, — теперь это абсолютно ясно. Витка в тюрьме, никакого отношения к убийству Шаринца он не имеет. На Шаринца они засыпались. — Он с торжествующим повторил: — Они попались на Шаринца: устроили сообщники.

— Еще не видно связи между обоими убийствами, — возразил Свиридов, — кроме предположения, что они убиты из одного револьвера.

— Этого мало?

— Мало, пока это предположение; много, когда будет установленным фактом.

— Но ведь Белка сама сказала, что из-за Шаринца посадили Витку, — настаивал Миша.

— Кто это подтверждает?

— Как кто? Шныра и Паштет.

— Не хотят ли они выручить своего предводителя и друга?

— Почему вы им не верите? Спросите Белку.

— Она скажет правду!

— В Белке я не уверен...

— Вот видишь!

— Но ведь Шаринца убили не случайно.

— Безусловно! Вопрос в том, в чьих интересах.

— Навроцкого с Красавцевым! — упорствовал Миша.

— Доказательства?

— Они заинтересованы в документах, похищенных у Зимина.

— Документы найдены.

— Да! Где!

— Подкинуты в почтовый ящик Зиминных. Кто подкинул? Опять Навроцкий?

— Не знаю, — растерянно ответил Миша.

— А не могли это сделать твои мальчишки?

— Сомневаюсь.

— Подумаи! Буров выкинул документы из портфеля; они где-то валялись; мальчишки положили их в почтовый ящик?

— Я верю этим ребятам, — сказал Миша.

— Я тоже хотел бы верить, — вздохнул Свиридов, — только одной веры мало.

34

Свиридов осторожничает. Но ведь не случайно сказал: «У Навроцкого такого револьвера не было и нет». И еще: «В ту ночь Навроцкий мирно спал в своей постели». Проверяет Навроцкого, но вида не показывает. Даже не захотел говорить со Шнырой и Паштетом, видевшими вероятного убийцу Шаринца.

Опасается, танцет, осторожничает, сбивает со следа. Обидно немного: Миша мог рассчитывать на большее доверие.

Свиридов ни в чем не поколебал его, ни в чем не разубедил.

На минуту закралась мысль, что Шныра мог подбросить документы в ящик Зиминных по поручению своего отца, кладовщика Панфилова. И все же нет! Шныра — хмурый, замкнутый парнишка, но на подлость не способен.

А ведь кто-то положил документы в ящик Зиминных. Скорее всего, сам Навроцкий — вот, пожалуйста; по-вашему, я заинтересован в документах, а нет, вот они, не из-за документов все произошло, значит, я ни при чем.

И кто-то видел же его, видел, как он входил в подъезд, младшие классы уже на каникулах, ребята целый день околачиваются во дворе, — так и прошел Навроцкий незамеченным?

В одном подъезде с Зиминными жил Саша Панкратов.

Встретив его во дворе, Миша спросил:

— Ты помнишь человека, который вменялся тогда, когда Витка бросался на меня с финкой? Он крикнул сверху, что все видел.

— Конечно, помню.

— Ты не видел: входил он вчера-позавчера в ваш подъезд?

— Нет.

— А Юра не входил?

— Не знаю. Я их видел возле школы.

— Когда?

— Недели две назад.

— Я их тоже видел.

Саша удивленно посмотрел на него

— Как ты мог видеть?

— Их все видели.

— Все не могли видеть, это было во время уроков.

— Нет, на большой перемене.

— В этот день я был дежурным,— возразил Саша.— Утром, во время лабораторных, Юра вышел на улицу. Я спросил: «Ты куда?» Он ответил: «Передать ключи отцу». А то был не отец, а этот Тип Иванович.

— Ты не помнишь точно, когда это было?

— Можно посмотреть по журналу дежурств.

— И Юра передал ему ключи!

— Юрка протянул руку, может быть, они просто поздоровались.

— А ты бы сказал: «Рукопожатия отменяются» — пошутил Миша.— Слушай! Это было не в тот день, когда на учком, помнишь, Генка разбирал стихи Зои?

— Точно! — подтвердил Саша.

Миша вспомнил, как растерялся Юра, когда Генка позвал его на учком, как нервничал на заседании, вспомнил приезд Навроцкого, как быстро подошел ему навстречу Юра, как потом оставил их вдвоем с Людой, а сам вошел в школу. И ведь никогда, ни до, ни после этого, Валентин Валентинович в школу не приходил.

И самое главное: Юра соврал! Соврал! И кому? Пионеру Саше Панкратову! Будь у него совесть чиста, он не то чтобы оправдываться, объясняться, он бы с ним разговаривать не стал, дал бы челбаня и спокойно вышел бы на улицу. А он соврал! Не хотел, чтобы видели, как он выходит на улицу, как встречается с Навроцким, и потому, наткнувшись неожиданно на дежурного, растерялся, кто дежурным был всего-навсего пионер Саша Панкратов.

Почему хотел скрыть свидание с Навроцким? Ведь на большой перемене он открыто, на глазах у всех с ним встретился. На большой перемене свидание может быть случайным, мало ли кто проходит в это время мимо школы, а во время уроков это свидание заранее условленное, срочное, тайное. Именно поэтому Юра обрел и растерялся перед пионером Сашей Панкратовым, соврал, что идет к отцу. И ключи какие-то припел... Почему именно ключи?

Безусловно, Юра не участвовал в убийстве Зимина, но отношения с Навроцким существуют, близкие отношения. Тогда, на фабрике, он наверняка слышал, что сказал Красавцев Панфилову, слышал, но покрывал Навроцкого.

Стояли жаркие июньские дни. Школа еще функционировала, но как-то не так. Приходили старшеклассники, шли консультации, сдача несданного, все на ходу; учителя, такие вчера строгие, взыскательные, обстоятельные, теперь куда-то торопились; но младшие классы уже на каникулах, аудитории пустовали, столовая не работала, в расписании — проверки, через день-два будут выдавать свидетельства об окончании школы.

Миша остановил Юру и Люду на лестнице. Не хотелось бы при Люде, но другого выхода нет.

— Юра, помнишь историю с вагоном для Навроцкого, ты мне ответил тогда, что не прислушиваясь к чужим разговорам помнишь?

— Я действительно не прислушиваясь к чужим разговорам.

— Потом я довольно громко сказал Панфилову об этом вагоне, ты тоже не слышал?

— Не помню... Может быть, и слышал, но не существенно, не засоряю память.

— Прекрасно! — продолжал Миша.— После случая с вагоном ты, Юра, утром, во время лабораторных, выходил на улицу.

— На улицу? Во время занятий? Может быть... Не помню.

— Ах так... Этим ты тоже не хочешь засорять мозги... Напомню. В этот день дежурил Саша Панкратов. Ты ему сказал, что должен передать ключи от квартиры своему отцу.

— А... Да... Что-то припоминаю.

— И ты передал папе ключи?

— По-видимому.

— Ты не передал отцу ключи, в этот день твой отец с девяти до часу вел прием в больнице на Басманной и нигде не отлучался.

Юра насмешливо сказал:

— Я думал, что времена Кортика и Бронзовой птицы давно прошли. Оказывается, ты все еще играешь в эти игры. Ну что ж! Да, я виделся в тот день с Валентином Валентиновичем. Больше того, я дружу с ним, ты это точно подметил. Дружу и горжусь этой дружбой, представь себе! Бываю с ним на ипподроме, на бегах, даже играю в тотализатор.

— И выигрываешь?

— Случается.

— Поздравляю.

— Спасибо. Но это — мое личное дело, ни перед кем я не обязан отчитываться. Что касается Саши Панкратова, то ему померещилось. Ни об отце, ни о ключах я не говорил. У него богатая фантазия, у Саши Панкратова.

— Ну что ж,— сказал Миша,— не лучше ли по-другому?

— Что ты имеешь в виду?

— «Быть прав своих в пучину я бросаю, и тем корабль свой спасаю...»

— Не дай на психуку! За девять лет мне все это достаточно надоело!

— К тому же, оказывается, ты еще и истерик! — заключил Миша.— Извини, Люда, задержал вас. Счастливо!

35

Н а улице Юра сказал Люде: — Школа окончена, а Миша по-прежнему воображает себя начальником. Смешно на него смотреть.

Люда молча шла рядом с ним. В руках у нее был черный клеенчатый портфель, тот самый, из которого он вытаскивал ключи.

Юра покосился на него и продолжал:

— Я разговаривал с Валентином Валентиновичем... Что было с вагоном... Я понимаю, во что Миша ввинчивается... Но какая бестактность — говорить об этом при тебе.

— Действительно, какая невоспитанность!

Что-то странное прозвучало в ее голосе. Люда смотрела прямо перед собой. Обычное ее серьезное, нежное лицо с тонкими стрелочками бровей, каштановые кудряшки, зеленые-зеленые глаза.

Они шли мимо кондитерской на углу.

— Зайдем в Ч в е о... — предложила Люда.

— С удовольствием! — ответил Юра, но в душе немало удивился: только что убили отца, а ей хочется пирожного.

Кондитерская была крошечная, как и все подобные частные заведения, налог с которых зависел от ее размера. Когда-то, в пятом или шестом классе, Кит съел здесь на спор четырнадцать пирожных, а пятнадцатого съесть не смог и, согласно уговору, должен был сам заплатить. Если бы съел пятнадцать, то платил бы Юра — спор был с ним. Денег у Кита не оказалось, хозяин не выпускал его из кондитерской весь день, пока ребята собирали деньги и выручили наконец Кита.

С тех пор кондитерская эта называлась Чрево Кита, или просто Чрево...

Люда села за столик. Юра отправился к стойке.

— Тебе каких?

— Одну картошку и один эклер.

— Себе я возьму тоже картошку и наполеон. Он вернулся с пирожными на тарелке и бутылкой лимонада.

— Вкусная картошка, — похвалила Люда.

— Здесь всегда все свежее.

Люда доела картошку, вытерла губы платочком и будничным голосом, будто они продолжают разговор о пирожных, произнесла:

— Теперь, Юра, расскажи мне все.

— Что именно?

Он действительно не сразу сообразил, о чем она спрашивает.

— Расскажи мне то, чего ты не захотел рассказать Мише.

— Я тебя не понимаю, — растерянно пробормотал он.

— Прекрасно понимаю. Или я неясно выражаюсь?

Она смотрела на него своими зелеными глазами, и он вдруг ощутил страх перед ее твердым, холодным, выходящим изнутри взглядом... Неужели знает о ключах? Откуда? Валентин разоткровенничался? Не может быть.

— Повторяю тебе: я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.

— Я спрашиваю про историю с вагоном.

Слава богу...

— Люда, и ты о том же... Господи, обыкновенная фабричная история: дают вагон, не дают вагон, грузят, разгружают, отпускают, отменяют, один успел отправить, другой не успел, Валентин Валентинович успел, Мише Полякову это не нравится, что тут поделаешь!.. Ей-богу, не лмай над этим голову, это так несущественно. Хочешь еще пирожного?

— Спасибо, у меня есть. Значит, об этом ты не хочешь говорить.

— Нет, почему, если тебе угодно...

— Ты не хочешь говорить, — повторила Люда четким голосом, каким обычно отвечала уроки, — ты не хочешь говорить, и я не настаиваю. Второй вопрос: зачем во время лабораторных к тебе приходил Навроцкий?

Она сказала не «Валентин Валентинович», а «Навроцкий». И как смотрит! Никогда не видел ее такой. Черт возьми, знает она о ключах или нет?

— Люда, а почему ты меня допрашиваешь?

— Я тебя не допрашиваю. Допрашиваешь тебя буд-то в другом месте. Я с тобой беседую, всего лишь. Миша, по-томоу, продолжает свои игры. Возможно... Но для меня игры кончены: у меня убили отца.

Черт возьми, как она смотрит! Сумасшедшая, честное слово!

— Не меня ли ты подозреваешь в этом?

— Юра, в последний раз: зачем ты выходил к Навроцкому?

Опять она говорит «Навроцкий»!

Юра отодвинул тарелку, лимонад, поставил локти на стол.

— Честное слово, ты чудачка! Хорошо! Я не хотел, не имел права говорить, я связан честным словом. Но поскольку ты придаешь этому такое значение, я скажу: Валентин Валентинович говорил со мной о наборе.

— О каком наборе?

— Косметическом, который он преподнес твоей маме.

— Он не преподносил маме никакого набора.

— Как это?

— Он не преподносил маме никакого набора.

— Да ты что?! Он его подарил, причем довольно оригинальным способом.

— Подарил... Оригинальным способом... Набор... Как ты думаешь, могла моя мама взять от него какой-то подарок? С чего ты взяла? Он тебе сам это сказал?

Юра ошеломленно смотрел на нее.

— Я у тебя спрашиваю: он тебе сам это сказал?

— Видишь ли... — Юра лихорадочно обдумывал, что ему сказать; он все начинал понимать, начинал догадываться. — Ты меня вынуждаешь говорить такие вещи. Он не сказал, что подарил, он сказал, что хочет подарить, и хотел это сделать через меня...

Люда молча слушала.

— Ну вот, — продолжал Юра, — я, естественно, отказался — все же, признаюсь, несколько щекотливое предложение... Тогда он сказал, что сделает это сам. Вот и все.

— А что за оригинальный способ?

— Ну, он так сказал... «Это будет оригинально» — вот так он сказал...

— Нет, я слышала слово «способ»...

— Возможно, я оговорился... Ты ведь знаешь, он любит такие «изящные» обороты...

— Твои объяснения меня не удовлетворяют, ты не договариваешь.

— Ну знаешь... Я тебе все сказал, даже больше, чем следовало.

36

С неумолимой ясностью Юра вдруг осознал, что совсем еще понятную, но безусловную связь между ключами и тем, что произошло в семье Зиминных. Как бы далеко ни отстояло одно от другого, какова бы ни была истинная роль Валентина, все равно, он, Юра, соучастник чего-то страшного, ужасного, может быть, именно он открыл убийцам дверь.

Страх перед возмездием охватил его. И страх перед Валентином Валентиновичем: этот человек не остановится ни перед чем, уйдет его так же, как убил Зимина.

Ни о чем не спрашивать, не выяснять, не рассуждать, не ходить к Валентину, отойти в сторону, по-равать, отговориться тем, что готовится в институт... Мысль! Уехал на дачу готовиться к экзаменам. Валентин не посмеет явиться на дачу, незнаком с его родителями... Так постепенно все забудется.

Нет, не забудется. Витка арестован, идет следствие, и влез Миша Поляков, что-то подозревает Люда. Доберется до Валентина, доберется и до него.

А может быть, он все выдумывает, может быть, ничего нет? Валентин — убийца! Невозможно! Все невозможно!.. Спешат прохожие, громят трамваи, дребезжат пролетки, все идет вперед. Он причастен к убийству! Не может быть! К Валентину

немедленно, не откладывая, он все объяснит, расскажет, успокоит...

С замирающим сердцем нажал он кнопку звонка. Там, за дверью, его судьба.

В сетке, туго стягивающей влажные блестящие волосы, Валентин Валентинович был похож на молодого человека с рекламой туалетной воды «Вегеталь». Скользнул взглядом по Юре.

— Чем ты взволнован?

— Почему?.. Шел из школы, зашел...

Окно открыто. При открытом окне Валентин ничего с ним не сделает. Шум двора прибавил Юре смелости.

— Миша Поляков все время пристаёт ко мне с вагоном, помните, что тогда отправили?

— Он и ко мне с этим привязывался, — ответил Валентин Валентинович небрежно. — Ну и что?

— Я просто так рассказываю...

— Ах, так? Ну, рассказывай!

— Вот и все!

— Может быть, не все?

Он даже не предположил ему сест. Развалился в кресле, почесывает ногой, легонько трогает сетку на голове.

— Видите ли, — неуверенно начал Юра, — у нас такой порядок: во время занятий нельзя выходить из школы.

— Такой порядок во всех школах.

— В других школах есть гардеробщицы, они запирают дверь, а у нас самообслуживание, ключ в дверях, ставка на сознательность.

Валентин Валентинович покачивал ногой, трогал повязку на голове.

— Когда я выносил ключи, — продолжал Юра, — меня заметил дежурный по школе и доложил Мише Полякову.

— Почему именно ему?

— Он председатель учкома.

— И ему докладывается каждый такой случай?

— Когда как...

— Дежурный видел тебя, но разве он знает меня?

— Да, он живет в нашем доме и знает вас.

— Как его имя?

— Саша... Саша Панкратов.

— И видел, что ты передад нам ключи?

— Нет, он не видел.

— Что же тебя беспокоит? Мы с тобой не скрываем нашего знакомства. Выходил во время уроков... Тебя за это накажут?

— Просто я хотел вам сказать: Миша Поляков выискивает факты против вас.

— Знает?

— Мне кажется... Он даже так говорит... Вагон он связывает с документами, которые похитили у Зимины.

Валентин Валентинович поднял красивые, тонко очерченные брови.

— Большой криминалист! А с убийством Зимина он этого не связывает?

— Не знаю.

— А ты?

— Ты я?

— Ты связываешь вагон, то есть, будем прямо говорить — меня с кражей документов и с убийством?

— Что вы, Валентин Валентинович, как вы можете даже спрашивать про это?

— Слава богу!

Валентин Валентинович подошел к зеркалу, осторожно, обеими руками снял сетку с головы, расче-

сал волосы, чуть-чуть подбил, чтобы не выглядели прилизанными, положил повязку на туалетный столик, не оборачиваясь, бросил:

— Чего стоишь? Садись.

Юра сел на диван.

Валентин Валентинович повернул голову в одну сторону, в другую, любясь прической, потом подошел к окну и закрыл его.

Юра обомлел. Этого он боялся больше всего. Но ни подняться, ни двинуться с места не мог.

Валентин Валентинович снова уселся в кресло, подтянул брюки, закурил папиросу, выпустил длинную струю дыма.

— Ну, рассказывай!

— Что?

— Что тебе привело ко мне?

— Видите ли, — робко проговорил Юра, вцепившись в диван и пытаясь таким образом унять или хотя бы скрыть дрожь пальцев, — Люда мне сказала, что косметический набор вы ее маме не дарили.

— Ну и что?

— Ведь для этого вы взяли ключи.

— Да, для этого я взял ключи. Но когда я тебе говорил, что вошел в квартиру и положил набор? Говорил я тебе это?

— Нет, не говорил.

— Так вот... Я не заходил в квартиру. Не решился. А тебе не сказал, не хотел выглядеть перед тобой трусом. Походил, походил вокруг дома и не зашел. Слаб человек! И слава богу, что я этого не сделал! Вот это действительно наше с тобой счастье. Понимаешь, как бы мы выглядели после всего, что произошло потом! Таким образом, все эта глупая затея — а я теперь вижу, что она глупая, — кончилась ничем. Все это пустяки, и история с ключами — пустяки. Какое имеет она отношение ко всем последующим событиям? Зимина — убили через две недели после того, как ты дал мне ключи. И ключи были у меня ровно полтора часа — так ведь?

— Да, так.

— Успокоился ты на этот счет?

— А я и не беспокоился.

Может быть, Юру и не удовлетворили объяснения Валентина Валентиновича, что-то странное в этой истории... Но его успокоил вид Валентина Валентиновича, его безызыскность, то, как аккуратно делал он прическу, снимал сетку с головы. Человек, над которым тут же подозрение в убийстве, не может так тщательно укладывать волосы.

— Прекрасно! — Валентин Валентинович переложил ногу на ногу. — А теперь мне интересно знать, как у тебя с Людой возник разговор о косметическом наборе?

К этому вопросу Юра был готов, ожидал его. И хорошо понимал: ни под каким видом не должен признаваться, что речь шла о ключах; этого Валентин ему не простит, о ключах никакого разговора не было.

— Видите ли, Миша Поляков спрашивал, зачем я выходил в вагон во время уроков. Спрашивал при Люде. Я, естественно, отказался отвечать: какое его дело! Вообще, он все время говорил о вас. Потом мы с Людой вышли на улицу и продолжили разговор.

Валентин Валентинович пристально смотрел на Юру.

— Ты ей что-нибудь сказал о ключах?

— Что вы! — воскликнул Юра с негодованием, совершенно искренним потому, что говорил прав-



ду.— Ни о каких ключах я ей не говорил, о ключах даже речи не было.

— А Мише или еще кому-нибудь ты говорил о ключах?

— Никому.

— Ты правду говоришь?

— Абсолютную.

То, что он сказал Саше Панкратову насчет каких-то ключей для папы, не имеет ровно никакого значения. Не надо еще больше запутывать историю.

— Твой Миша — большой болван и ревнует меня к своей циркачке, — сказал Валентин Валентинович. — Вот источник его недружелюбия. Допросы его не стоят выеденного яйца. И вся история с ключами не стоит выеденного яйца. Для нас с тобой это была

шутка, к тому же неосуществленная. Но после трагической гибели Николая Львовича, естественно, ни один следователь не может, не имеет права равнодушно отнестись к тому, что ты взял из портфеля ключи от его квартиры. И этот факт, если им заинтересуются, может толкнуть следствие на ложный путь. Этого не следует допускать. Если ты проболтался о ключах — нас ждут осложнения, мы должны быть к ним готовы. Поэтому будь со мной откровенен, это очень важно, предупреждаю тебя. Скажи честно: ты говорил кому-нибудь о ключах?

Все ясно! Врет! Ни одного слова правды. И Юра твердо ответил:

— Никому!

— Хорошо! И никому об этом ни слова. В наше время шутить не любят и шуток не понимают. На-

ша шутка с ключами может обернуться катастрофой. Для нас обоих. Ты меня понял?

— Прекрасно.

— Кстати, кончил ты уже школу или нет?

— Вроде бы кончил.

— В мое время окончание гимназии было событием. Что-то дарили. Например, путешествие в Италию или Египет.

— Я предпочел бы в Индию, страну чудес,— рассмеялся Юра.

37

«Нас ждут осложнения» — вот главное, что сказал Валентин. Все остальное — ложь; сетка на голове — мишура, притворство.

Возможно, Валентин не убийца, даже вероятно не убийца, но аферист — наверняка. И попадется. Юра не намерен гибнуть вместе с ним. Нет, дорогой Валентин Валентинович, это вас ждут осложнения, а не меня. Я готов разделять с вами компанию в ресторане, пить за ваше здоровье, вместе с вами выигрывать на бегах... но разделять с вами сканью подсушенных я не намерен. У меня, знаете ли, впереди жизнь, об этом вам следовало подумать, когда вы вткнули меня в сомнительную машинку с ключами. Сюрприз, шутка — как мило, когда очаровательно. Дурачок развесил уши... Ошибаетесь, не такой уж дурачок!

Этот дурачок не будет ждать, когда его привлекут как соучастника, он предпочитает быть свидетелем.

Но спокойно, без горячки! Не говорите о ключах. Зачем? Никто не видел, как он их брал, Валентин никогда не признается, что воспользовался ключами, вообще будет все отрицать: документов не крал — был с Зимиными в театре, не убивал — был с Мишей в цирке.

Значит, остается афера на фабрике. Об этом он честно расскажет.

Позновато, конечно. Ничего!

Кому рассказать? Следователю? Страшно туда идти. Один раз придеешь — потом затаскают. И следствие идет об убийстве инженера Зиминых; если Юра придет туда, то он как бы соединит аферу с убийством, то есть обвинит Валентина в убийстве. Этого делать не следует. Надо об афере рассказать Мише Полякову. Он еще председатель учкома и занимается этим делом, интересуется. И пусть Миша сам думает, что делать с его признанием. Если доберутся до Валентина, а через Валентина до него, то, пожалуется,— он сам все рассказал в школе, в учкоме, товарищу... Эм Полякову.

Но товарищ Эм Поляков не поверит в его искренность, будет чего-то выуживать, выпытывать... Пойти к Генке! Еще хуже! Из этой троицы только Славка — единственный интеллигентный, порядочный человек. Он не учится в школе, но все равно состоит в школьной ячейке, ходит на комсомольские собрания. В случае чего, Славка подтвердит, что он никого не покрывал и ничего не скрыл. А если и отказался отвечать Мише, то только потому, что Миша грубо и пристрастно допрашивал его, а ведь он, Юра, не подследственный. Рассказать Славке — значит рассказать Мише Полякову. Мише все это и предназначено.

Придя к Славке, Юра рассказал об отправке того вагона, рассказал точно так, как оно было на самом деле.

— Ничего нового,— ответил Славка,— это подтверждает и сам Навроцкий.

— Да? Кому же он это подтверждает?

— Мише Полякову.

Странно!.. Они ведут такие разговоры?

— И чем Навроцкий это объясняет? — спросил Юра.

— Тем, что не хотел упустить свою партию товара.

— Я тоже сначала так подумал,— усмехнулся Юра,— но фокус в том, что это был товар первого сорта.

— Эта афера тоже всем ясна. Вопрос в том, насколько она связана с убийством. Могли они убить, как ты считаешь?

Юра пожал плечами:

— Валентин Валентинович был с Мишей в цирке. Убить Зиминых? Смешно! Он дружил и дружит с его семьей. Он не грабитель, не убийца, просто делец.

— А вот некоторые считают, что Навроцкий причастен.

— Эти «некоторые» — Миша Поляков,— усмехнулся Юра.— А вот Навроцкий считает, что Миша ревнует его к Эллен Буш.

— Он тебе это говорит?

Юра смеялся: что-то сболтнул лишнее.

— В общем, я так понял...

— Юра, зачем ты пришел ко мне?

— Шел и зашел...

— Я что-то не понимаю, когда ты последний раз заходил. Я вообще не помню, заходил ли ты ко мне когда-нибудь. Говори прямо: что-нибудь угрожает Мише?

— Что ты! — растерянно пробормотал Юра, пораженный тем, что Славка заговорил об опасности. Опасность ощущает и он, опасность грозит всем.— Я просто хотел рассказать тебе то, что рассказал. Ты удивляешься, почему именно тебе? Миша разговаривает со мной, как прокурор, а я этого не люблю, потому и рассказывал тебе, его другу.

— Ничего нового я от тебя не узнал.

— Других новостей у меня нет,— ответил Юра.

38

«Свидетельства об окончании школы выдавала секретарь, печати ставила завуч, пожимала руку, поздравляла. Буднично и просто. Договорились о выпускном вечере. Юру это не интересовало — обойдется без выпускного вечера с жидким чаем, дешевыми конфетами, громкими разговорами. Вечный барабанный бой! Сегодня он уезжает на дачу.

Все, что надо, он сказал Славке, он теперь в порядке; если понадобится — пусть ищет. И Валентин пусть ищет, только вряд ли найдет... Всеобщий привет!

Но как только Юра вернулся из школы, Валентин позвонил и попросил зайти. Видел из окна, как Юра пришел. Следит, не отпускает. Опять этот мрак...

Валентин Валентинович встретил его, как именинника.

— Поздравляю!

С чувством пожал руку, жестом пригласил сесть.

— У меня для тебя подарок...

Он протянул руку к конверту на столике, открыл, вынул железнодорожный билет.

— Билет до Одессы, там сядешь на пароход до Батума, вот билет на пароход... Морская прогулка с заходом в Севастополь, Ялту, Новороссийск, Туапсе и Сухум. Этим же пароходом вернешься в Одессу, а оттуда в Москву. Здесь, — он приоткрыл конверт, — деньги на путешествие. Ну как, пока заменил Индию? Ехать сегодня. Поезд отходит с Брянского вокзала в девять часов вечера. Ты, конечно, успеешь собраться?

Все ясно, ловушка! В Одессе или в Батуме его убьют, у Валентина всюду люди, вырастят из поезда, скинут с парохода. Но не получится, милый Валентин Валентинович, не выйдет ваш номер на этот раз.

— Не могу. Завтра выпускной вечер.

— Какие сантименты, кому это нужно? Променять такую поездку на выпускной вечер?

— Что я скажу дома?

— У вас в школе каждый год экскурсии.

— Мама поедет меня провожать, а на вокзале никого нет.

— Уговоришь не провожать — ты не маленький, скажешь, что никого не провожают.

Как у него все легко получается! Неужели он просто глуп?

Нет, хуже, он примитивен, ordinarily примитивен. Все его аферы и махинации примитивные, он запутался в них, он барахтается.

— Мне надо поступать в вуз.

— Прекрасно. Поездка займет двенадцать дней. Загорелый, пропитанный морским воздухом, проследующий морской водой, сильный, красивый, ты успешно сдашь экзамены.

— Мне неудобно принимать от вас такой подарок.

— Ерунда! Я в выигрыше, и мне приятно преподнести тебе небольшой сюрприз.

Юра передернуло. С косметическим набором тоже же бал «сюрприз», чем он кончился? Так же Валентин надеется закончить и этот «сюрприз». Не удасться!

— Билеты, как ты понимаешь, я приобрел не сегодня, — продолжал Валентин Валентинович, — о сложностях умалчиваю, чтобы не набивать себе цену. Я понимаю: тебе впервые предстоит такое большое и самостоятельное путешествие. Но, дорогой мой, «не пора ли мужичино статью!» — Он поднялся. — Жду тебя на вокзале в половине девятого, там я вручу тебе билет и деньги; поскольку ты едешь с классом, то ясно, что у тебя их на руках быть не должно. Можно, конечно, и не делать из этого секрета, но не следует забывать, что я скромный агент, откуда у меня деньги на такие подарки?.. Итак, напоминаю: в половине девятого на Брянском вокзале.

Люда и Ольга Дмитриевны знают адрес и телефон следователя, но признаться им о ключах — выше его сил.

Остается один путь, все тот же, через Славку с Мишей, одев Мишу со следователем. И пусть с него возмрут подписку о невыезде. Одесса, Сухум, Батум — чудесно! — а вот не могу, не имею права. Витка Буров чего-то на меня напел, чепуху какую-то, сидит в тюрьме, делать ему нечего, вот и выдумывает, следователь этой чепухе не верит, а взяла подписку о невыезде.

Спасибо за билет, за заботы, за «сюрприз», но обстоятельства сильнее нас.

Если Валентина посадят, он в безопасности. Если Валентин ни при чем, никого не убивал, то и его он тоже не убьет, опять он вне опасности.

Благородно или неблагородно он поступает? Риторический вопрос. Благородство — понятие условное. А красть ключи — благородно? Говорить о сувенире, когда никакого сувенира не преподносил, — благородно? Получать первый сорт под видом брака — благородно? Посылать его в Батум на смерть — благородно? Помолчим лучше о благородстве!

39

Славка не хотел ввязываться. К таким делам он теперь равнодушен. Романтика кончилась. Не была ли эта романтика всего лишь детством, милым, увлекательным, мечтательным? Кто-то украл вагон? Вагоны крадут десятками и сотнями. Кто-то взятничек? Все взятнички. Кто-то запутался в афере? Ну и что! Миша — хороший парень, но он отстал, застрял в том самом, милом, увлекательном, мечтательном детстве. Он не так прямолинеен, как Генка, но оба они живут в прошлом: время изменилось, они — нет.

Однако приход Юры заставил его задуматься. Юра дрожит от страха, это ясно!

Угроза нависла над Мишей — вот что понял Славка. Миша в опасности, ввязался в дело, где убивают, хочет выручить Витку Бурова, своего злейшего врага, потому что, по его, Мишиному, убеждению, Витка невиновен.

Миша всегда ввязывался и будет ввязываться в такие истории, вечно будет искать справедливости. Он не знает страха — поразительный человек! Ему нужно открытое небо, а не крыша над головой. Суровый, непреклонный Миша Поляков защищает Витку, а он, добрый, мягкий, отзывчивый Славка, не защищает, усталый, умыл руки. Это очень хорошо и удобно: пережить собственную скорбь и устраниваться от чужих несчастий.

Почему?

Что с ним случилось?

Ушла мать? У Генки мать умерла, он много лет живет у тетки, Миша Поляков всю жизнь прожил без отца.

Вынужден зарабатывать? Разве мало ребят работает на производстве?

Раньше он жил гораздо лучше своих товарищей, они жили бедно, голодно, но не были, не жаловались, не падали духом.

Почему Юра пришел к нему, а не к Мише? Потому что подокну Юре он ближе, чем Миша. Печально, но факт. Они оба видят только одну сторону жизни. Разница лишь в том, что Юра ее принимает, а он, Славка, нет.

Результатом этих размышлений была встреча, на этот раз — у Миши. Славка и Генка просто пришли к нему. Никакого объяснения не потребовалось. Они были и остались друзьями, ничто не могло их разъединить. Они снова вместе, снова занимаются одним делом — этого достаточно.

— Юрка зря не появится, — сказал Миша, — только беспокоится он за себя.

— Может быть, его Навроцкий подослал, — сказал Генка.

— Он на грани откровенности, — сказал Славка.

— Но как заставить его говорить?

— Скажать Свиридову, — предложил Генка, — пусть вызовет.

— Я пробовал давать Свиридову советы, — сказал Миша, — он меня быстро наладил... Нужно, чтобы Юра с ам пришел к нему.

— Разве его уговоришь?
Раздвинулся замок, кто-то вошел в квартиру, поступал в Мишину комнату.
— Войдите! — крикнул Миша.
Открылась дверь, и на пороге появился Юра, оглядев всех.
— Привет!
— Привет!
— Все в сборе, — сказал Юра, — вот и прекрасно. Я давно ждал случая, когда вы будете вместе. У меня есть кое-что вам рассказать...

40

После показаний Юры Свиридов, рассказывая по кабинету, говорил Мише:
— В чем была неясность? Шаринец — мелкий карманный воришка, естественно, связан с карманниками высшего класса — маравахерами, на их языке. Воры придерживаются своей специальности, совершенствуются, достигают виртуозности. Было сомнительно, что профессиональные маравахеры пытались ограбить квартиру, — у них не бывает даже отмычек. Юра выкрал ключи — все встает на свое место. Ключи были вручены Шаринцу...

— Они были у Навроцкого час-полтора, не больше, — заметил Миша.

— Вполне достаточно, чтобы в любой слесарной мастерской изготовили такие же. Итак, Навроцкий вручил ключи Шаринцу. Но в чем была его задача, пока неясно. Выкрасть документы? Они ему не нужны — товар отправлен, и проверить ничего нельзя. Убить Зимина? Совсем нелепо. Бессмысленно. Ладно! Разыщи своих мальчишек и тащи их ко мне. И побыстрее!

Через час Миша был у Свиридова со Шнырой и Паштетом.

Свиридов указал Паштету на стул у стены:
— Посиди в сторонке, а ты, Леня Панфилов, сядь возле меня и отвечай.

Свиридов разложил на столе фотографии.

— Ты был узнал человека, с которым Шаринец вышел из пивной?

— Узнал бы, пожалуй...

— Есть он здесь?

Шныра просмотрел фотографии, указал пальцем на одну:

— Думаю, этот.

— Точно?

Шныра еще раз просмотрел фотографии.

— Думаю, он.

— Еще кого-нибудь из этих ты видел?

— Нет.

— Посмотри как следует, подумай, вспомни!

Шныра еще раз просмотрел фотографии.

— Нет.

— Сядь на место Паштета, а ты, Паштет, сядь сюда.

Шныра и Паштет поменялись местами. Свиридов смел фотографии, разложил их в другом порядке.

— Показки, с кем Шаринец вышел из «гротеска»? Паштет показал на того же, на кого показывал и Шныра.

— Кого еще из этих людей ты видел?

Паштет показал на пожилого человека, несколько обрюзгшего, с тяжелым взглядом.

— Вот этого.

— Когда? Вчера? Позавчера?
— Раньше.
— Где?
— Во дворе, где бутылки принимают.
— Он бутылки сдавал?

— Нет, проходил через двор. Пивная рядом со складом, в заборе проход... Я его раза два видел. Свиридов подошел Шныру, показал фотографию.

— А ты его видел?

— Нет, не помню.

— Он видел, а ты не видел?

— Шныра старика заговаривал, — объяснил Паштет, — а я в очереди стоял, по сторонам смотрел, вот и видел.

— Ладно! — Свиридов собрал со стола фотографии, положил в ящик. — Обойдите в коридоре, ребята, а ты, Миша, задержишься.

Шныра и Паштет вышли.

— Я верю этим ребятам, — сказал Свиридов, — и все же проблема: сегодня они ни с кем не входят в контакт, никому не рассказывают, что были у меня и опознали этих людей.

— Будете брать? — догадался Миша.

— Возможно. Займи ребят чем-нибудь.

— Я предпочел бы участвовать.

— Исключено. Может не обойтись без стрельбы.

— Тем более хотелось бы.

— Я не успею оформить твоё участие. Зато обещаю, что ты будешь присутствовать на их допросе, большего не могу — закон.

41

Трибуны были пусты, на манеже тренировались артисты.

— Посмотрите, вам будет интересно.

Эллен усадила в первом ряду Шныру и Паштета а сама с Мишей села поодаль.

— Ты не узнавала насчет этих ребят? — спросил Миша.

— Я говорила... Но поздно. В цирке начинают с трех-четырех лет.

— Не все вырастают в цирковой семье.

— Наша работа сложнее, чем ты себе это представляешь...

— Почему... Я представляю...

— Тебе хочется пристроить этих ребят к делу, так ведь? — продолжила Эллен. — Но в цирке нужны известные способности, даже одаренность или тренировка с самого раннего детства.

— Все понял! — сказал Миша. — И больше не настаиваю. Извини, что навязался с таким делом.

Они сидели на пустых трибунах, смотрели на тренирующихся артистов.

— Скоро мы уезжаем на гастроли, — сказала Эллен.

— Куда?

— В Мурманск.

— Лучше бы на юг.

— Нет, там сейчас хорошо, весна... Я люблю весну. Иногда мне хочется уехать туда, где весна начинается еще в феврале, куда-нибудь в Туркестан или Закавказье. А потом вместе с весной двигаться на север, переезжать из города в город... Мы, цирковые, вечные скитальцы.

— Ты хочешь сказать, что я тебя могу видеть раз в три года?

— Я не это имела в виду,— уклончиво, как показало Мише, ответила Эллен.— Но моя жизнь — это ездить, работать и улыбаться.

— Действительно, почему ты все время улыбаешься? В театре актеры тоже расклинаются, но не улыбаются.

— Нелепо было бы улыбаться Гамлету или королю Лэру,— возразила Эллен,— а мы все селим зрителя. Даже если я чуть не разбилась, я должна улыбаться: все хорошо, прекрасно, весело и удачно. Вот мы и улыбаемся... Слушай, этот дяденька, который тогда бросил мне букет, а потом явился за кулисы с комплиментами... Ты знаком с ним?..

— Да, а что?

— Артист погорелого театра! Передать ему, чтобы он больше не посылал мне цветов.

— С удовольствием,— согласился Миша, хотя совсем не представлял себе, как он это скажет Навроцкому.

— Ты останешься с ребятами на представление? — спросила Эллен и встала.— Сегодня будут Бим-Бом, Виталий Лазаренко, останешься?.. Хорошо, посиди, я схожу за контрамарками.

42

В то время, когда Миша со Шнырой и Пашетом досматривали в цирке представление, Смоленский рынок был погружен в темноту. Темно было и в прилегающих переулках, здесь рано ложиться спать, рано вставали — рынок начинался с рассветом. Только тускло светились завешанные окна «Гротеска», и, когда открывались двери, доносился оттуда приглушенный шум голов, стук пивных кружек, женский смех, обрывки песен.

Свиридов велел своим людям подходить по одному, с разных сторон, так, чтобы в десять вечера оказаться у «Гротеска», трое — у главного входа, трое — у заднего, во дворе.

Ровно в десять Свиридов открыл дверь и с двумя сотрудниками вошел в «Гротеск».

Вид людей в кожаных куртках, остановившихся у дверей, не оставлял сомнений в том, что они такие. Все смолкло. Оборвалась песня в углу, застыл официант с кружками в руках, игроки прикрыли карты ко ладонями, кто локтями, смолкли парни и накрашенные девичьи.

Тишину разорвал истеричный женский крик:

— Облავа!

Крик оборвался, все молчало.

— Никому не вставать! — приказал Свиридов. — Официант!

— Слушайтесь! — ответил официант, продолжая держать в каждой руке по четыре кружки, наполненные пивом.

— Иди вниз, скажи Василию Ивановичу, Серенькому и всем, кто там есть, чтобы выходили.

— Слушайтесь. Будет исполнено.

Официант поставил кружки на стойку, вытер руки фартуком и ушел за занавеску.

В заднем помещении «Гротеска», в полуподвале, за столом сидели четверо, на столе лежали карты и деньги.

— Василий Иванович,— сказал официант,— велели вам выйти.

Василий Иванович был человек лет пятидесяти, хорошо сохранившийся для своих лет, с красивой сединой на висках, с прямым, несколько тяжелым взглядом, гладким лицом, плотный, физически, видно, очень сильный.

— Сколько их?

— Трое.

— Скажи, сейчас выйдем. Иди!

Официант появился и вышел.

Василий Иванович протянул руку, открыл заднюю дверь. Полоска света упала на узкую круглую лестницу.

Сверху раздался голос:

— Выходи по одному. Кто выйдет с оружием, будет застрелен на месте.

Василий Иванович закрыл дверь.

— Вот сволочи, не дали банк додержать, а какая карта шла!

43

Дело сложное,— сказал Мише Свиридов.— Главный — Василий Иванович, аристократ... — В каком смысле?

— Не граф, не князь, а маравахер, карманник высшего класса, вытаскивает бумажники у солидных людей. Серенький — тот, кто выходил с Шаринцом из «Гротеска», — помощник Василия Ивановича. Что касается Шаринца, то он и вовсе был мелкий вориска, вытаскивающий из карманов все, что попадало, вплоть до носовых платков... Так вот: в прошлом году, — продолжал Свиридов, — Василий Иванович, как злостный рецидивист и социально опасный элемент, получил пять лет. Но сбежал. Сомнительно, что после побега он пойдет на такое нелепое убийство, каким представляется убийство Зимина. Обычно после побега они отсиживаются в закуске. И не мог он сменить свою воровскую профессию на другую, к тому же еще более опасную: он не молод. В общем, против него улик никаких. Единственная наша улика — Шаринец. Мы должны доказать, что убил его Серенький, они вместе вышли из «Гротеска». Вот расписание данных поездов по Брянске. Если предположить, что они выехали поездом шесть пятнадцать, а вернулся Серенький поездом восемь сорок пять, то он должен был отсутствовать в «Гротеске» минимум часа три-четыре, где-то между пятью и девятью. Твои мальчишки утверждают, что он вышел вместе с Шаринцом и сел с ним на трамвай. А вот Василий Иванович и еще человек двадцать постоянных посетителей «Гротеска» будут утверждать, что Серенький нигде не выходил. Вот так-то, друг Миша. И все же надо начинать.

Серенький был ничем не примечательный человек, которого этой особенностью наградили и природа и многолетняя привычка быть незаметным, безликий, инертный, сонный. Миша поразился тому, что Шныра и Пашет узнали его на фотографии. Даже трудно определить возраст. Лет двадцать пять, а может быть, и тридцать пять.

Свиридов записал в протокол его настоящую фамилию, имя, отчество, год и место рождения и тому подобное, потом спросил:

— Что вы можете сказать по поводу убийства гражданина Попова Владимира Степановича, он же Шаринец?

Серенький пожал плечами:

— Ничего не могу сказать. А его разве убили?

— Вы об этом не знаете?

— Не слышал об этом.

— Вы были с ним знакомы?

— Знал, есть такой Шаринец, видел раза два в «Гротеске».

Он так и сказал: «Гротеск».

— Вы были с ним знакомы?

— Ну как? Как со всеми.
 — А где вы были шестого июня вечером? Серенький подумал, неуверенно сказал:
 — В «Гротексе», наверное, да, точно, в «Гротексе».
 — Что делали?
 — В карты играл.
 — С кем?
 — С людьми, с теми, кого вы со мной забрали.
 — А ночью где были?
 — Дома спал.
 — Кто может подтвердить?
 — Кто... Мать, жена, соседи.
 — А инженера Зимина вы знали?
 — Зимина... Инженера... Нет, не знал... Кто та-
 кой?

— На Арбате жил, да пятьдесят один.
 — Не знаю такого.
 — Навроцкого Валентина Валентиновича знаете?
 — Кто такой?
 — Агент по заготовке мануфактуры.
 — Не знаю...

Подписывая протокол, Серенький спросил:
 — За что забрали-то?
 — Подозреваете в убийстве Шаринца.
 — Вот еще новости! Кому он нужен, ваш Шарин-
 цец!

— Не наш, а ваш,— сказал Свиридов.— Идите, я вас еще вызову.

Вместо Серенького появился Жоржик, красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, похожий на армянина. Он подтвердил все, что говорил до него Серенький. Да, играли в тот вечер в карты, Серенький никуда не уходил, об убийстве Шаринца не слышал, о Зимине и Навроцком ничего не знает. Также спрашивал, за что его взяли, но в отличие от Серенького держался живо и свободно. И совсем не был похож на вора.

Наконец, ввели Василия Ивановича. По сравнению с Сереньким и Жоржилом он действительно выглядел аркистом.

— Сидите!
 — Можно и сесть.— Василий Иванович свободно уселся на стул.— Может, сразу скажете, на сколько усаживаете?
 — Срок-то уж, во всяком случае, придется отсидеть.
 — Не без этого,— вздохнул Василий Иванович. Он показал на Мишу:
 — Позвольте спросить: кто этот гражданин?
 — Практикант.
 — Попрошу ответить в протоколе.
 — Отметим.

Серенький и Жоржик не обратили внимания на Мишу, а Василий Иванович потребовал даже отметить в протоколе.

— Приступим к делу,— сказал Свиридов.— Речь идет о некоем Попове, он же Шаринец. Знали та-
 кого?

— Как же, знаю, видел в «Гротексе».
 В отличие от Серенького и Жоржика он правильно произносил название пивной.
 — Разговаривали с ним?
 — Был у меня как-то, напрашивался на работу, только я ведь ничем теперь не занимаюсь, прошу учесть. После побега ничего за мной нет, хотел начать новую жизнь — жалко, помешали.

— Когда Шаринец к вам приходил?
 — Несколько дней назад.
 — Точнее, пожалуйста!
 — Три... нет, четыре дня назад.
 — Шестого июня?
 Василий Иванович поморщил лоб, задумался...

— Может, и шестого. Я ведь там, вроде льва в клетке, отсиживался и числа все перепутал. Какое сегодня число?

— Двенадцатое.
 — Значит, в четверг, именно, значит, шестого чис-
 ла.

— Ну, о чем вы говорили?
 — Играли мы в карты, вся, значит, компания, ко-
 торую вы теперь здесь кормите. Шаринец зашел, го-
 ворит: «Василий Иванович, возьми меня с со-
 бой». Я ему: мол, сам завязал и тебе советую.
 С тем он и ушел.

— Один ушел?
 — Один.
 — Умный вы человек,— сказал Свиридов.
 — Благодарю.

— Только меня дураком считаете.
 — Что вы, гражданин следователь,— обиделся Ва-
 силий Иванович,— я вас считаю человеком редкого ума. И потому все как есть чистосердечно рас-
 сказываю. Да, убежал из-под стражи. Кому свободы не хочется? Только заметьте, убежал без примене-
 ния силы, никто не содействовал, званую охрану, я и ушел. Хотел новую жизнь начать. Год прошел, что
 за мной замечено?

— Кто Шаринца убил?
 — Шаринца?! — поразился Василий Иванович.—
 Разве его кто убил? Когда? Где?
 — Шестого числа вечером, в лесу, недалеко от
 платформы «Девятнадцатая верста» по Брянке.
 Василий Иванович развел руками.

— Это, извините, новость. Кому он был нужен,
 Шаринец, шлеппер — несерьезный человек?..

— Инженера Зимина вы знали?
 — Простите, как вы сказали?
 — Зимин Николай Львович, инженер, Арбат, дом
 пятьдесят один. Его убили и унесли портфель с бу-
 магами.

— Ах, портфель с бумагами унесли и убили.
 Знаю, как же!

— Откуда знаете?
 — Как откуда? В газетах писали.
 — Газеты читаете?
 — Обязательно. Отдел суда и происшествий —
 особенно.

— Навроцкого Валентина Валентиновича знаете?
 — Как?
 — Навроцкий Валентин Валентинович.
 — Нет, не знаю такого.
 — Подумайте.

— Что-то не припомню,— развел руками Василий
 Иванович.— Ни одного номера не пропустила: «Из-
 вестия», «Вечерняя Москва», а про такого не читал.

— Я спрашиваю: не знаете ли вы его лично?
 Василий Иванович благодушно улыбнулся.
 — Извините, я подумал, тоже какой убитый. Нет,
 не знаю я такого человека.

— Скрываете! Я вам скажу, почему скрываете.
 Расчет у вас простой: вас пошлют досматривать срок,
 ну, может, что прибавят, зато на свободе останется
 богатый человек, он у вас в руках. В тюрьме вы
 или на свободе — все равно, он у вас в кулаке. Ме-
 шок с деньгами на воле — вот ваш расчет.

— Чересчур хитро вы рассуждаете,— усмехнулся
 Василий Иванович.

— Вы рассчитали еще хитрее, чем я,— возразил
 Свиридов.— Только должен вас огорчить: просчита-
 лись вы, упыль ваш денежный мешок, замешан в
 большой афере с мануфактурой.

Василий Иванович пожал плечами:
 — Странные вещи вы говорите, гражданин сле-
 дователь... Мануфактура... Сроду не имел дела с этой
 мануфактурой.



— Ну что ж,—спокойно, даже равнодушно сказал Свиридов,—дело, как говорится, хозяйское. Я дал вам все возможности, вы не захотели их использовать. Вы неисправимый рецидивист.—Свиридов неожиданно наклонился вперед и, глядя в упор на Василия Ивановича, сказал:—Про мануфактуру вы не знаете, а про ключи от квартиры Зимина тоже не знаете? О том, что Валентин Валентинович Навроцкий передал эти ключи Шаринцу, тоже не знаете?

Василий Иванович некоторое время мрачно молчал, потом сказал:

— Ладно, скажу, что знаю. Только учтите: в порядке чистосердечного признания. А не признавался я сразу потому, что меня все это никак не касается, других касается, а по нашим законам, то есть правилам, о чужих...

— Ближе к делу, пожалуйста!—оборвал его Свиридов.— Два часа толчем воду в ступе.

— Так вот,—по-прежнему спокойно и размеренно продолжал Василий Иванович,—действительно человек один в их доме дал Шаринцу ключи, велел унести портфель с бумагами, пообещал за это два червонца. Шаринец сделал, получил два червонца, а потом приходит ко мне, все это рассказывает и говорит: боюсь я этого человека, убьет он меня, чтобы, значит, не показал на него. Что за человек, спрашиваю! Он говорит: Валентином Валентиновичем зовут, на бегах играет. Ну, я сам, извините, на бега езжу, играл по маленькой и не ради игры езжу, а так, до лошадей я большой охотник, и, извините, в мои каморке неделю просидишь, нуде и продаваться. Взял я Шаринца на бега, он мне этого человека показал, Валентина этого Валентиныча. Я посмотрел на

него: вижу — да! Этот могёт! У нас, знаете сами, глаз наметанный... Говорю Шаринцу: зачем ты, дурак, не в свое дело полез, ты, говорю, дурак, не по квартире ведь работаешь, хочешь стать человеком — своей профессией держись. А он отвечает: на два червонца позарился. Ну, говорю: сам позарился, сам и развзаришься. А теперь, видите, как! Убил! Значит, правильно предчувствовал, понимал свою судьбу.

Свиридов положил перед Василием Ивановичем чистый лист бумаги.

— Все это напишите и, пожалуйста, поподробнее, с классом.

Василий Иванович неловко взял перо.

— Отвесь я писать, гражданин следователь. Может, с моих слов запишете...

— Нет, сами пишите! И попорбачиве. И что еще вспомните, тоже напишите.

Свиридов запер ящики стола и вместе с Мишей вышел из кабинета.

— Он правду говорит? — спросил Миша в коридоре.

— Много врет. Опытный, черт. Сразу все учуял. Рассказал только то, о чем мы сами догадываемся. Но, во всяком случае, достаточно, чтобы предъявить обвинение Навроцкому.

44

Убийство Зими́на, вызов Юры к следователю и, наконец, арест Василия Ивановича — этого Навроцкий не ожидал в худших своих расчетах, а он всегда рассчитывал и на худшее.

Похитив документы, он преследовал ограниченную цель: нейтрализовать Зими́на. Он рассчитывал, что Николай Львович скроет пропажу документов: взял их домой, дома был сын, в привидения теперь никто не верит.

Расчет точный — о пропаже Зими́н не заявил.

Дальнейшее зависело от самого Николая Львовича. Скажет Зими́н Красцеву о пропаже документов, не скажет — все равно он в руках Красцева, обезврежен, пять вагонов гарантированы.

Зими́н затребовал новые документы — шаг, так напугавший Красцева. Красцев — остопоп! Зими́н собирался вернуть все документы вместе в расчете, что беспечный Красцев не будет их разбирать, сунет в шкаф — и дело с концом, кому они нужны, эти старые акты? Если даже Красцев обратит внимание на недостающие документы, то Зими́н отмахнется: «Не знаю, возвращаю то, что брала». Красцев не поднимет шума, промолчит и тем окажет Зими́ну услугу. Услуги требуют взаимности.

И вот нелепое убийство Зими́на! Все спуталось, смешалось, оказалось под ударом. Негодяй, ничтожество, сукин сын! Кто мог такое предполагать? Карманный воришка, шлеппер, у него даже не было отмычек, пришлось доставать ключи, сделать вторую пару, вести Зими́ных в театр.

После театра они с Шаринцом встретились в Криворбатском переулке.

Шаринец вернул ключи, отдал документы, сказал, что подобрал портфель на чердак, как велел Валентин Валентинович.

— Что еще взял?

— Что мне воли не видать! — поклялся Шаринец.

— Если что взял, лучше сейчас верни.

— Что взять? Ложки-вилки? Вы с бумагами сторуgetесь, а я с ложками и тюрму?

— Если что взял, я тебя на том свете достану!

— Так ведь сказал! — как будто искренне проговорил Шаринец.

Валентин Валентинович вручил ему два червонца.

— Прибавил бы пятачку, — попросил Шаринец, — там и серебро и рыжыее было, ничего не взял.

Как теперь понимал Валентин Валентинович, здесь крылась его генеральная ошибка — он не придал значения словам Шаринца «серебро, рыжыее было». «Рыжыее» на их жаргоне — золото. Значит, Шаринец осмотрел квартиру, видел столовое серебро, одежду, даже золотые вещи, цупал, осязал, но не взял. Не взял, но запомнил; запомнил, как просто проик в квартиру, взял портфель, учел и то, что все осталось безнаказанным. Как же ему не взять такую квартиру на прищел! Не для себя — для домышки, с которыми встречается в «Гротеске». Он все-го лишь наводчик. Навел, но просчитался: Зими́н оказался дома.

Как же Навроцкого не насторожили слова Шаринца? Приписал стремлению сорвать лишнюю пятачку! Пятачки он не жалел, но не любил потакать. — Николай! пятерки! Все, как договорились. — Но слова о «рыжыее» как-то отметались, и он добавил: — Что касается золота, то самое лучшее золото — молчанье. Надеюсь, ты понял!

Его угроза не действовала, случилось самое непредвиденное. Если убийц найдут, они выдадут наводчика — Шаринца, Шаринец выдаст его.

Это и привело Валентина Валентиновича в «Гротеск». Мир игры соприкасается с миром уголовным: на бега ездят не только игнующие в тализатор. Через них Навроцкий вышел на Василия Ивановича.

Официант провел его в заднее помещение пивной, каморку, тускло освещенную голой лампочкой. За столом сидел Василий Иванович — Навроцкий видел его на бегах, показали. У двери, прислонясь к косяку, стоял человек, которого, как сразу отметил Навроцкий, природа наградила способностью никак не запоминаться.

Они выжидающе смотрели на Навроцкого.

Аккуратно подтянув брюки, Валентин Валентинович опустился на табуретку возле стола, закинул ногу на ногу.

— У меня с вами разговор с глазу на глаз.

Василий Иванович посмотрел на того, кто стоял у двери. Тот вышел, прикрыв за собой дверь.

— Не представляюсь, — начал Валентин Валентинович, — наше знакомство вряд ли продлится долго. Но считаю долгом предупредить: если я не вернусь домой в три часа, — он посмотрел на часы, — то меня будут искать здесь.

Василий Иванович молча и тяжело смотрел на него.

— Кроме того, — продолжал Валентин Валентинович, — если я не вернусь домой в три часа дня, то здесь будут искать не только меня, но и людей, убивших инженера Зими́на.

Василий Иванович все так же молча и тяжело смотрел на Навроцкого.

— Кто совершил это ужасное преступление, я не знаю, — спокойно продолжал Валентин Валентинович, — меня это не касается, я занимаюсь другим... Но я хочу поставить вас в известность вот о чем... Некий молодой человек, по кличке Шаринец, уже побывал в этой квартире и взял там портфель с документами. Таким образом, молодой человек Шаринец знал, что в это рое посещение квартиры опасно. Возможно, молодой человек Шаринец никакого отношения к убийству не имеет, тогда я зря сюда пришел. Но не исключено, что имеет. Значит, он скрыл, что побывал в этой квартире и взял портфель с бумагами. Значит, он кого-то обманул. Че-

ловек, способный обмануть один раз, может это сделать и во второй. Это ненадежный человек.

Он замолчал, дожидаясь ответа.

Василий Иванович тяжело смотрел на него, потом сказал:

— Никакого Шаринца я не знаю, ни про какого инженера не слышал. Что за муть ты здесь разводишь?

Грубый ответ, тем более в сравнении с его учтивостью. Но другого Валентин Валентинович не ожидал. Вставая, он сказал:

— Ну что ж, в таком случае извините за беспокойство. Счастливо оставаться!

Он направился к двери, но Василий Иванович остановил его:

— Навроцкий!

Валентин Валентинович остановился. Значит, нарушили соглашение, взяли деньги и нарушили. Договорились, что его имя останется неизвестным. Никому нельзя верить.

Но ничего. На эту карту у него есть другая, покрупнее.

Он снова опустился на табурет, на лице его светилась та же обаятельная улыбка.

— Мы, оказывается, знакомы.

— Как вагончики, отгружаются? — спросил Василий Иванович.

— Отгружаются, транспорт у нас постепенно налаживается. Но как тесен мир! Теперь вспоминаю, мне ваше лицо знакомо, где-то я вас видел — на бегах как будто; там бывает много народа, но вас я запомнил, и знаете, почему?

Навроцкий сделал паузу. Лицо Василия Ивановича было непроницаемо.

— Я вам скажу, почему, — продолжал Валентин Валентинович. — Вы удивительно похожи на одного человека. Да, да, бывает же такое сходство, поразительно! Этот человек получил пять лет. Пять лет со строгой изоляцией! И представьте себе, сумел убежать. Строгая изоляция, а он убежал. Смелый! Я преклоняюсь перед ним. До сих пор не могут найти.

— Наидут, — коротко проговорил Василий Иванович.

— Почему? — возразил Навроцкий. — Могут и не найти. Как говорит пословица: не имей сто рублей, а имей сто друзей.

— У нас говорят по-другому: имей сто рублей, будешь иметь сто друзей, — со значением произнес Василий Иванович.

— Можно и так, — согласился Валентин Валентинович. — Главное, всегда, в любых обстоятельствах, быть правдивым со своими друзьями. А молодой человек Шаринец кого-то обманул. Честь имею кланяться. — В дверях он обернулся: — Да, чуть не забыл. Документ убитого инженера Шаринец продал одному человеку за два червонца. Просил прибавить пятерку, но ему отказали. Это деталь, подробность. Честь имею!

45



правила была короткой.

Шаринец явился в заднее помещение пивной.

За столом играли в карты Василий Иванович, Серенький, Жоржик и еще один — Кукольник.

Они играли, не обращая внимания на вошедшего Шаринца. Шаринец не уходил. Василий Иванович его вызвал, и он дождался, не смея ни сесть, ни на-

помнить о себе. Василий Иванович видит его — значит, надо ждать.

Он терпеливо ждал у двери, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда закончится банк. Банк держал Жоржик. Банк долго не стучал...

Наконец, Серенький сорвал банк у Жоржика.

Шаринец думал, что теперь с ним заговорят, но нет: банк перешел к Василию Ивановичу; он тасовал колоду, сдал карты.

— Зали, Василий Иванович? — робко спросил Шаринец.

Василий Иванович не посмотрел на него, коротко бросил:

— Жди!

Василий Иванович держал банк минут, наверное, пятнадцать. Выиграл. Отдал карты Жоржику, собрал со стола выигрыш, отсчитал, что оставляет на столе, и уже после этого, по-прежнему не глядя на Шаринца, спросил:

— Ну, что тебя навел на квартиру инженера?

Жоржик тасовал колоду, но не сдала, ждал ответа Шаринца. Серенький и Кукольник тоже ждали его ответа.

Шаринец понял: над ним вершится суд, прав и л, а, и расправа будет беспощадной.

И он в ужасе пролепетал:

— Девчонка навела.

— Какая девчонка?

— Белка... Белкой зовут...

— Как навела?

— Скачала, все на дачу уезжают, один Фургон, мальчонка ихний, дома остается.

— А почему инженер не уехал?

— Так ведь он уехал, уехал он!..

— Не кричи! — оборвал его Василий Иванович, — Тихо говори!

— Уехал он, — торопливо зашептал Шаринец, — я сам видел, как в поезд сядились жена и Людка, а я вокзал за ними ездил, Ярославский вокзал, сам видел, как в поезд сядились. И дождался, когда поезд ушел. Потом я приехал на Арбат, говорю Серенькому — уехали, мы с ним и пошли, правда, Серый? Ведь правда! Ведь ездил я на вокзал! А? Скажи! Серенький молчал.

Жоржик тасовал колоду.

— А как же он дома очутился, если уехал! — спросил Василий Иванович.

— Не знаю, не знаю, крест истинный, не знаю, только уехал он, уехал, — бормотал Шаринец. — Вот не сойти мне с этого места!

Он говорил правду: ездил за Зиминными, видел, как сядились они в вагон, дождался отправления поезда.

— Врешь ты все, — спокойно сказал Василий Иванович. — Уехал бы инженер, так не было бы его дома.

— Правда, правда! — твердил Шаринец. — Уехал он, уехал!

Он умоляюще смотрел на всех, но видел мрачные, неподвижные, суровые лица.

— Уехал он, — снова заговорил Шаринец, — только, говорят, вернулся.

— Кто говорил?

— В доме рассказывали, жильцы. В поезде вспомнил, что забыл документ, и вернулся. И Фургон, парнишка ихний, и Людка, дочка, и жена, — все говорят: вспомнил про документ и вернулся.

— Может, и правда вернулся, — задумчиво проговорил Василий Иванович.

— Ну, конечно, вернулся, — забормотал Шаринец, — и Фургон рассказывал: следовательно даже спрашивал, зачем вернулся отец! Разве ж мог я знать, что вернется!

— Правильно, вернулся он, с Лосиноостровской вернулся,— задумчиво проговорил Василий Иванович.

— Ну вот,— обрадованно залепетал Шаринец,— разве я бы стал... Разве бы я пошел, если бы знал, что он дома? Уехал он, сам видел...

— А портфель кто взял?!

И снова ужас охватил Шаринца: главное только начинается.

— Витка... Витка взял...

— А кто Витку навел?

— Не знаю... Не знаю... Белка, наверно...

— А документы из портфеля кому Витка продал?

— Не знаю... Не знаю...— бормотал Шаринец, втягивая голову в плечи.

— За два червонца кому Витка бумаги продал?

Пятерку прибавить у кого Витка продал?

Шаринец упал на пол, пополз, обхватил ноги Василия Ивановича, забился в истерику.

— Простите, простите, не убивайте...

Василий Иванович оттолкнул его сапогом:

— Выкладывай!

— Человек один попросил,— всхлипывая, начал Шаринец.

— Сопли подбери!

Шаринец шмыгнул носом.

— Человек ключи дал...

— Что за человек?

— В нашем доме живет... Валентин Валентинович зовут... Навроцкий фамилия...

— Куда портфель дел?

— Витке на чердак подбросил... Он велел, Валентинич...

— Нам почему не рассказал?

— Думал... Дело верное, думал...

— Нас зачем подвел?

Шаринец опять пополз по полу, обхватил ноги Василия Ивановича.

— Простите... простите... не думал... не знал... не убивайте!

— Встань!

Шаринец еще сильнее обхватил его ноги, боялся оторваться от них, точно в том, что держится за ноги Василия Ивановича, видел свое спасение.

По знаку Василия Ивановича Кукольник и Жоржик оттащили Шаринца, подняли, но не выпускали из рук.— Шаринец валился на пол, то ли нарочно, то ли не мог стоять на ногах от страха.

— Так вот, слушай,— сказал Василий Иванович.— Завтра пойдешь в Рахмановский переулок, на биржу труда, встанешь на учет. Будешь работать, куда пошлют, от работы не смей отказываться. И гривенника нигде не посмей взять, понял? Никакого дела чтобы не было за тобой. Не ходи ни на рынок, ни сюда, в «Гротески», не появляйся. Придет время, сам позову. Если забудут тебя по этому делу, все вали на Витку, понял?

Шаринец слушал его с раскрытым ртом, не веря, что ему оставляют жизнь.

— Дошло до тебя или нет?

— Дошло, дошло, все понял...— выдавил из себя Шаринец.

Василий Иванович повернулся к Серенькому, выхватил из его рук карты.

— А ты, гусь! Расселся!

Шаринец поднимая и так же, как Шаринец, молча стоял перед Василием Ивановичем.

— Этот сопля! А ты? Зачем с ним пошел? Кто позволил?

Серенький молчал.

— Также здесь больше не появляйся, забудь! Позову, когда надо.— Василий Иванович вынул из кармана пиджака пакет, протянул Серенькому.— По-

едете на «Десятнадцатую версту», знаешь, к кому. Передай старухе, пусть спрячет... В дачу войдет Серенький, а ты, Шаринец, на стреме. Понял?

— Понял, понял,— лепетал Шаринец, все еще не веря тому, что его помиловали.

Серенький молчал. Василий Иванович уставился на него тяжелым взглядом:

— А ты чего молчишь, или чего недопонял?

— Все понял...

— Поняли, так идите, и сюда чтобы не смели! Позовем, когда надо!— Василий Иванович кивнул на дверь.— Идите!

Они сошли на платформу «19-я верста» и пошли к лесу.— медленно, так, чтобы дачники с сумками ушли вперед. Лес был хорошо знаком Серенькому, он уверенно шел по его тропинкам. Впереді засветилась полянка. Не доходя до нее, Серенький присел на поваленное дерево.

— Посидим, пусть по дачам разойдутся.

Шаринец присел рядом, с наслаждением вдохнул свежий смолистый запах леса. Опасность миновала, его оставили жить, и Серенького оставили жить, ведь и его могли убить. А то, что велели не приходиться, так это ненадолго; поманежат, поманежат и обратно позовут. Вот ведь доверил к старухе поехать, он слышал, что есть такая старуха у Василия Ивановича, но не был ни разу, не видел, а сейчас вот послали. Может, теперь его в фатицеры возьмут, куда от него денутся, при нем, на его глазах Серенький застрелил инженера. А куда было Серенькому? Инженер прямо на них шел, на убей его Серенький, он бы весь дом сжигал! Инженер здоровый, высокий, ухватился бы — не отцепился... Пришлось Серенькому его застрелить... Интересно откуда Василию Ивановичу известно, что он получил два червонца и еще пятерку просил? Он, Шаринец, никому не рассказывал: выходит, Валентинич расказал, чужь его под смерть не подал, спекулянт проклятый... Ладно, придет время, рассчитается с ним!

Серенький прислушался к лесу. Все тихо.

— Пошли! — И показал тропинку.

Шаринец пошел по тропинке, Серенький за ним. Серенький вынул из бокового кармана револьвер и медленно начал поднимать его.

— Шаринец!

Шаринец обернулся. Серенький выстрелил.

Серенький сунул револьвер обратно в карман, подошел к распростертому на земле Шаринцу, наклонился, убедился, что тот мертв, и быстро пошел к станции. Он пришел на станцию за одну минуту до поезда на Моску.

46

Этих подробностей Валентин Валентинович, естественно, не знал. Он понимал, что Шаринца убьют, шел на это, явившись в «Гротески», и не жалел: убийцы не жалуют. Он вообще не против смертной казни, но применять ее следует только в одном случае — к убийцам. Шаринец убил ни в чем не повинного Зимина и получил заслуженное.

Однако он никак не ожидал, что Василия Ивановича тут же арестуют. Как МУР вышел на него? Грязно работало! Не тот человек! Случайное совпадение, разыскивал как Белого — тоже не верится.

Выдаст ли его Василий Иванович? Какой смысл? Все сделано чужими руками, ничего на себя Василий Иванович не возмнет, будет все отрицать.

Опасен Юра, может проболтаться о ключах. Это уже серьезно: взять ключи от квартиры, где совер-

шена сначала кража, потом убийство. Возможно, Юра уже проболтался. Клянется, что нет — грош цена его клятвам. Законченный маленький негодяй, отца родного продаст. Аморальна молодежь!..

Он кругом обманут. Обманули Шаринец, Юра, люди, выведшие его на Василия Ивановича, сам Василий Иванович, так глупо севший в тюрьму.

Кругу смыкается, надо слышать, пора кончать с фабрикой, исчезнуть, улетучиться. Сегодня грузится второй вагон, нужна минимум неделя, чтобы отгрузить еще три. Есть ли у него эта неделя? Должна быть. Неделю Василий Иванович уж, во всяком случае, продержится. А пока Юра один, все это оговор, клевета, ревность к Люде Зиминной, ничего больше...

Неделя у него есть, и надо топорить Красавцева. Приняв такое решение, Валентин Валентинович отправился на фабрику.

Кончалась погрузка его вагона. Все шло нормально. Красавцев и Панфилов были спокойны. Ничто не предвещало осложнений. Но, разговаривая с Красавцевым, Валентин Валентинович посмотрел в окно и увидел идущего к фабрике человека.

— Свиридов, следовательно, — сказал Красавцев.

У Свиридова много оснований появиться на фабрике, он ведет следствие по делу об убийстве инженера Зимина. И все же Нарвозкий принял единственно правильное решение: пока Свиридов переговорит с директором, потом с Красавцевым, пройдет минут сорок. Один вагон еще можно спасти.

На складе он сунул Панфилову пистолет, расписался в получении товара, взял накладные и вышел на товарный двор. Пыхтел паровозик, составитель опломбировывал вагоны. Нарвозкий и составитель и машинист сунул по рублю... Паровозик дал гудок... Состав тронулся и вытанул из фабричного двора.

Валентин Валентинович вышел вслед за ним из фабричных ворот.

Миная окраинные склады, пакгаузы, фабрики и заводы, маленький состав медленно уходил вперед, к товарной станции. Нарвозкий смотрел ему вслед. Эти склады, пакгаузы, фабрики и заводы — все будет принадлежать ему, его время придет, важно еще немного продержаться...

Валентин Валентинович оглянулся на фабрику. Хорошая операция предстояла. Жалко, но так сложились обстоятельства, он в этом не виноват.

Он свернул в боковой проезд и пошел к вокзалу.

47

В это время на Ярославском вокзале Миша провожал Эллен.

Гудели паровозы, из-под колес с шипением вырывались клубы пара, смазчик стучал молотком по буксам вагонов — вечные сигналы дальней дороги, тоскливого расставания.

Игорь и Сергей уходили к багажному вагону, проверяли, как грузится их цирковое оборудование.

— Когда вернется? — спросил Миша.

— Не знаю. Лето пробудем в Мурманске, на зиму еще ничего не известно.

— Значит, еще год не увидимся?

— Приеду, а ты уже студент.

— И, может быть, предпоследнего курса, — засмеялся Миша.

— Не исключено. — Эллен тоже засмеялась.

Она была очень красива, все смотрели на нее. Но она не смотрела ни на кого.

— Будет время, черкни пару слов мне, Ганке, Славке...

— Я такая неохотница писать, не надейся... Ну как, поймали вы своих жуликов?

— В общем, да.

— Неужели этот любитель букетов — бандит?

— В прямом смысле, может быть, не бандит. А вообще — бандит.

— Что-то сложно для меня...

— Люди гибнут за металл...

Не глядя на Мишу, Эллен будничным голосом сказала:

— Знаешь, Миша, я выхожу замуж.

Всегда все важные новости она сообщала таким будничным голосом.

Сохраняя полное самообладание, Миша ответил:

— Да? Поздравляю! За кого, если не секрет?

— За Сережу, за своего партнера.

— Цирковая традиция? — попытался шутить Миша.

Она тоже попыталась шутить:

— Ну конечно... — И показала на небо, подразумеваемая купол цирка... — Ведь он там, наверху, держит меня в зубах. Жену будет держать крепко, не уронит.

— Тогда я за тебя спокоен.

Так они шутили, как и положено воспитанным людям. Миша достойно встретил крушение своей первой любви. Во взгляде Эллен он уловил даже некоторую разочарованность, она ожидала потягивания. Потягивания не будет.

Раздался третий звонок.

Игорь и Сергей попрощались с Мишей и вошли в вагон. Эллен задержалась на площадке и, улыбаясь, помахала Мише. Потом, не дожидаясь отправления поезда, ушла, может быть, для того, чтобы не мешать другим входить в вагон.

Но Миша дождался отправления поезда, он медленно вытягивался из-под крыши вокзала и наконец скрылся, вильнув длинным закруленным хвостом.

Миша вспомнил тот, другой поезд на станции Бахмач, увозивший эшелон туда, где сверкающая путина рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу, прорезавшую горбатый туманный горизонт. Перед глазами его снова возникли красноармейцы. Матрос Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар...

Сейчас, как и тогда, к горлу подкатывал тесный комок...

Но невольничьи слезы не показались. Действо кончилось... Эллен — это тоже его действие, маленькая циркачка, так поразившая когда-то его юное воображение.

Он вышел из вокзала на Каланчевскую площадь и по Мясницкой, через центр, поехал к себе, на Арбат.

Идти домой не хотелось, и он прошел на задний двор.

Ребята играли в волейбол.

Возле корпуса на асфальте сидел Витяка Буров, стриженный под машинку, бледный и худой.

— Привет! — сказал Миша.

— Привет! — ответил Витяка.

Кончилась партия, команды стали меняться местами.

— Примите нас, — сказал Миша.

— Становитесь! — разрешил Генка.

Миша и Витяка Буров перешли на площадку, и игра возобновилась.

Танзиля Зумакулова



Перевела
с балкарского
Ю. НЕЙМАН

Мое перо

Что только не творит оно со мной!!
Минуты нет спокойной ни одной!

То сбросит в море, глубоко на дно,
То звергнет в горе, где темным-темно,
И надо мной куражится, пока
В тетради не уляжется строка.

О происки волшебника-пера!..
Кем я за это время ни была:
Стволем, познавшим холод топора,
Железом, накаленным добела,
Разрубленною надвое скалой,
Вязанкой дров, что сделалась золой,
Вдовою — самой горькою из вдов —
И матерью, лишившейся сынов,
Слезами быстро тающего льда,
Глухой могилою в краю чужом,
Полусожженной саклей, очагом,
Который погасили навсегда...

Все их страданья были мне сродни,
Я испытала то же, что они,
Скорбела сотнями чужих скорбей...
И думалось: перо в руке моей
Устанет, поломается в борьбе,
Не написав ни слова о тебе.

Казалось мне: слабеет мой накал,
Но помогала мне моя любовь,
Ты сам в душе мне силы придавал...
Я гибла вновь и воскресала вновь,
Ребенком став, который видит сон,
Джингитом — тем, кто первый раз влюблен,
В шаира превращалась, и шаир
В ответе был за весь подлунный мир...

Не иссякает это волшебство...
Но, если ты из сердца моего
Навек уйдешь, — все оборвется вдруг,
И выпадет перо мое из рук.



Та в рубашке родилась, а той —
До ее рождения, заране,
Наготовили богатой ткани...
Я в рубаше выросла простой.

В нашей сакле не было избытка.
Возле очага, глотая дым,
Шила я рубашку грубой ниткой,
Смоchenною потом трудовым

Да слезой, пролитой втихомолку.
Полудетская моя рука
Часто натывалась на иголку,
Все ж рубашка у меня крепка.

Верю, что кому-то будет мило
То, что я сама рубашку сшила
По себе, по мерке по своей.
Но чтобы годилась для людей.

Жизни, хоть она порой коварна,
Все же глубоко я благодарна,
Что была она строга ко мне,
Закаляла на своем огне,

Побеждать учила слабость, робость,
Укреплять над шальным сердцем власть
И, хотя подчас толкала в пропасть,
Не давала все-таки пропасть.

И теперь, когда бывает тяжело,
Знаю: испытанье неспроста!
Может, потому моя рубашка
Хоть и небогата, а чиста.

Мать

Тот бережет свой дом, а эта платья,
Та — украшенья тонкого литья,
И я... Боюсь богатство потерять я,
Мое богатство — это мать моя.

Бесценнее сокровищ нет на свете,
Чем щедрость и любовь не напоказ...
Мы баловни, мы все немного дети,
Покамест живы матери у нас.

О мама, мама!.. Огорчаясь, плача,
Спешу к тебе излить свою печаль.
Но что там!.. Всегда ли в дни удач
Я вспоминаю о тебе!.. Всегда ль!..

Согрей меня всей чуткостью больною!
Не гнезись!.. Прости меня скорей!..
Как жаль мне тех, кто, очерствев душою,
Своих позабывает матерей!

Они при жизни дважды мать хоронят,
Не убоясь ужасных похорон...
Но час пробьет!.. Жестоким сын застанет,
Своими сыновьями оскорблен.

Он будет к матери звать, но... поздно!
Угаснет крик в могильной тишине...
О мама, мама!.. Хоть живем мы розно,
Ты — на земле... И жить спокойней мне.

Пока ты есть, светло мое жилище!
Пока ты есть, легка любая боль!
Богата я... Меня не делай нищим!
До времени меня не обездоли!

Николай Новиков



Уж если есть друзья, должны же быть
враги,
Как в доме пыль, как на пути ухабы...
Попробуй-ка себя уберечь
От недоброжелателей хотя бы!

Сражающимся армиям под стать,
Воинствуют микробы в каждом теле.
Нельзя ж на свете просуществовать,
Как призрак, не отбрасывая тени!



Тщеславию всего страшней — забвенью,
И чтобы чаша минула сия,
Из всех щелей и трещин бытия
Спешит потомков радостно заверить:
«И я при сем присутствовал!» «И я...»

Да, фотодокументы разбирая,
Потомок, ты при гении найдешь
Такой набор умильно постных рож,
Попутчиков случайных, как в трамвае,
Что и не грех смутиться: гений — кто ж!

Но ты взглядишь, кто принял позы:
«Площадь

и Я», «Я и вдали Казбеки»,
«Я и Прибой», «Я и Двадцатый Век»...
Глядишь, к Петру Великому на лошадь
Еще взберется этот человек!

И будет он болтаться за спиною,
Трясись в галопе небывалых дел,
За медный хвост держась, от страха бел...
О, не брани его — оставь в покое!
Несчастный сам не знал, чего хотел...



Куда идет вода!..
Вода идет к воде.
Куда идет беда!
Беда идет к беде.
Река идет к реке.
Строка идет к строке.
А я куда иду!
А я иду к тебе.
Неписанный закон,

Немеряный магнит.
Планетою влеком,
Сгорит метеорит.
К звезде идет звезда:
Останутся ли чем!
Неведомо — куда.
Неведомо — зачем.
Кривую описав
И силы не избыв...
Сиянье в небесах —
Слиянье или взрыв!
Покорствуя судьбе,
Вода идет к воде,
Судьба идет к судьбе.
А я иду к тебе...



Тут степь, и ржавая трава,
И резкий холод, и ненастье,
Явившееся от напайцев...
Ну, словом, ты была права.
И приезжать сюда не надо
В дни межсезонья, в дни зимы.
Когда печально видим мы
Дрожащие остатки сада.
И все же тут не первый год
Всегда — в метелицы и змзметь —
Заброшенная наша память,
Как птица зимняя, живет.

Музыкальный ящик

Приснись мне, точильщик
Орудий труда,
И рядом — мальчишек
Дворовых орда!
Во всю свою силу
Точило кружи,
Чтоб резали пилой
И брили ножки!
Как легкая лодка
На гребне волны,
Приснись мне, пролетка
Бульжиной весны!
Подковы-обновы
И топот копыт
[Когда не кино бы,
Так был бы забыт.]
Приснись мне, извозчик
С чугунной спиной,
Приснись мне, старьевщик
И крик под стеной,
И в нем отголоски
Земли, что ушла:
Лохмотья, обноски,
А куча — мала!
Ах, ветхий обманщик,
Пластинкой гоним,
Шамань же, шарманщик,
Над детством моим!
А нота — раздолье
Средь граней двора.
Куда радиоло:
Дрова и дрова!
А вальс этот длится
И месяц и год...
Охрипшая птица,
Печальная птица,
Бессмертная птица
В шарманке поет!



Эдуардас
МЕЖЕЛАЙТИС

ПИСЬМА ИЗ ДРУСКИНИККОЙ

*Прошлую весну встретил я
в Друскининкай.
Это город-курорт на юге Литвы.
Здесь изпод ног текут
целебные соленые воды.
Потому-то город
и называется Друскининкай
(«друска» по-литовски значит — соль).
Здесь долгое время жил
и работал великий литовский художник
и композитор
Микалоюс Константинас Чюрленис.
Семья моя оставалась в Вильнюсе.
И вот когда сталоилось
особенно тоскливо,
я писал письма своей дочурке Дайне.
Дайна собирала и хранила мои письма.
Потом я выздоровел и вернулся домой.
Как-то дочка сказала,
что хочет показать
эти письма своим подружкам.
Можно ли? Конечно!
Потом я сам перечитал их и подумал:
а не познакомить ли с ними более
широкий круг читателей —
ровесников моей Дайны?
И вот эти письма перед вами.
Буду очень рад,
если они покажут вам интересными.
Адресованы они Дайне,
поэтому и посвящаются ей.*

Автор

*Я всегда страстно желал, чтобы человек был
таким, каким я его себе мыслю, то есть челове-
ком, который все чувствует, понимает и стремится
к истине, добру и красоте.*

М. К. ЧЮРЛЕНИС

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогая Дайна!

Город, в котором я теперь живу, называется Друскининкай. Помнишь ли мой отъезд? Ты спросила, куда я еду. «В Друскивинкай». Ты на минуту задумалась и потом мечтательно протянула: «Это значит — в Соляной город, в Солеград?..» Я тогда улынулся и ничего не ответил. А теперь хочу рассказать тебе сказку и об этом городе и о многом другом...

Итак, сказка начинается.

...Вчера вечером, читая у открытого окна книгу, услышал я вдруг таинственный шорох. Казалось, кто-то подкрадывается к моему окну, раздвигая кусты и низко нависшие ветви деревьев. Шуршит сухой прошлогодней листвой, шагая по коврам едва проклюнувшейся молодой травки. Вот он уже совсем рядом, стоит и лепечет какие-то непонятные слова. Шепчет и шепчет — тихо, нежно и печально. А зайти в комнату не решается. Мне даже чуть-чуть не по себе стало.

— Кто там? — спрашиваю таинственного ночного посетителя. — Это ты, ветер?

И вдруг слышу:

— Нет, я не ветер. Я Неман, вечный странник. Могучая река твоей родины. Хочешь погулять по лугам и полям? Тогда пойдем в синие дали, как бродили мы с тобой в давние времена... Я провожу тебя в Сказку... Мы поступим в двери звездного замка, и ты увидишь там, в Сказке, великую и дивную красоту. Такую, какой никогда еще не видел. Идем со мной в синие дали..

— Хорошо, иду, — кивнул я позднему гостю, набросил пальто и покинул комнату.

На широком просторе, затаившись в тени кустов и деревьев, ждал меня мой добрый старый друг, одетый в расшитый звездами серебристый плащ.

— Привет тебе, старина Неман! — крикнул я ему издали.

— Здравствуй! Готов ли ты?

— Готов. Можем отправляться.

— Тогда следуй за мной, — сказал Неман и, круто повернувшись, устремился вперед.

Деревья расступились перед ним, и звездное его одеяние засияло вдруг ослепительно ярко. На миг я даже зажмурил глаза. А когда открыл их вновь, то увидел лежащий в объятиях Немана белый-белый, словно гордый лебедь, город. С высокого неба на башни и башенки, на островерхие пирамиды, венчавшие крыши белых кубиков, из светло-голубого кушина весенней луны лилось белое-белое молоко.

«Разве это настоящий город? — подумал я. — Да он же игрушечный!» Я сам построил его в детстве из деревянных обрезков — чурок, кубиков, палочек. И жила в том городе-замке моя Синяя птица. Это была обыкновенная синичка. Она наведывалась ко мне за хлебными крошками. Открыв окно, выпасала я на подоконник эти крошки, зернышки, и голодная доверчивая птица брала корм прямо из моих рук. Так научился я делиться с ней сначала хлебом, а потом — мыслями, впечатлениями, переживаниями. Я читал синичке книги, показывал рисунки, рассказывал ей о

другом своем доме, который называется школой. Это был очень уютный и приятный дом. Множество маленьких, таких же, как и я, братьев и сестриц окружало меня там. Учительница была добра ко мне, как мать, она водила меня по полям, лесам, лугам, горам и деревням, уместившимся на одной небольшой книжной страничке.

Мне казалось, что синицу часто занимают мои рассказы. Насытившись хлебными крошками, она тоже повествовала мне о своем голубом мире, где я не мог пока побывать. О, как таинствен, интересен, как недоступен был голубой мир моего маленького пернатого друга. И как хотелось хоть раз очутиться там! Птаха обещала когда-нибудь захватить меня с собой.

Шло время, и дружба наша крепла. Синичка сделала все больше: она пархивала в комнату и усаживалась на стол. Однажды она явилась ко мне в тот момент, когда я играл чурками, подаренными отцом. Обыкновенные обрезки: чурбачки, брусочки, пирамидки, кубики из простого некрашеного дерева. Поэтому они казались белыми. Я строил из них башни, мосты, стены.

Синичка весело осведомилась, чем это я занимаюсь.

— Замок строю,— ответил я.

— А кто станет жить в нем?

— Не знаю,— пожал я плечами.

Тогда гостя торопыливым своим говорком предложила, чтобы я построил замок для нее. Большой-пребольшой, такой же, как у владычицы Голубой страны — Синей птицы.

— Я хочу жить, как она! — протыкала птаха.

— Ладно,— согласился я,— построю тебе замок, как у Синей птицы. Но только откуды же мне знать, как у нее замок, как он выглядит?

А и строителем был я в то время неопытный... И потому возведение замка затянулось надолго. Я прикидывал так и этак, одной рукой выкладывал кубики, воздвигая высокие замковые башни. с другой разрушал свои постройки. А завтра все начиналось сызнова. Но в один прекрасный день, когда синичка опять влетела к нам в окно, замок для нее все-таки был готов. Моя крылатая приятельница очень обрадовалась, уселась на башенку и наполнила комнату звонкими, похожими на снежинки, серебристыми звездочками своей песни.

А за окном и впрямь уже падали звездочки первого снега: подходила холодная и голодная зима. И я решил поселить синичку в белом игрушечном замке. Она охотно согласилась. Я взял ее с собой в ладони, отогрел ее замерзшее тельце и впустил в белую башню. И она стала моей Синей птицей. Она пела о том, как мы пойдем когда-нибудь в страну Сказку, где стоит украшенный сверкающими башнями дворец. Так радостно становилось от одной мечты о сказочной стране...

Нынче, глядя на белый, как лебедь, город, лежащий в объятиях могучего Немана, я вновь вспоминал свои кубики. Башни и дома этого города были так похожи на кубы, пирамиды и конусы моих детских игрушек! И как сила вся эта белая архитектурная геометрия моего детства, озаренная и выделенная удивительным трепетным лунным светом! Деревья стояли белые и застывшие. Но теперь все это показалось мне сделанным не из светлых обрезков досок, а из какого-то другого материала. «Из чего же? Из чего?» — думал я, разглядывая белый архитектурный ансамбль — этого белого лебеда, плывущего по морю белого лунного молока.

— Ты спрашиваешь, из чего сделаны кубы, конусы и пирамиды этого белого города? — услышал я радостно голоса Немана. — Подумай. Вспомни и подумай...

— Может быть, из соли,— весело предположил я.

— Правильно! — подтвердил мне догадки старик Неман. — Здесь все из соли! Недаром же люди называют этот город Друскининкай. Если хочешь попасть в Сказочный замок, тебе надо пройти сквозь ворота этого белого города. Я укажу тебе путь. Готов ли ты следовать за мной?

Готов,— тихо ответил я.

Неман снова круто повернул свои воды, сверкнул звездным плащом, и мы отправились в синие дали.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Тебе, наверное, хочется узнать, Дайна, что же случилось дальше, после того, как мы с Неманом остановились к Сказочному замку? Так слушай.

Быстро и легко поспешал перед мой могучий провожатый, широко распахнув полы своего расшитого серебряными блестящими одеяния. Он делал крутые повороты и извивался, как фантастический дракон, сверкающий звездной чешуей. Он словно выполз из дремучих лесов и двинулся вперед, рассекая богатейской грудью земную твердь. Бежали и бежали неманские воды, то сердито бурлили и вспенивались, то будто бормотали что-то тихое и вежное. Мудрый Змей-великан, вытянувшись во весь свой неоглядный рост, вился по равнине среди вспаханных нив и вполголоса напевал мне таинственные слова какого-то, быть может, давно уже забытого людьми языка древнего племени. Иногда этот змей рвалел пути и шутя проглатывал вставший ему поперек пути, съезжавший от грохота островок со взмокшей шетевой ракет. Проглатывал и сытый, довольный, аппетитно причмокивая широченным своим языком, поглаживая и почесывая о зеленые кустики и крутые печальные обрывы расползшиеся, раздвинувшие бока, беззаботно проказничая, весело плескался, хриплым голосом завода озорную песню.

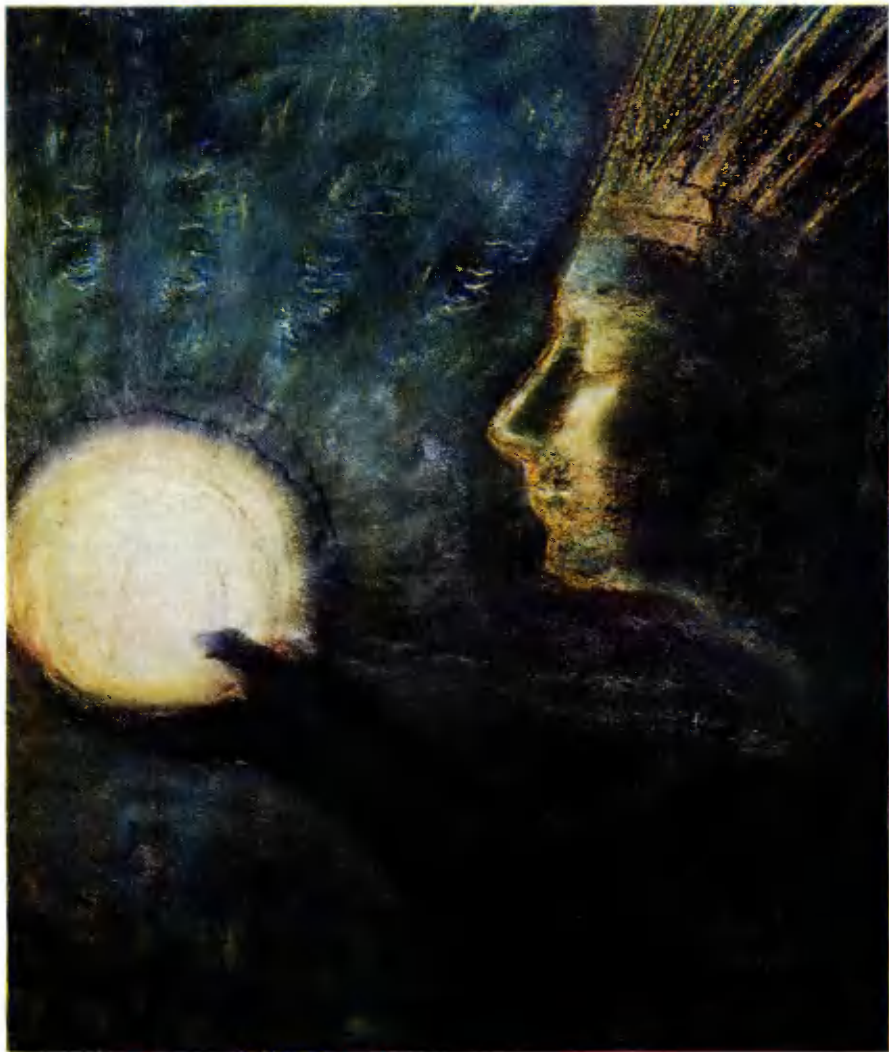
Разгоряченный и взмокший, торопился я, стараясь поспеть за ним. Нелегко давалась мне эта гонка. Неман был куда проворнее: он то и дело обгонял меня, оставляя далеко позади. Задыхался, смахивая пот со лба, изо всех сил спешил я, стремясь догнать его. Где там. Разве догонишь! Вот-вот, кажется, поравняемся, вот он совсем рядом, рукой подать... А нет! Только подумаешь, что настиг, догнал, а Неман вильнет вдруг в сторону, и, пока доберешься до излучины, глядь—он уже на добрую сотню шагов опередил тебя, оторвался и вьется по голубой равнине все дальше и дальше.

Так и не пришло мне в то вечер настичь стремительного своего провожатого. И ведь, кажется, здорово я вырос по сравнению с тем давним временем, когда еще маленьким играл по вечерам с Неманом в его звездную игру. Но друг мой вырос неизменно, стал огромным, широким, могучим. Настоящий великан! Где мне теперь тягаться с ним? Бежал, бежал я вслед, а догнать не смог, отстал... А Неман все вился и вился по синим, залитым бледным лунным светом, будто заперженным солью и замерзшим в ночной тишине равнинам, легко рассекла холмы и пригорки и, выхвта, отфыркиваясь, глубоко дыла, с веселым рокотом бросался вниз, распевая чудесные свои волновые песни, звавшая и завлекая меня так, все дальше и дальше, в синие дали...

Так и бежал он, пока вдруг не свернул в сторону и не пропал из глаз. Только-только, кажется, поблескивала впереди — и нет его. Добрался до леса и скрылся в нем. Увлекшись погоней, я тоже нырнул в темный, глухой бор. И, конечно, потерял своего провожатика. Кинулся туда, повернул сюда — не видать и не



Похороны солнца.



Дружба.

Из произведений М. К. ЧЮРЛЁНИСА. 1675—1911.



Соната моря.



Стрелец.

слышать, будто сквозь землю провалился. Совсем пропал, вету его, хоть плачь.

— Где ты, Дружичек Неман? — кричу. — Ауй!

Разносится по лесу мой одинокий робкий призыв, а в ответ — голос насмешливый Эхо, что живет в самой чащобе, в зеленой избушке старика Лешего, да злое уханье филина, да сухое, будто сучья ломают, карканье вороны. И снова глухо и грозно шумит нехоженный темный бор.

А Немана не слышно: или молчит, прячась под густыми кронами вековых деревьев, или убежал далеко вперед и совсем уже забыл обо мне. Очень обидно! Обидно и больно... Бродил-бродил я по чаще, устал и, присев на пенек, решил отдохнуть, дожидаться утра. «Вот уж,— думаю,— взойдет солнце, тогда наверняка отпущу проложенную Неманом дорогу и белый соляной город...»

Вдруг слышу какой-то шум. Потрескивают под чьи-то шагами сухие веточки, шуршит прошлогодняя листва: не иначе, кто-то ходит неподалеку. Может, косуля, может, заяц.

Подняв я голову: стоит среди сосен стройный человек и смотрит прямо на меня зеленоватыми, глубокими глазами. С бледного высокого лба падает на них густая прядь волос, губы прижаты к пыльным устам. Смотрит, и, кажется, насквозь пронизывают меня его зеленые-зеленые и глубокие, как воды Немана, глаза. Уж не леший ли? Но у нас незнакомца дрогнули от спокойной улыбки, и я услышал:

— Не бойся. Ничего страшного тут с тобой не случится.

— Заблудился я, не знаю, куда попал. Завел меня сюда мой старый приятель Неман и исчез. Где я? Как называется эта местность?

— Сказка. Поминишь свою маленькую синичку? Замок Синюю птицу в замке из кубиков? Это ее выдумка. Ты хотел увидеть Голубую страну своей Синей птицы. И синичка обещала свести тебя туда. Вот и исполнилась мечта твоего детства. Этой ночью ты попал в Сказку. Идем, и ты увидишь, как прекрасна эта синяя Сказка.

Он протянул мне руку, и мы двинулись вперед. Сосны, высившиеся вокруг, звенели, как золотые струны арфы. Они играли сказочную лесную симфонию. А когда мы вынырнули из этих золотых струн, из этой трепетной и хрупкой, как лунный свет, мелодии, в глаза мне ударили, захлестнули и затопили меня золотой поток огня, целое море огня. Привыкв глаза ладонью, прищурившись, кинул я взгляд вдаль и увидел гигантский поток расплавленного золота. И показалось мне, что плывут по золотой реке бесчисленные костерки и перешептываются между собой миллионы мимамных язычков. Не знаю, кто зажег их. Вероятно, сделал это маленький длиннорыбодое гномы — обитатели синих лесов, растущих в Сказке. Каждый из них развел маленький костер, чтобы согреть руки, ибо весна еще не одолела последних зимних заморозков. Весь день трудялись старички лесовички в теневистых оврагах и балках, прикапывая к еще холодной земле тоненькие свечки и зажигая на них синие огоньки. Дети, бегая по лесу и заглядывая эти синие язычки огня, кричали:

— Фиаки! Фиаки!..

— А теперь взгляни вверх,— предложил мне мой таинственный провожатый.

Я поднял глаза в небо и замер: по голубому небесному океану плыли могучий корабль, Вольный ветер играл спутанной шевелюрой и великодушной бордой его капитана. Сильные руки гиганта сжимали огромное рулевое колесо. Это сверкающее медное колесо было перекрещено четырьмя яркими лу-

чами, указывавшими направление четырех сторон света.

— Ха-ха-ха!—весело грохотал великан, подставляя ветру взлохмаченную голову.

От его смеха, как от грома, сотрясаясь земля.

— Кто это?—спросил я своего спутника.

— Это космический капитан. Его зовут Рекс. За-

помни это имя.

— Где-то я уже слышал его.

Усы моего спутника снова шевельнулись от ирони-

чной, но доброй улыбки.

— Он только что прибыл к нам из дальней Галактики. Его космический корабль облетает теперь вокруг нашей планеты. Сделав тридцать три оборота, он опустится в Солеграде. Хочешь знать, почему именно здесь? В Друскининкай жил человек, который еще тогда, когда никто не видел Рекса, создал его звездный портрет. Потому-то, прилетая на Землю, космический Рекс всякий раз опускается в нашем краю. Он приносит нам Весну...

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Почти весь день просидел я сегодня в четырех стенах. С утра по стеклу били дождевые капли и слезинками стекали вниз. В комнате мрачно и тоскливо, и на душе у меня тоже серо и пасмурно: я соскучился по дому, а больше всего по тебе, доченька.

За окном, протянувшись от серых облаков до серой еще земли, висели длинные-предлинные льянные нити дождя. За них цеплялось, раскачивалось и карбалось по ним вверх и вниз шаловливое потомство сурового зимнего Ветра — весенние ветерки. Что за веселую игру завели озорники! Шныряли меж затаяных водяных веревочек, прытались за могучими столами сосен, взбирались по шершавой коре вверх, залезали в кроны, шевелили сучья и вдруг, свистнувшись вниз, припускались во весь дух к реке. Но в какой-то миг все утихло. Ровные веревочки дождя устремились к земле. И тут я увидел, как красиво и старательно сплетены они из водяного серебра. Тугие, сверкающие.

И вдруг... Что это?

Раскачивается на хрустальных дождевых канатиках яркая птичка. Перышки на крыльях зеленые и серенькие, грудка желтым фарфурком повязана. Быстро-быстро перебирая лапками водяную веревочку, спустилась птаха вниз, уселась на подоконнике и смотрит мне прямо в глаза.

— Здравствуй, синичка! — обрадовался я. — Уж не Синия ли ты птица моего детства? Не из того ли построенного мною когда-то замка прилетела ты сюда?

— Так-так-так! — весело протреникала синичка.

— Вот чудесно! А что слышно в стране моих детских лет? Не разрушил ли кто твоего прекрасного замка? Цела ли башня из белых деревянных кубиков?

— Увы, увy, увy! — печально проствела птаха. — А-яй-яй! Значит, разрушил твой замок? Жаль. Очень жаль. Красивый был замок, и тебе, не правда ли, удобно было жить в нем?

— Так-так-так!

— А случается ли тебе бывать в Голубой стране? — Как же, как же!

— И Синия птица еще живет там?

— Живет! Живет! — завертела синичка хвостиком.

Когда-то обещала ты мне указать дорогу в Голубую страну. Немало лет минуло с той поры, а я, как видишь, все еще не знаю дороги туда, все еще не встретил Синей птицы...

— Не плац! — зацокала пестрая птичка. — Не плац! Все еще вперед! Еще отыщешь дорогу в Голубую страну, встретишь свою Синюю птицу! Уже весна, уже тепло! Славно!

И она взлетела на высокую сосну. Хотел было я спросить ее, когда же мы отправимся в замок из деревянных кубиков, в детство, в Голубую страну. Но синица уже и сада простыла...

— Ну что ж, милая моя пташка... Пой себе, цвинык, тенькый на доброе здоровье! Снег теперь долго-долго не вернется. По берегам Немана уже спешит к нам красавица Весна. Венок из синих фиалок на ее голове. В риквитову дудочку посылывает, на разные голоса с лесными пташками переключается. Звонко, весело...

...Заболтался я, Дайна, и совсем про сказку забыл. Это Весна помешала. Являлся из леса, забралась ко мне в комнату, и никуда от нее не спрячешься. Песни свои звонкие распевает, как по земле шла, рассказывает. Сиди и слушай ее. А выгнать не могу — жалко. Такая она нежная, певучая, такая красивая и добрая... Но я уж и сам вижу, что пора нам с тобой снова вернуться в Сказку. Итак...

...Летит по голубому океану могучий гигант, капитан космоса Рекс, и разиспит по Вселенной гром его хохота:

— Ха-ха-ха! Го-го-го! Эй, Ветрище-лежебока! А ну, проснись! Буди-поднимай своих детисшек-ветришек! Ну, что же ты! Пора тормошить деревья и кусты, пусть очнутся от зимнего сна! Идет Весна! Да и почкам уже пора лопаться! Ишь, набухли как! Э-ге-ген! Ветруцны-сорванцы, травки зеленой на луга накидай-те-ка! Скотина-то, слышите? Жалобно этак по хлевам да стойлам мычит, блеет. На лужок бы скорее!.. Вставай, дружище Ветрище!

И Ветер-ветрище — старый бородач, который в глубокой ложбине, на мягкой снежной перине нежится, белыми снежными простынями укрытый, проснулся, потянулся, зевнула, протер ледяными пальцами запорешенные снежной пылью глаза, откашлялся и заревел в ответ:

— Го-го-го! Слышу!..

Встал — вышел леса стал. Присел, чтоб размяться — земля начала птаться.

А ну, ветерки! А ну, сорванцы-озорники, хватит спать! Подъем!

Тут уж замешались сладко поспавшие в лесных сугробах ветровичи — могучего Ветра сыновья. Златокудрые, озорные, быстрые. И такой по лесу гул пошел, такой смех, что перебудили всех. Бурый медведь в берлоге лежал. Лапу сосал. А тут как загудело, затрещало — покоя не стало. Замешался мишка — снег над берлогой осел, осыпался. Осины да ясени, что кругом берлоги, у края обрыва, стояли, зарождажи, затрепетали, во все стороны качаться стали.

Все ветровичи проснулись, разворочили свои сугробы-постела. Раскачали ветки на деревьях, рассыпали-посыпали с них снежные палки. Чем бы еще заняться? Как бы еще созоровать, набедакурить? В куцху сбился, пошпешались, договорились: подстеречь Рексов космический корабль, поймать за хвост этого дельфина и облететь с ним вокруг Земли. Сказано — сделано!

Только появился вновь над той долиной, где они собрались, космический корабль, вытнул отец Ветер длинную свою руку, похожую на крыло ветряной мельницы, ухватился за открытый люк, подтянулся

и — раз! Уселся рядом с Рексом в капитанской рубке. А сыновья его, златокудрые да зеленоглазые, зашвыстали, завывали, задули, догнали корабль, вцепились в металлические дельфины плавники, ухватились за хвост и понеслись-полетели вокруг Земли, песни распевая.

И ничего бы особенного не случилось — прокатились бы, и все. Пусть летит себе на здоровье да песни поют. Так нет! На то они и озорники... Швыст-гремит космический дельфин над самой землей, а ветровичи, как дерево какое заметят, кусты, веточки, дубки ли, березку, ясеня или пшущу, хвасть за вершущку и ну трепать! Деревца-то ослабли после зимних холодушек, такой игры не выдерживают: гибнут чуть не до земли, словно убегают, спрятались от этих сорванцов хотят. Жмутся друг к другу, согнутыми верхушками друг дружки касаются — то вверх на холмик взбегают, то в ложок спускаются. И становятся они похожими не на деревья — странные да высокие, а на вотные знаки — восьмушки да четвертушки — ну точно как в твоей нотной тетради, доченька.

Гляжу я на деревья, под ветрами стонущие, и слышу вдруг:

— До-ре-ми-фа-оль-ля-си-до!

Да ведь это гамма! Все гамму играют на согнутых верхушках ветерки-озорники. Да так верно, так чисто! Чуть заденет ветерок-непоседа деревцо, согнет-ся оно, превращаясь в нотный знак, и тут же отзовется — то «фа» прозвенит, то «ми» пропоет.

А когда все деревья обратились в ноты, поднялся в воздухе такой гул, полилась такая удивительная мелодия, что у меня голова кругом пошла. Замелькала перед глазами, кружилась хоромодом, и увидел я удивительное чудо: на пригорках, по лугам, на болотных ковылях, на пнях старых вырубкой примостились маленькие ветряные мельницы — жужжат, поскрипывают их легкие крылья и вертятся, вертятся, вертятся. Великое множество ветряных мельниц. И рядом, и поодаль, и далеко-далеко машут и машут своими крыльями, вращаются, как пропеллеры самолета. Дуют разбужженные ветерки, гнутыя деревья, играя величественную мелодию оживающей природы, летят по светлому небу облака-облака, гнущатся в бесчисленных снеговых весенних озерках, журчат ручейки... Все поет, движется, вращается — земля, леса, небо. Даже ласточки, простреливающие воздух, превратились внезапно в поющие вотные знаки. Разве это ласточки? Нет! Это же Весна записывает на голубой бумаге неба свою сонату.

Увлек, подхватил меня вращающийся мир. И, проде взрослых уже человек, раскинул я руки наподобие крыльев ветряной мельницы, замалхал ими и закружилась, запел вместе со всей Вселенной, со всей Землей, со всем поющим и вующим миром. Ох, и весело же мне было, ох, и хорошо!

Могучий оркестр Весны играл мне мажорную сонату пробуждающейся природы. А я махал Рексу руками, и кружилась, кружилась, кружилась, словно летящая ветряная мельница...

Весь космос — твоя ветряная мельница, Рекс. Все, из чего состоит он, космос, — живая, движущаяся материя. Ее движение, вращение, ее безграничное и постоянное перемещение в пространстве и есть великая сила природы. Рекс будит все живое. Каждую звезду, каждую планету, каждую молекулу, каждый атом превращает он в ветряные мельницы и с помощью Ветра и всех его ветрогонных-детисшек, злато-волосяных и курносых ветерков-озорников, раскру-

чивает их крылья. И бесчисленные миллионы этих мельничек на земле и в космосе начинают вращаться, крутятся, действуют, двигаться! Крутятся и мелют зерно. Вращаются и поют песни. Во Вселенной нет неподвижности, не может быть зстоя и покоя. Поэтому она вечно молода. Все вращается в космосе, вращается и превращается. Вспыхивают новые звезды и раскручивают свои крылья—лучи, разрушаются потухшие солнца, но их вестиецо разлетается по Вселенной, скланивается с облаками других миров и вновь оживает, зажигаясь огненным пожаром. И потому вечно звучит в космосе соната весны. Он не может остановиться, он вращается и вечно будет вращаться—огромный, необъятный, бескрайний космос, охватывающий вечной весной обновление и возрождения...

Так что недаром щебетага мне крылатая подружка-синичка с желтым фарфучком на грудке:

— Весна! Славно! Славно!..

Да, уже весна! И какая весна! И какая же прекрасная весенняя соната звучит над землей!..

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Ну вот, доченька, и следующее послание. Хочу рассказать о том, что случилось со мной дальше, по дороге в замок, в детство, в голубую Сказку...

Снова надо мною чистое небо. Только-только проглотила здесь, окруженный соранцами-ветровками космический корабль, и уже нет его. А я все кружился, размахивал руками, будто крыльями ветряной мельницы, и выдохся, упал ничком на теплую, влажную землю. Но не успев прийти в себя, как вновь раздался, сотрясая небо, могучий ликующий хохот космического капитана. Его корабль молнией облетел планету и опять здесь! Вот вынырнул он из похожего на айсберг белого облака, стремительный отбоек-мый, серебристый, словно огромный дельфин. Вцепившись в его плавники, в его стальной хвост, по-прежнему визжат, хохочут и распевают озорные песни шалуны-ветровчики.

И, пролетая над землей, по-прежнему клонят и терзают верхушки деревьев...

До чего же завидно мне было глядеть на их веселую весеннюю игру! И так захотелось присоединиться к этой компании, подняться с ними в поднебесье! «Неужто только вам, сорванцам-ветерцам,—подумал я,—можно разгуливать в воздушном океане? В былые времена я ведь тоже был веселым проказником, носился наперегонки с вами по полям и лугам, умел звонко подпевать вашим песням. Эх, если бы можно было снова стать таким, каким был я тогда! Я превратился бы в белый пушок одуванчика, и ветер подхватил и понес бы меня по полям и лугам, далеко-далеко, в замок из деревянных кубиков, в голубую Сказку, где живет Синяя птица...

И вдруг слышу:

«Что же ты остановился? Почему не бегаешь, не прыгаешь? О чем размышляешь?»

Я вздрогнул от неожиданности. Совсем забыл о своем спутнике! Его глубоко заправили глаза, казавшиеся раннее зелеными, как неманские воды, загорелись вдруг горячим голубым пламенем, спрятанные за пыльными усами губы сложились в лукавую, мудрую улыбку. Конечно же, он читает мои мысли, угадывает мои желания! Кудесник! Колдун! Чародей...

— А не волшебник ли ты?—прямо спросил я его.—Ты ведь знаешь, о чем я думаю! Да, мне бы

очень хотелось снова стать маленьким, озорным чеповечком. Хотелось бы уцепиться вместе с ветерками за дымок космического корабля. Лететь, кричать, хохотать, петь!

— Ну что ж, это можно!—Он ласково глянул мне в глаза.—Только... Такого большого в корабль, конечно, не возьмут. И все же тот, и рост велик... Ты не сможешь вместе с ветрами взбежать на горы и айсберги облаков, проникнуть в облачные небесные замки. Взрослым трудно: едва-едва взлетит, вспорхнет... и слетают вниз, на землю. Так недолго и шее сломают! Но если ты снова станешь маленьким, легким, как пух, и быстрым, как ветерок, если притраешься в озорного малыша, то уже не упадешь на землю. Ну как, хочешь вернуться к своему детству?

— О да, хочу, очень хочу!

— Ладно. Закмурь глаза и!.. вот тебе горький-горький корень. В нем собрана вся горечь твоей жизни. Съешь его!

Я принялся грызть корешок. Брр-р! Какая же это была гадость! Хуже самого мерзкого лекарства. Но что поделаешь? Мне ужасно хотелось вернуться в безоблачное детство, в звездную Сказку! Проглотив горечь и набрав в грудь побольше воздуха, я во весь голос, так, чтобы услышали меня все птицы в небе, и все облака, и весь-весь огромный мир, что было мочи начал выкрикивать полюбоившиеся мне еще в детстве строки Казиса Бинкиса:

Оседлавши ветер звонкий
И к нему прижавшись тесно,
Я с весной наперегонки
По просторам мчусь небесным!

— Ну вот,—слово издадека донесся таинственный голос волшебника,—теперь ты стал легким, как пух. Ты снова маленький мальчишка-соранец, озорной сынчик Ветра. Сейчас я подниму тебя высоко-высоко на своей ладоши, подую, и ты полетишь далеко-далеко... Теперь ты вдоволь нагуляешься по облачным горам и замкам из тумана. Теперь ты все отлично разглядишь—облачные города видят только очень маленькие девочки и мальчики, только юмми лесные и ветришки озорные... Счастливого полета в страну облаков! Лети, пушок-паренек!

И он высоко поднял меня в своих крепких ладошках, раскрыл их и, дунув на меня, как на пух одуванчика, выпустил из рук. Я почувствовал, что поднимаясь, лечу все выше и выше! Вот я уже над лесом, вот достиг нижней крошки облаков... А внизу, далеко-внизу зеленая земля, и машет, машет мне рукой мой добрый волшебник.

И в этот момент из ближнего облака снова вынырнул серебристый дельфин—космический корабль Рекса. Сильные руки покорителя Вселенной подхватили меня. И вот уже, окруженный грохотом и свистом ветра, несусь я по лазурному небосклону. И ни чуточки не страшно.

Я как ни в чем не бывало продолжаю декламировать своего любимого «Озорника»:

Путь лебяжий, журавлиный.
Путь бескрайний, длинный-длинный...
По дороге облаков
Я на ветре мчусь легким!

— А ну-ка, посмотри вниз. Видишь, крутятся там маленький шарик, как глобус на столе учителя?—услышал я могучий бас Капитана корабля.

— Вижку,—робко ответил я.

— А знаешь ли ты, что это такое?

— Нет. Откуда же мне знать?

— Это твоя планета Земля. Там ты живешь.

— Такая маленькая?—поразила я.—Такая кроха? Да ведь она меньше меня! Как же я там помещаюсь?.. Она как футбольный мяч!

— И вправду похожа,— улыбнулся Капитан.— А когда мы еще глубже погрузимся в космос, Земля покажется тебе пылинкой. Таких пылинок во Вселенной миллиарды. Самой совершенной электровино-вычислительной машине и то не пересчитать их!

— Так много?

— Конечно. Бессчетное множество. Одни умирают, другие рождаются. Взгляни-ка вправо: видишь этот черный шар, танцующий на волнах небесного океана и похожий на оторвавшийся от рыбачьей сети плаваек?

— Вижу.

— Он висит над сказочным облачным городом. Из несомемого тумана воздвигнуты в нем арки и башни... Видишь?

— Вижу.

— Так запомни: этот черный шар — уже угасшее солнце. Бывшая звезда. А призрачный город — умерший мир. Присмотрись: он совсем пуст, никакой жизни, ни единого человека. Мертвый мир...

Мне стало страшно.

— Но почему же они — и солнце и этот его мир — погбила?

— Так всегда во Вселенной, малыш: одни миры, потеряв энергию, угасают и умирают, а в это время где-то в космосе рождается новое горячее солнце, новый прекрасный, радостный и величественный мир. Взгляни-ка налево!

Я глянул, и мне стало не по себе. Горизонт был исчерна-черен, как будто залит тушью. Хотя нет, не тушью: там, словно в средневековой кухне алхимика, вращались, теснились, противоборствовали, сталкивались и расходились, захватывая все большее и большее пространство, огромные черные облака.

— Что это?

— Это хаос. Ничто. Космическая пыль. Пока ничто. Неразбериха, толкотня, давка. Мельчайшие частички мироздания — атомы — носятся во всех направлениях, как толпа мальчишек, выбежавших из школы на большой перемене. Но вот по некоему закону Вселенной это неорганизованное, хаотическое движение бесформенной массы прекращается. Сила всемирного тяготения заставляет ее подчиниться главному закону космоса — упорядоченному движению в пространстве и времени. Хаос превращается в гармонию. Что же там происходит? Только что ты видел черное солнце, его опустевший, безжизненный мир. Сейчас перед тобой рождение нового мира. Его первые шаги. Вот-вот начнет он формироваться, обретет центр, раскрутится вокруг него крыльями ветряной мельницы. И появится юный, прекрасный, удивительный мир... Смотри!

Капитан космического корабля простер свои жилистые, мускулистые, как у скульптора или каменотеса, руки. С пальцев его сорвались бесчисленные стрелы молний и вдоль и поперек избородили хаос, рассекли его на части. Все вокруг меня сотрясало от страшного грохота, какая-то невероятная, невиданная энергия конкала, мяла, месила черное вещество космоса, как пекарь месит тесто или гончар — глину...

Но вот все, утихло. Вабудораженная масса материи замерла, успокоилась, улеглась. Громы смолкли. Во мгле засияли серебристые густки. Черный туман пронизали лучи солнца и он стал розовым, теплым, живым. Потом туман стал рассеиваться, и перед мной открылась бескрайняя водная гладь.казалось, после бурь, громы и ураганов наступил творческий час тишины и благоденствия. Насколько хватало глаз, простиралось зеркало успокоившегося, умиротворенного, сверкающего на солнце великого океана. Воды его были кристально прозрачны. Я глянул в

глубину его и увидел, что там легко колыхнутся зеленые спирали — длинные, устремленные к поверхности водоросли, а на дне медленно передвигаются морские звезды. И тогда сердце мое также утихло, успокоилось, страх растаял, словно и не было его вовсе.

Мне вдруг стало спокойно, легко и хорошо. Я ушел в космос великий творческий акт: беспорядочный хаос обрел гармонию, которая породила жизнь...

Это рождение нового мира напоминало мне картину из далекого детства. Из комка овечьей шерсти, из хаоса спутанной кудели, насаженной на гребень сапожничка, нажима на педаль, мать сунит нить. Скрипит педаль, крутится колесо, тянется длинная тонкая нить.

И вот мать уже наматала большой клубок, похожий на земной шар...

— Теперь мне ясно, Капитан! — бойко, как настоящий сорванец, выпалил я. И тут же заметил, что развязная манера обращения припала не по вкусу моему мудрому собеседнику. Правда, он не сказал ни слова нахальному мальчишке, но густые его брови сурово сошлись у переносицы, лоб пересекала строга морщина.

— Ну, а что еще хотел бы ты увидеть? — холодно обратился он ко мне.

— Что еще? Даже не знаю... — растерялся я. — Мне бы хотелось, если можно, увидеть все. Всю Вселенную!..

— Ого, немало ты желаешь! Пожалуй, даже слишком много. Конечно, увидеть и познать все — всю Вселенную — дело великое. Важное дело... Однако не следует ли начать с малого? С самого себя. «Познай самого себя» — так, кажется, сказал дед с половиной тысячи лет тому назад некий мудрец на нашем Земле — греческий философ Сократ... Так вот, хочешь познать самого себя?

— Да, да, конечно, хочу!

— Ладно. Тогда летим в облачные горы.

Капитан повернул руль своего космического корабля, и серебристый дельфин нырнул в белый туман облаков.

Авторизованный перевод
Б. ЗАЛЕССКОЙ и Г. ГЕРАСИМОВА

(Окончание следует.)

Лариса Васильева



Запуталась, кого из вас
люблю на самом деле:
неподражаемый Кавказ,
иль душу в брэнном теле,
вид на Тбилиси с высоты
орлиного полета,
иль резкие твои черты
и смелость поворота,
предупреждение голоса
реки, листы, оконниц,
иль робкие твои глаза
с припухлостью бессонниц!
Порою, право, не пойму,
живешь ли ты на свете:
то, может, полностью сквозь тьму
ветвей пахучих сети
окутали меня, цветы
пьянили медом юга —
и незаметно спелся ты
из запаха и звука.

Март

В городе любое время года
камнем ограничено. И все ж
не сдается матушка Природа;
предвесение в груди народа
вызвало томление и дрожь.
Запах. Непонятно, что запахло.
Снег еще лежит, пурга метет,
ветер глухих песен не плетет,
ветви на деревьях виснут чахло,
но, на воздух выйдя ото сна,
горожанин чувствует — весна!
И невольно распрямляет плечи,
и бежит по нервам первый ток,
и звучит в его усталой речи
в ожидании неожиданной встречи
этаний сумбурный говорок.
Кажется вчерашняя усталость
чем-то позабышился давно.
Где-то кто-то распахнул окно —
от предчувствий сердце сильно жалось —
неужели!!! Серая тоска
дымом уплывает в облака.



Легкой ласточкой
время летит над долиной.
Абрикос золотые роняет плоды.
Разливается запах дурманяще-винный
и царит над невинным потоком воды.
Синева.
Облака неподвижно-лохматые.
Алазганской долины плывет огневая ладя,
Лето кончено.
Не понимаю, куда ты,
юность, глупая, делась!
Растеряна я.
Белизна на макушке горы появилась,
и поморщились тени на склоне горы.
Тишина.
Безграничная ясность явилась:
тем прекраснее жизнь, чем в ней
меньше игры.
Если жаждешь души и родной и похожей —
не ищи ее там, где покорство и страх,
где зависимость есть,
где улыбкой пригожей
отражается ложь в голубых зеркалах.
Засыпает земля.
И суровой рогожей
абрис солнца прикрыт.
Сизый дым на полях.

Глеб Горбовский



Так мимолетна вечность взгляда
нас наблюдающей звезды...
Зачем сидим в пещере сада,
что ожидаем — я и ты!

Здесь сталактиты — яблоны ветки,
неколебимы и бледны.
Так мимолетна вечность ветра
и нерушимость тишины.

Я открываю рот, и листья
летят с ветвей на шар земной.
Так мимолетна пташка мысли,
на волны брошенная мной.

И лишь твои — и дух и тело —
непленимы в чреве бытия:
как всемогуща ты глядела
на этот мир, любовь моя!

Прощание с березой

Есть и у нас заветная береза.
Плакучая, живая, как фонтан.
Но кто бы знал, как зябко и непросто
мне проходить порой по тем местам.
Тогда беру любимую на помощь.
И, если светит дымная луна,
иду прощаться, рассекая полночь,
иду к березе. Мне она слышна.
Там, на холме, с нее спадают листья,
стучат о землю россыпью минут.
И я прощаюсь, жалок и неистов,
забыв, что ты притихла где-то тут...
О, что б я делал с этой черной прозой,
что за холмом притихла меж ветвей,
но всякий раз, прощаясь с той березой,
встречался я с улыбкою твоей!

Мадонна

Кормящая младенца, ты смиренна.
Не только женщина и только — мать.
Прощаю все: и бестолочь и ревность
за жертвенность! Себя на две — разъять.
Ты на руках второе держишь сердце.
Свое второе. [Дочь придет потом...]
Она сейчас питается усердно
твоим сияньем, в теле разлитом.
Глаза дитя блуждают по вселенной
твоих очей. Ты родила глаза.
Не позвала — исторгнула из плена.
Так нарождает музыку гроза!
Что на земле верховнее рождения!
Ничто. Ни власть, ни смертная печаль.
И никогда и никакие тени
лучей любви не смогут умолчать!

Берег моря

Берег моря — серый камень.
Осень. Скуча ни при чем.
Как кому, а мне покамест
сняты женщины еще.
От шашлычной — смачный, зланный
к морю белый, как Кавказ,
дым сползает на карачках,
словно старый повелас.
А на рейде, на подходе
с красным глазом фонаря
что-то ищет пароходник
на исходе ноября.
Берег моря — чисто, пусто.
Добродушен моря гул.
Высоко в горах, как люстра,
вспыхнул окнами аул.
Берег моря, берег веры,
берег прожитого дня...
Ах, какие кавалеры
спят, не выйдя из меня!
Кавалеры, ухажеры,
суперрыцари земли...
Берег моря — серый шорох.
И твоё лицо вдали...

Павел Богданов



Ветераны войны

Нам, вынесенным с поля боя
И выжившим от ран, стократ
Дороже небо голубое,
И солнца свет, и смех ребят.
Что пенсионные нам книжки!
Что шрамы тяжкие войны!
Смерть знавшие не понаслышке,
Мы в жизнь сильнее влюблены
И мы — в труде. Хотя иногда
Напомним о минувших схватках
Осколок мины, в те года
Застывший где-то под полаткой.
И пусть до срока, не по летам
Нас убелила седина.—
То светит отраженным светом
Давно потухшая война.—
Но мы — в строю: звено живое
Меж теми, кто в сраженьях пал,
И теми, кто не воевал.
И мы вернулись с поля боя
Затем, чтоб мир войны не знал!

Примета

Красивы дома.
Где весенняя птица
На крыше, на дереве
Любит гнездиться.
Грачи на березах,
Скворцы по скворечням,
Гнездятся без спроса
Табором вешним.
Гнездо над гнездом —
Поселенье густое.
И весь этот дом —
Как гнездо обжитое.
А дом у соседа
Напротив — поди же:
Ни гнездышка нету,
Хоть дерево выше.
Знать, чувствует птица,
Где добрые люди,
Где можно селиться,—
Обиды не будет.

Сергей Островой



Главное

А что такое есть стихотворенье!
Работа это? Или озаренье!
А что такое есть стихосложение!
А может быть, оно стихослуженье!
И в этом суть! И делу голова!
Все остальное — просто так. Слова.



Тянет роздымью с полей.
Ходят волны жита.
Серой ниткой журавлей
Даль насквозь прошита.
В долгий путь — верста к версте —
Мчитса птичья стая,
К погрузневшей высоте
Крылья прижимая.
Скоро вымерзнут поля.
Станет свет неброским.
Льдом оденется земля
По низинкам плоским.
И, уткнувшись в твердый снег
Так, что пена в ключья,
Вдруг река замедлит бег
Да и встанет молча.

Судьба

Ах, судьба, судьба, судьба,
На дары обильная,
Перед сильным ты слаба,
Перед слабым — сильная.
И умешь ты в пути
[Сетуйте не сетуйте!]
Там негаданно пройти,
Где и тропок нетути.
То к поминкам, то к венцу
Ломись, как медведица.
Мне б с тобой лицом к лицу
В чистом поле встретиться.
Мне б с тобой глаза в глаза
Да и в схватку ратную,
Чтобы кинулась гроза
Сразу на попятную.
Чтоб была во все года
Даль-яснопогодица...
Только в жизни никогда

Этого не водится.
И моя б на это власть —
Я б сказал: — Красавица!
Ты ходи почаще в масть,
Людам это нравится.
Ах, судьба, судьба, судьба,
На дары обильная,
Перед сильным ты слаба,
Перед слабым — сильная.

Сны

Я верю в сны. А ты!
В загадки их! И в толки!
Вдруг выросли цветы
На очень сером волке.
Не шерсти густота,
А шкура вся цветами.
И вот уже цвета
Меняются местами:
Зеленый, голубой,
Закатный и рассветный,
И волк — само собой —
Уже не одноцветный.
На нем разгул цветов —
Уму непостижимо.
Я их любить готов
Светло, нерасторжимо.
Я так люблю цветы.
Что вижу сны цветные.
И дни мои пусты,
Когда цветы пустые.
Идут мои года,
А мне бы жить подольше,
И дай мне бог всегда
Цветов во сне побольше.
Я стану поутру,
И сон мой тем дороже,
Что те цветы к добру,
Цветы на волчьей коже.

Искусство

Поднялась на березу птица,
Чтобы спеть свою песню солнцу.
Ей заранее — птице этой —
Ничего сочинять не надо.
Все, что в памяти жить осталось,
Все, что глаз ее видит зоркий,
Все, что в душу ее проникло, —
В тот же миг становится песней.
Я же должен, слагая песню,
Переделывать раз по десять.
Перекраивать так и этак,
Пересчитывать каждый слог.
А потом, чтоб узнали люди,
Надо песню эту размножить.
Положить ее на бумагу.
Разложить ее на голоса.
А у птицы — такая песня:
Запоет — и все ее слышат.
А у птицы — и в этом чудо! —
Постынный, единый лад.
Но ведь людям, что слышат птицу,
Эта песня кажется разной!
Каждый раз неизменно новой!
Неизменно другой! Всегда!
И какой же должна быть песня,
Чтоб звучать каждый раз впервые.
Может, в этом и есть искусство!
Если ведать бы... если б знать.



РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕГОДНЯ

О понимании
традиций

Читатель, любящий поэзию — а кто в юности не любит стихов! — озабочен противоречием между количеством печатаемых стихов и их качеством. В последние годы выявились две разные позиции в этом вопросе. Одни считают «стихотворный взрыв» закономерным следствием времени (нечто подобное «демографическому взрыву»). Другие же полагают, что НТР тут ни при чем, а все дело в снижении требовательности, в утрате критериев качества. Но и в том и в другом случае речь заходит о традиции, понимании пути русской поэзии, истоков и характера новаторства современного русского стиха. Действительно ли поэзия наша «возвращается» в лоно некогда забытой традиции или, наоборот, утрачивает смелость видения окружающей жизни, отказывается от поиска новых путей, новых средств художественной выразительности? На эти и другие общие вопросы развития современной русской поэзии мы попросили ответить ряд ведущих критиков поэзии разных поколений.

Редакция «Юности» не думает, конечно, исчерпать весь круг проблем данной анкеты, но считает полезным для воспитания молодых, начинающих поэтов серьезный обмен мнениями.

Вот три вопроса анкеты:

1. Каково, по вашему мнению, соотношение между новаторством и традицией в современной русской лирике?

2. Какие отечественные традиции наследует сегодня поэзия? Широка ли, богат этот выбор?

3. Какие традиции, тенденции и имена представляются вам наиболее перспективными в развитии русской поэзии?

Ниже публикуются ответы на анкету.



**Виктор
ПЕРЦОВ**

Самое удивительное для меня в постановке вопроса анкеты, признаюсь, оказалось в том, что, несмотря на традиционность вопроса, несмотря на то, что он стоит и передо мной уже более полувека и на каждом этапе развития нашей поэзии решался по-разному, самое удивительное оказалось в том, что я не готов к ответу на этот вопрос в общем и позитивном плане. Ясно для меня только одно: я не принимаю новаторство, замкнутое в области формы. Это в особенности я осознал, перечитывая очень хорошую статью Эльзы Триоле «Искусство перевода», открывающую двуязычную русско-французскую антологию

«Русская поэзия». Эльза Триоле рассказывает о том, как непросто было найти среди французских поэтов-переводчиков таких, которые в каждом отдельном случае оказались бы соответствующими стилистической манере оригинала. Участвуя в этой работе в качестве одного из переводчиков, Эльза Триоле говорит: «Что касается меня, то я хотела посвятить свои силы только моим современникам, новаторам в области языка и формы, таким, как Хлебников, Пастернак, Маяковский, Вознесенский». Но это и мои современники. Я люблю первых трех и признаю талантливость последнего, хотя не столь многое в его творчестве отвечает моему чувству, моей потребности в поэзии. Может быть, потому, что я «привык» к выделенным Эльзой Триоле замечательным поэтам старшего поколения. Я воспринял как неожиданность обособление их как «новаторов формы». Перечитывая их и наслаждаясь, в частности, стилем лирического высказывания, я вхожу с каждым из них в особый мир художественной мысли и восприятия действительности и каждый раз испытываю такое чувство, что чего-то не досмотрел и не понял до конца.

И в этом я вижу преимущество в отношении русской поэтической традиции. Пушкин находил

оригинальность Баратынского в том, что он мыслит, папинала, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо познавательнее, чем у них обыкновенно водится». Достоевский цитировал в «Идиоте» устами Аглаи пушкинское «Жил на свете рыцарь бедный...», чтобы дать читателю глубже проникнуть и в сущность образа главного героя. А закончив роман, писал, что больше всего любит в нем свою мысль: «Я не за роман, а я за идею мою стою».

Своя мысль поэта, конечно, мысль художественная — в этом, на мой взгляд, будущее русской поэтической традиции. Здесь нас подстерегают неожиданности.

Русская поэтическая традиция — это пушкинское, которому нет предела. Нужно ли новые явления русской поэтической мысли, вызванные к жизни небывалым и ранее невозможным стечением обстоятельств самой истории, «прикреплять» к тем или иным, пусть самым гениальным представителям искусства слова? Без них мы были бы немые. Но только от нового поэта я узнаю о моих современниках то, что никаким другим образом не дошло бы до меня, и радуюсь, возвращаясь к полюбившимся строкам.

К кому «восходят», выражаясь языком историков литературы, Юрий Кузнецов со своими стихами? Почти каждое у него, как смысловой сюжетный удар, «Бабочка», «Бумажный змей», «Звезда», «Грибы», «Хромой всадник», «Горные камини», «Поэт», «Мужчина и женщина» — эти стихи притягивают меня неожиданно, все озабоченно развывая. Пределный контраст чувств человека, прошедшего через все испытания, потрясения истории XX века. И поэтому такая верность личному у «Хозяина рассохшегося дома»:

Среди пыли, в рассохшемся доме
Одинокий хозяин живет.
Раздраженно скрипят половицы,
А одна половица поет.

Гром ударит ли с темного неба
Или легкая мышь прощымгнет, —
Раздраженно скрипят половицы,
А одна половица поет.

Но когда молодую подругу
Нес в руках через самую тьму.
Он прошел по одной половице,
И весь путь она была ему.

Новаторство? В этом слове по отношению к поэту я чувствую сегодня что-то хвастливое. Традиция? Что это такое? Не тот ли оселек, на котором правит свое видение мира новый поэт?..

Иосиф ГРИНБЕРГ



1. Новаторство и традиция... Всегда ли они противостоят друг другу? Всегда ли нужно выбирать меж ними? На эти вопросы ответить не так-то просто... Вспомним середину тридцатых годов. Как соотнеслись со стихами Пастернака, Тихонова, Асеева, Антокольского стихи Твардовского, Исаковского, Кедрина? Казаюсь бы, те, кто по-

моложе, были «традиционнее», стояли ближе к девятнадцатому столетию, к классическим образцам, — так тогда да и впоследствии считали иные. Но на поверку сама «классичность» эта была новаторской, расширяла возможности нашей поэзии, обогащала ее свежими красками. И вот что еще примечательно: укрепление того оборота строки, о котором Твардовский сказал с победной усмешкой: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке», — нисколько не означало вытеснения поэтической образности иного склада, той, которую утверждал Маяковский, обращаясь к другим слоям русской речи. И произошло это потому, что мастера стиха, выступившие ранее на грани десятых и двадцатых годов, в дальнейшем не были склонны к самоповторению, а искали и находили новые и новые решения. А в годы Великой Отечественной войны с возрастной силой сказалось желание и способность поэтов самого несхожего облика внести свое особенное и неповторимое в общее движение стиха. Несравненная острота переживания, глубина раздумий рождали слова, прежде не сказанные, давали силы для создания стихов и поэм, становившихся важными этапами творческой биографии. И в эти же годы невероятного напряжения всех нравственных возможностей так внятно и самоотверженно зазвучали молодые голоса фронтového поколения.

2. Что и говорить, за последние годы, на взгляд пишущего эти строки, не появлялись книги, которые знаменовали бы начало новой волны в жизни стиха. Но не только эстетические изменения словесного строя приносят добрые плоды. Настоячивое освоение новых мотивов, ритмов, сбавлений также несет с собою обновление поэзии, и складывается оно из усилий многих и разных работников стиха.

Приглажаясь к ним, убеждаюсь в том, как много могут привести сдвиги, по видимости молекулярные, на поверку существенные. Обратимся к опыту хотя бы немногих поэтов и увидим:

что у Владимира Соколова возрастает внутренняя напряженность строфы, картины, рисунные им, не утрачивая своей полноты и пластичности, становятся более емкими и подвижными, лирический герой поэта выступает решительнее, увереннее, непримиримо преследуя, обличая (без всякой «тихости») расчетливых мешан, самодовольных пошляков, холодных эгоистов;

что Евгений Винокуров в своих книгах последних лет — «Метафоры» и «В силу вещей», продолжая с неослабевающей энергией вести поиски истины, увлекает в свой оборот ранее не тронутые им понятия и факты; он приводит в движение сложную, разветвленную систему иносказаний, сопоставлений, совмещая обыденное и героическое, поверая быт историей и возвышенное — повседневным, утверждая справедливую и действительную разумность, осмывая бескрылую и ограниченную рассудительность;

что в стихах Михаила Дудина ясно ощутима жажда совмещения времен, потребность слепить боевого опыта, запечатленного в стихе тридцать и более лет тому назад, с нынешним переживанием прошлого, с теперешним душевным состоянием, а потому проясняется понимание, углубляется чувство, а вместе с тем и самая «кладка» строк становится более цельной и слитной, скрепленной драматизмом переживания.

Можно привести десятки образов, свидетельствующих о настоящем развитии поэтических индивидуальностей, обогащающих нашу поэзию

в целом. К сожалению, имеется предостаточно примеров и того, как иссушается, обедняется одждание в самознигносте, в повторении одждид сделанных находок и открытий. И все же, отказавшись от поверхностных и нарочитых противопоставлений талантов различного склада, мы увидим, как широк наш поэтический фронт сегодня, как велики его возможности, учы, во многом еще не реализованные. Мы получим о том представление, поставив, к примеру, на одном флажке Андрея Вознесенского, а на другом — Николая Рубцова (бесспорно, его стихи — неотъемлемая часть поэтической современности) или соответственно — Евгения Евтушенко и Анатолия Жигулина, Василия Казаченко или Беллу Ахмадулину и Ольгу Фокину. Но преодолеем опасный соблазн составления перечней!

3. Памятуя об этом обилии возможностей, можно ли в прошлом русской поэзии найти традицию более прекрасную и жизненную, чем та, которую воплотил во всем, что им было сделано, Александр Сергеевич Пушкин. Нет спора — следовать ей невероятно трудно, но необходимо. Это провозгласила Блок, сказав «нам внято все», подтвердил Маяковский, сказав о долге «перед всем, про что не успел написать». Самая решимость двигаться в этом направлении — добро!



**Александр
МИХАЙЛОВ**

Несмотря на довольно жесткое определение традиции как исторической преемственности идейно-эстетических достижений искусства прошлого, а еще ближе к терминологическому значению от латинского *traditio* — как передачи их искусству настоящего, — в живом опыте мирового художественного развития традиция понимается и воспринимается более гибко. Хотя бы уже потому, что традиция, воспринятая в чистом виде, означает застой, колен развития.

Разумеется, ни одно явление искусства не возникает на голом месте, игнорируя художественный опыт человечества, это школьная истина. Но любая традиция имеет смысл тогда, когда она не подчиняет себе художника, не держит его в рабской зависимости, а дает ему прочную основу для роста, движения, поисков. Рабское следование традиции плодит эпигонов.

Да, конечно, традиции — это не только и даже не столько форма художественного освоения мира, сущность их — в глубине содержания, в комплексе идей, в мировоззрении художника, в социальной направленности его творчества. Но, согласитесь, с тем пор как советские писатели обединились на общей идейно-политической платформе, ссылки на традиции в этом плане не стали иметь прежнего значения.

Почему, например, в качестве продолжателя традиций свободоловливой лирики Пушкина некоторые эстетиканы называют Маяковского, а не Асеева, Тютюкина, Светлова, Смякина, Евту-

шенко, Рождественского или других советских поэтов? Где те особенности, которые бы говорили о большей близости Пушкину Маяковского, а не тех, кого я назвал и еще могу назвать?

Уж если говорить о близости двух великанов русской поэзии, то она, пожалуй, более всего в их страстном стремлении обновить традиции, опровергнуть те из них, которые тормозят развитие искусства. А нам твердят, что «в области традиций поэтического языка нет прямой связи между ними».

Есть! Есть глубинная связь, она в том, что оба — Пушкин и Маяковский — решительно обновляли поэтический язык. И это как раз традиция, предиктивная всем ходом жизни и развития искусства, а отнюдь не формальная.

Советская поэзия, в самых своих истоках явление новое, тоже впитывала в себя художественный опыт прошлого, но какие материалы нового содержания и новой выразительности внесла в искусство художники-революционеры! Этот опыт и сейчас еще питает и вдохновляет новое поколение писателей, живописцев, скульпторов, режиссеров, музыкантов, он таит в себе огромный заряд революционной энергии.

Если говорить о поэзии, то, мне кажется, сегодня это та область художественного творчества, где традиции сдерживают развитие. Я говорю и об идейно-тематической ограниченности, и о монотонности канонических форм, в которых она застряла, и о медленном обогащении ее новой выразительностью.

Намеренно заостряя ситуацию, я все же хочу быть правильно понятым: у нас есть прекрасные, тонкие поэты, пишущие в традиционной манере. Но нельзя же, чтобы все поэты писали похоже!

Сейчас стало чуть ли не признаком «хорошего тона» устраивать критические разносы Вознесенскому. Да если бы не было Вознесенского, еи-богу, его непременно надо было бы выдумать! Ныне он чуть ли не единственный раздражитель для консервированных вкусов. И пусть себе продолжают ревнители «традиций», пусть плодят эпигонство, время все поставит на свои места. Настоящая поэзия рождается там, где творчеством сопутствуют поиск, проба, дерзость, риск. В области же чистописания больше школьной «пятерки» никто ничего не добивался.

«Анкета» ставит вопрос: что дорого нам в русской поэзии? Я не буду повторять всех тех главных оценок и характеристик, которые заслужила русская классическая поэзия своим вкладом в развитие духовной жизни народа. Это всем известно. И уж коли я заострил внимание на новаторстве, обновлении традиций, то еще раз скажу об этом.

Державин, Пушкин, Некрасов! Вот поэты прошлого, у которых надо учиться отношению к традициям. Сохраняя пиетет к художественному опыту предшественников, ни в коем случае не игнорируя его, развивая лучшие их достижения, они в то же время бросали вызов отжившим традициям, сокрушали медные лбы литературных староженов держкими ноциями в содержании и форме, резко меняли взгляд на поэзию вообще.

Пушкинской традиции сегодня присягают многие, именем его клянутся, а вот об этом — о Пушкине-новаторе, разрушителе консервативных традиций, о революционном характере его творческого опыта — помалкивают. Еще бы — это труднейшая и рискованнейшая традиция великого национального гения..

Владимир Гусев



1. Понятие традиции чрезвычайно важно в нашей поэзии и вообще литературе последнего времени. Мы сейчас живем с непрерывной оглядкой на XIX век — на большую и малую классику и на более позднее литературное развитие. Колоссальный опыт исторической жизни нашего века требует «обновления» вечных ценностей, размышления о сути и назначении человека, об основном характере и тенденциях родной культуры, и все это неизбежно обращает наши взоры «назад», к «классике», как раз пристально занимавшиеся нужными нам сейчас вопросами и разработавшие исходные поэтические формы для современного творчества. При этом, конечно, все-таки не может не учитываться плотный стилизованный опыт поэзии XX века.

Надо еще иметь в виду взаимодействие нашей поэзии с мировой современной поэзией. Маяковский влиял на латиноамериканскую поэзию, а Гильен и Неруда, в свою очередь, — на некоторых наших поэтов. Примеры, конечно, можно умножить.

Все это хорошо, но, однако, современной нашей поэзии, особенно молодой, угрожает не столько Сцилла языкованости, сколько Харифа вторичности, то есть резкого, неадекватного преобладания традиции над оригинальностью, артистизмом.

У нас можно встретить много поэтов, толкующих о вреде традиции «я всякой вообще теории» для поэта; однако те же самые поэты порою грешат, так сказать, чрезмерной традиционностью. Дело в том, что вторичность часто приходит не с того конца, откуда ее ждут... Всякая большая поэзия рождается на перекрестке традиции и оригинальности: мне кажется, многим нашим нынешним поэтам (как и прозаикам) не хватает именно второго. Каждый «пристронлся» к какому-либо известному или (что чаще) менее известному для широкого читателя поэту давнего или недавнего прошлого и с комфортом идет пробитой дорогой.

Причины тут разные.

Из чисто стилизованных причин, касающихся поэзии, назову такую простую, как невиданная огромность и разнообразие опыта нашей поэзии XIX—XX веков. Этот опыт невольно давит на плечи авторов, и если плечи не так уж мощны — сгибает их.

Другое дело, что крупная индивидуальность способна переплавить в себе любые чужие мотивы, реминисценции; Пушкин полон «цитат» из Байрона, В. Скотта, из Шекспира, Лермонтов — из Байрона, Пушкина и даже из Марининского, но это им не мешает: органический талант пересиливает «цитаты», она входит в его планетарную систему, в атмосферу.

Но такие рискованные «штуки» может позволить себе лишь редкая и сложившаяся индивидуальность; если этого нет, все рассыпается под напором чужого звона и нитонации.

Так что, мне кажется, традиция у нас сейчас несколько возобладаала над новизной — иногда, как видишь, даже «недиалектически».

2. К сожалению, наша поэзия (и особенно проза) до сих пор не использует всей полноты возможностей, предоставленных классикой. У нас и теперь еще крайне живучи разные предрассудки и расхожие, но неизвестно откуда взявшиеся мнения, что положено и что не положено в русской литературе. Пушкина, который написал и «Вакхическую песню», и «Бесов», и «Дубровского», понимают иногда однозначно и плоскостно: «простота», «ясность» и пр. В заgone романтической и традиции русской лирики, о которой говорят больше теоретики, чем поэты. Недостаточно разобрались, мне кажется, в таком колоссальном явлении, как Державин с его стилистикой шекспировского склада.

Аналогию и в прозе: по-прежнему есть линии Чехова, отчасти Толстого, Глеба Успенского и даже Златовратского, Засодимского, Мамин-Сибиряка и пр., но, мне кажется, такие достижения большой русской прозы, как «страшные» повести (а не только «Ревизор» и «Мертвые души») Гоголя, Достоевский, во многом даже... Толстой, а также В. Ф. Одолевский, Гаршин, почти уже отстраненный от русской литературы талантливый и яркий Марининский, стилистически все еще недостаточно усвоен современной нашей прозой, да и редакторами.

Я поэтому говорю и о прозе сразу, что, в общем, это единый процесс; мне все кажется, опыт нашей литературы за последние 200 лет гораздо шире, богаче, чем мы его практически видим, интерпретируем.



Станислав РАССАДИН

У Тютчева есть строки: «Счастливы в наш век, кому победа далась не кровью, а умом. Счастливы, кто точку Архимеда умел сыскать в себе самом».

Обещая перевернуть Землю, если ему дадут точку опоры, Архимед ничем не рисковал: в небесной механике такой точки нет. В литературе перевороты возможны, потому что в ней точка Архимеда есть. Это традиция.

Художник должен сыскать точку опоры в своем искусстве, «в себе самом»: в нем должно сойтись то, что называют новаторством (желание и способность выразить себя, свой век), и то, что называется традицией, которая отнюдь не сводится к кругу образов и ритмов, но является традицией поисков идеала, борьбы за непрерывность духовной жизни, связи с жизнью.

В нашей сегодняшней поэзии, мне кажется, опаснее не самоцельное экспериментаторство (оно себя в достаточной мере скомпенсировало, и вчерашние «озорники» нынче хотя бы выглядят примерными традиционалистами), а эпитон-

ство, которое заимствует обаяние у традиции. Мода на старомодность.

Эпигонство или, мягче выражаясь, вторичность не только историко-литературное явление. Тем более, что эпигон даже не всегда следовал за гением. Случалось и обратное.

Допустим, подчеркнуто демократический стиль Гоголя была естественной реакцией на расширение читательского круга. Но почувствовалось это было до Гоголя. И не только Вольгастом или Наречным, писателями серьезными; основным чтением и при Гоголе были романы Булгакина или даже Александра Амфиmocива Орлова. Они его обогнали!

Беда лишь в том, что Гоголю приходилось не опираться на таких предшественников, а бороться с ними. Ибо они совершали, так сказать, предварительное опомнение материала, стиля и темы. Они почували, что нужно читателю, и поспешали к нему со своими домашними средствами.

Старый пример обижает ту истину, что эпигонство еще и эстетическое понятие. Даже этическое.

Дело не только в том, что эпигон—вольно или невольно—рассчитывает на человека, читавшего Пушкина, Некрасова или Фета и, стало быть, способного радостно отозваться на знакомые образы и интонации (что поделает, одно напоминание о хорошем уже приятно). Дело и в том, что все люди остро переживают вечные темы—любь, разлуку, смерть... И тут поэту особенно легко создать себе (да и нам, вот что хуже!) иллюзию творчества и духовной жизни. Он эксплуатирует наш духовный опыт, полагая, что обогащает нас.

В этом смысле вторичность безразлична. Что же касается уточнения понятия отечественной традиции, то это прежде всего Пушкин. Не как образ, но как оселок. Как критерий. Его гармония в последние годы подвергалась ряду перектовок: ее объявляли наивно-античной, приравняв к тишине, к ирраве. Хотя в трагически-безвыходном «Медном всаднике» гармония куда истиннее, чем в ранних пушкинских вещах, в полной томления «Леде» или в беспечальных «Пирующих студентах», именно в поздней поэме она предстает не только как счастливый дар небес, но как завоевание, как удивительная способность Пушкина, не закрывая глаз на несовершенство мира, сверять его с совершенством, вводить в постоянную систему нравственных координат.

В отчетливом свете Пушкина видна нелегкая цена гармонии. И трудность ее — даже для больших поэтов.

Одно из известнейших стихотворений Фета рассказывает о том, как юный и влюбленный поэт наблюдает через окно за похоронами ребенка: «Струился теплый ветерок, покровы колыхая, и мне казалось, что душа парила молодая... За гробом шла, шатаясь, мать. Надгробное рыданье! — мне не казалось, что легко и самое страданье».

Сравним эти строки с фетовской «Музой»: «...Страдать! — Страдают все — страдает темный зверь, без упования, без сознания, — но перед ним туда навеки закрыта дверь, где радость теплится страданья».

Стихи разделены тридцатью годами, но разница не хронологическая. Казалось бы, путь от легкости, с какой воспринято страдание, к радости—путь естественный. Однако нет. «Легкость» — это освобожденность от сострадания, какими бы просительными причинами она ни объяснялась: влюбленностью, юностью, погруженностью в соб-

ственные умиротворенные переживания. «Радость» — это мучительная и необходимая причастность к страданию, здесь есть родство с Достоевским и Блоком («Радость-Страданье» в драме «Роза и Крест»), совестившимися художниками.

А ведь это Фет! Как же серьезно нам нужно созывать нравственную труднодоступную высоту классической традиции!..

К счастью, лучшие поэты ее создают. «Везде холера, всюду карантин, и отпущения вскорости не жди», — жестко рисует Д. Самойлов болящую осаду Пушкина. И все-таки: «Но почему-то сны его воздушны, и словно в детстве—бормотанье, вздор. И почему-то рифмы простодушны, и мысль ему любая не в укор». Почему же? Вероятно, все по той же причине: счастья и легкости поэта — его победа над тяжестью. «И заплодоточи плпши, и сны заплодоточи, и будь счастьем, и бормочи по сие! Благодаренье богу — ты свободен, свободен — в Болдине, в карантине...»

Тут есть понимание Пушкина, рожденное всем долгим опытом русской поэзии. А ведь даже умнейшие пушкинские современники писали: «Я был у Жуковского, провел у него часа три, разбирая непонятные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, восве новых и духом и формой. Все последние пьесы его отличаются — чем бы ты думала? — силой и глубиной» (Баратынский—жене).



Адольф
УРБАН

Я не представляю новаторство и традиции как некое «соотношение». Ведь неизвестно, что с чем и в какой степени соотносится. Можно подумать, будто кто-то когда-то определял, что — в точности — есть новаторство, что есть традиция в коренном значении этого слова! И остается только решить, какова должна быть мера соотношений между ними. Темпы прироста, так сказать.

Шкала «соотношений» настолько подвижна, что тут даже люди одних и тех же вкусов дадут разные ответы. Ведь для одних идеальная традиция — Пушкин, для других — Кольцов, для третьих — Некрасов. Соответственно идеальное новаторское соотношение с традицией, скажем, А. Твардовский, А. Прокофьев, М. Исаковский. Но ведь есть еще традиция М. Лермонтова и новаторство А. Блока, традиция Ф. Тютчева и новаторство Н. Заболоцкого...

Включая же новую шкалу времени, мы откроем, что есть и традиции А. Твардовского, А. Прокофьева, А. Блока, Н. Заболоцкого...

А если слегка усложним задачу и назовем традиции В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака, А. Ахматовой? Есть уже в русской поэзии и такие традиции! И есть попытки не следовать, то есть новаторски продолжать и развивать.

Говоря же более узко, например, о стихе, нам придется заново перекрыть пропорции соотношений: Пушкин и Кольцов, Твардовский и Прокофьев, Пастернак и Ахматова, Маяковский и Есенин, — соседствуя, окажутся далеко не в близких родственных отношениях!

Еще меньше на вопрос о «соотношениях» отвечает «точное» стиховедение. М. А. Гаспаров, например, в книге «Современный русский стих» цифрами опровергает аксиоматические предрассудки, что «при Пушкине в русской поэзии господствуют ямбы», «при Некрасове расцветают анапесты и другие трехсложные размеры». «Расширил круг привлекаемого материала сколь можно больше», то есть заодно с некрасовскими подкапывает стихотворные размеры туманских, шерешневичей и др. им подобных. М. А. Гаспаров констатирует, что «господство» не было и не могло быть. Туманские не позволяли. И в самом деле, туманских было много, Некрасов — один. И, разумеется, чем больше мы расширим «круг привлекаемого материала», чем «объективнее» подкапываем, тем скорее растворится новаторский стих Некрасова в неразличимости эпитетов.

Я глубоко уважаю точную науку, в том числе и стиховедение, — говорю это без всякой иронии. Я хочу только подчеркнуть, что оно на наш вопрос тоже не отвечает. Некрасовскую эпоху мы продолжаем мерить Некрасовым. И эстетически для нас все равно продолжают преобладать трехсложные размеры, потому что слух нас прежде всего их выделяет. Преобладанию этому только в том случае будет положен конец, если мы отвергнем Некрасова, перестанем слышать, понимать, любить его музу «мести и печали».

Если же говорить о традициях по существу, то есть говорить не о словах, рифмах мужских и женских, размерах, постоянных эпитетах, то главной традицией русской поэзии всегда была поиск смысла жизни, ее сокровенной правды, постижение, понимание, мироучастование, мировоззрение.

Она всегда стремилась вглубь — в неизведанное, нерешенное, неизнанное, непойтаное, невыраженное. В общественном, философском, нравственно-психологическом смысле.

Всегда была на пределе возможного. Постоянной — традиционнейшей — в этих напряженных исканиях истины, правды, сути, обновления. А потому одновременно и новаторской, оттого что всегда открывала и проявляла — по-пушкински, по-лермонтовски, по-блоковский — то необходимое, без чего жить нельзя. Эта ее необходимость (не роскошь, не то, что может быть и не быть, способно развлечь, позабавить) тоже традиция. Но она же и новаторство, потому что питает решающие потребности духа. Важна для общественного самоопределения, самосознания, нравственного мироустройства человека. А тут не обидешься набором правил и форм этикета, тут дай слово, дай понимание того, что до сих пор было неясно и непонятно. Или понято не до конца, неправильно, неполно.

Этими утверждениями я хочу продемонстрировать безразличие поэзии к форме, стилю, слову. Напротив, русская поэзия очень выразительна, она в этом смысле тоже новаторская поэзия. Потому что в основе ее не просто поиски стиля, но стиля мышления, поведения образа жизни. А это не выражали первым приходившим на ум словом, первой рифмой или фразисной риторической фигурой. Тут надо зачесть отсыре-

вшее слово, возвести его в новый смысловой ряд, заставить выражать красоту нового мироощущения.

Я решительно не могу назвать индивидуальную поэтическую традицию, которой можно было бы ограничиться или следовать по преимуществу. Повальное следование кому бы то ни было приносило больше поражений. Чем успехов. Вспомним эпитеты Пушкина, ошамивших его романтические темы и поэтику. Вспомним провинциальные надосновские десятилетия, подстроившиеся к некрасовской традиции. А «подкапывали», а «сенсибилизируют!» Сегодня названным шумовым фоном становятся обаятельнейшие интонации Пастернака, расхванные разными стихотворцами.

Выбор в русской поэзии удивительно широк. Мне даже кажется необязательной принадлежность к поэзии «традиционной» или «новаторской», «городской» или «деревенской», «тихой» или «громкой», «чувствующей» или «мыслящей», потому что «соотношения» между ними условны. Да и принадлежность к тому или иному «фасону» еще мало что говорит. Бездарный тенор не лучше бездарного баритона, так же как банальная идея не привлекательнее взвизгнувшей чувствительности.

Поэзия в конечном счете сосредоточена вокруг человека, рождена тем, что он хочет и может сказать.

Бывает, что хочет, но не может. А говорит много, настойчиво, но скудно и неинтересно, на что бы ни претендовал, на пафос ли, на интеллектуализм, на непосредственное чувство.

Поэзия начинается с открытием на тех неизведанных тропинках нашей умственной и нравственной жизни, без которых потом трудно жить, которые страшно потерять. Представьте, что у нас не было б, не скажу Пушкина, этого нельзя представить, но Баратынского или Аполлона Григорьева!

Самая великая традиция русской поэзии — ее человеческое содержание. По отношению к этой традиции можно быть сколь угодно традиционным, потому что богатства ее неисчерпаемы. И сколько угодно новатором, потому что никому не возбранно увеличивать это содержание бесконечно. Тут главное — быть, хотеть, мочь.



Владимир
ОГНОВ

Я не подвожу итоги обмену мнений. Я просто рассуждаю последним и, как работник редакции, имею преимущество: все ответы на анкету мне известны, в то время, как другие участники разговора такой возможности — ознакомиться с доводами собеседника — не имели.

В неподготовленности заочной беседы есть свои преимущества. Учитывая предвзятый характер участников, опытных критиков современной поэзии, разницу в подходе к явлениям, многосторонность охвата обсуждаемой проблемы,

можно сказать, что картина, которая парисована в ответах на анкету, вполне объективна и отражает реальное состояние современной русской поэзии и критики. Она, думаю, дает обильную пищу для размышлений нашему читателю.

Почему мы решили начать разговор о русской поэзии наших дней с проблемы традиции? Потому, во-первых, что по целому ряду общественно-исторических причин поэзия наша и в самом деле переживает эпоху синтеза, разностороннего освоения традиции. Это бесспорно. Но вот насколько глубоко осваиваются эти традиции и какие именно традиции активно влияют на современных поэтов, об этом и интересно было узнать из ответов на анкету.

А. Урбан указывает на диалектический характер понятия традиции, подвижность, так сказать, самой шкалы: для нас не только XIX век, но и XX век русской поэзии—традиция! И, по-видимому, добавлю уже от себя, конструктивный подход к теме начинается там, где мы пытаемся конкретно рассматривать сущность разных традиций—идейно-эстетических, не формальных, конечно,—их реальный вклад в формирование современных течений и направлений русской поэзии.

Возьмем Пушкина. Не случайно почти в каждом ответе найдете вы это имя. Но, как правильно отмечает Ст. Рассадин, «его гармония в последние годы подвергалась ряду перетолкований: ее объявляли наивно-античной, приравнивая к тишине, к кириване... В отчетливом свете Пушкина видна нелегкая цена гармонии. И труднодоступность ее—даже для больших поэтов». А многим, особенно молодым поэтам, показались, что традиция Пушкина лежеслеступна. Что ищут в античности, тишине, презрели. Что ищут «тишайности» и есть возмущение к Пушкину. Нет, долгий опыт русской поэзии действительно страдал иное понимание Пушкина—как начала традиции жизнестности искусства, смелости обращения к самым насущным проблемам современности, отваге идти непроторенными путями.

Я думаю, что прав В. Гусев: «опыт нашей литературы... гораздо шире, богаче, чем мы его практически видим, интерпретируем». И, в то же время традиция не всеенская смаз, где все на что-нибудь стодится. Эклетики—стилевая, да и не только—и идейная—вовсе не признак ренессанса (проснулись, спохватились, наконец, осваиваем и Фета и Филарета), а живая «ось» духовной необходимости, современной, продиктованной нуждами нашей эпохи, наших идеалов, нашей потребности в той или иной традиции. Дело-то только в том, что, чем богаче потребности, тем глубже зачерпываем мы в колоде этом, поистине бездонном... А Пушкина и Фета часто стали беспокоить явно по пустякам.

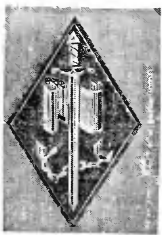
Тут самое место поддержать тех, кто озбочен иудивленным подходом к традиции. Акцент на новаторстве, на чувстве живой жизни, приоритете нового содержания,—а в этом парос и Ал. Михайлова и В. Гусева,—поддержка и Ст. Рассадина, когда он говорил о безнравственности элигности, и И. Гринбергом, указавшим на опасность «самозигности», останки в развитии поэта. Нельзя не согласиться с мыслью В. Перцова: «Русская поэтическая традиция — это пушкинское, которому нет предела. Нужно ли новые явления русской поэтической мысли, вызванные к жизни небывалым, и ранее невозможным стечением обстоятельств

самой истории, «прикреплять» к тем или иным, пусть самым гениальным представителям искусства слова? Без них мы были бы немые. Но только от нового поэта я узнаю о моих современниках то, что никаким другим образом не дошло бы до меня...» «Прикреплять» — не значит восстанавливать истоки преемственности (это, разумеется, необходимо в критике), это значит сводить новое, певданное к старому, уже бывшему... В зботах о ложно понимаемой устойчивости опыта возвращаться назад, смотреть назад, оглядываться на пройденное, благо так и безопаснее и... величественнее выглядит самая банальная твоя мысль. Элигности и в самом деле «занимствует обаяние у традиции» (Ст. Рассадин). Мода на старомодность в поэзии ничуть не лучше моды на старую мебель. И там и здесь по-претель и защитник один—мещанство.

Хотя, больше по привычке, чем по убеждению, некоторые критики и оговариваются, что не «понимают» или не принимают разговоров о «соотношении» новаторства и традиции, оно, это соотношение, есть в практике поэзии. И смысл ответов на анкету «Юности» как раз и сводится к тому, что при всем положительном значении широкого обращения современной русской поэзии к традициям, вместо глубокого синтеза богатейшего опыта, в ряде случаев, имеем перед собой односторонние и элигонские попытки свести традицию к «тихим» или «тишайшим» нотам душеустройной философии (мелкой на мелком месте), к отказу от новаторства в самом полном и точном смысле слова.

Между «небывалым ростом числа поэтов» и иждивенческим отношением к традиции есть прямая связь. Все «похожее» на классику странно не печатать. Если поэт остается с глазу на глаз с живой действительностью, неудачно, или немело выраженной в стихе,—он извнмее, его слабость легче «распознает» критика и читатель. Так одно порождает другое: элигности уводит от жизни, а забвение жизни плодит...количество, дуное количество внешне «культурной» графомании.

При всех успехах нашей поэзии мы обязаны видеть эти ее слабости. И хорошо, что разговор о традиции привел нас к вопросу качества, истинности поэзии.



ДЖОН БРАУН. ВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬ

Второго декабря 1859 года в городе Чарлстоне, штат Виргиния, США, был по приговору суда присланных публично повешен Джон Браун — белый руководитель восстания во имя освобождения черных рабов.

Повесть Раисы Орловой «Поднявший меч» (издательство «Политическая литература», 1975) опирается на многочисленные документальные источники, точно воспроизводит подробности американского действительности середины прошлого века.

Едва ли не главное достоинство книги Орловой в обаянии обществен-

ных корней, питавших дело Джона Брауна — нарастающего сопротивления рабов, надвигающейся экономической необходимости свободного обращения рабочей силы, схватки раздиравших американское общество абolicционистских и расистских идей.

Наиболее, пожалуй, удачные страницы книги отведены рассказу о том, как формировался этот удивительный характер, как создавали личность Джона Брауна фамильные свободоблюбивые традиции, врожденное чувство справедливости, острейшее восприятие чужого горя как своего собственного, неукротимое трудолюбие американского пионера — отрывателя, строителя, охотника, землевладельца и т.д. и к знаниям, которыми в достаточной мере он так и не смог овладеть. А кроме того, пуританская строгость нравов, чрезмерная — до необузданности — требовательность к себе и другим и, наконец, религиозность.

Да, он был глубоко религиозен — Р. Орлова много пишет об этом. Но из множества библейских сказаний и евангельских поучений он усвоил прежде всего, что человек рождается свободным, рабство — преступление против человечности и призвание человека — искоренять это преступление.

Этому революционному призыванию он и посвятил свою жизнь, реальный пафос которой совсем не в христианском смиреннии, а в беспощадной борьбе с реальным злом.

В нравственном своем порыве он оказался впереди Времени. Невозможно перескочить через историческую необходимость, это бесспорно.

Только Джон Браун был не из тех, кто ждет. Он, взваливший на свои плечи ответственность за горе целого народа, не хотел давать несраведливости ни одного лишнего дня, ни одной минуты передышки.

Время догоняет опередивших его смельчаков, предаст позору их палачи и оставляет в веках имена тех, кто казался безумцами благоразумным согражданином.

Преждевременно начавшее правое дело остаются одинокими только на какой-то краткий промениток истории. В веках они никогда одинокими не останутся — ни Спартак, ни Мюнцер, ни Рылев, ни Неплюев, ни Делеклюз.

И вместе с ними — Джон Браун, о котором Раиса Орлова рассказала читателю увлекательно и страстно.

С. ГРАВИН

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

Ему исполнилось пятьдесят лет... Незадолго до этой даты он сказал:

Я не хочу, чтоб поздно пришла слава, когда уж не нужна... К чему? То лишь одна растава! К чему на старости она? Но я б хотел, чтоб в час уборки, пред шкафом задержась степенным, мой томик кто-то снял бы с полки и так и не растасялся с ним...

Я встречала таких читателей, винокуровских: «На обложке печатает свой крупный портрет! Не хочу читать такого поэта». На обложке? Жаль, — отвечаю, — Не его — Вас! Книги не раскрыв, не прочтете — это поэт о себе говорит, уронив, не стыдясь, обложку:

Возломаченный похожий на тетерю, и не побит, твержу одно: стихи...

Не вершите суд

Над жизнью всей, вершить ты станешь суд тогда, когда, как тузюхи дагушку, испуганные сестры поднесут под утро кислородную подушку

Думаю, не одной мне томик Винокурова («Избранное», «Художественная литература») был этой «кислородной подушкой». А разве это?

Как зац. ушастье детства С повязанной шарфом шеной.

...Затеряется след? Иль в душе сохранился я, Чей?

Стал я сдержан и в силу разных вещей.

А вот стихи, мне хочется их привести последние. Пусть он скажет о себе сам:

Моя рука

Пусть от меня как бы от пачки пышет Иль стужей — как в рабское окно.

Моя рука, она все то напишет,
Что будет написать ей суждено.
Она все знает и все судило.

В гомоне собранья,
В гостях — душою то злуду,
Она ж лежит покойно в тишине,
Как будто между прочим, —
Стелу...

И в час, когда жена
Знакомых сплавит И
Я у лампы, средь
Белых теней,
Она ведет, и черкает,
И правит,
А я лишь только
Состою при ней.
Я чать ее.

У ней большое дело!
Вновь в дали увеща
Недоглядит...
И знаю я: нет у нее
Предела.

И знаю я: есть у меня
Предел.

Мне кажется, Евгения
Винокурова слишком на-
по знают. Он достоин
большого признания. Это
блудный поэт. Он
своеобразен и скромно.
Это можно проследить и
в его пунктуации. Где у
другого пелали бы по-
строкам многоотия, за-
пятые, он часто ставит
скромную точку. Этим
достигается междуна-
выразительности. Отрез-
ни фраз кованы. Реме он
позволяет себе троить
чиза. Еще реже — разрыв
строки. Маяковский, ко-
торого он чит, понимает,
не полен его за собой,
как столь многих, в раз-
рубенье строк на сту-
пенки. Он серию. Он
лучич — и добр. Слова
ми Павла Антокольско-
го — в нем тои высокого
напряжения.

Пишу, но что-то о нем
не сказано. Не догово-
ре. Не мною — а не дае-
ся в слово! До какой-то
сути его — и творчества
и человека — я не досту-
чалась еще. Хону вокруг,
около. Стучусь.

Есть в этом человеке
как ствол в ели — некий,
скрытый от глаз, стерж-
ень (как в ели: видны
одни ветви — и каждая
сама растет как малень-
кое дерево, хоть и бро-
сана, как распростертые
руки — вбок). Ствол, все
богатство хвоя деревца
огибает, живет в шатре ве-
ток, невидный, но в
нем — жизнь ели. Он дер-
жит ее величелью, из
него струится в ветви
кровь ели, загорающаяся
в солнечном луче — золо-
том смольной капли, — то
я хочу сказать, что в
стихах Винокурова есть
некое лещаче? Да, и это.
Но мне хочется назвать,
чем он лечит...

Опять из природы —
мне приходит другой об-
раз, другое сравнение: о
самой личности поэта
живет некое подобие
кристалла. Немно кри-
сталлизующее все, что

ложится в тетрадь. Мне
думается, этот кристалл
есть доблесть. И каждое
стихотворение горит ею,
как горит, попеременно
всплывая на солнце,
границ горного хрусталя.

Анастасия
ЦВЕТАЕВА

ВОКРУГ СВЕТА

При чтении художе-
ственно-художествен-
ской книги «На
суше и на море» —
ежегодника издательст-
ва «Мысль» — создается
впечатление, что мы по-
падаем в фантастиче-
скую машину времени, с
помощью которой люди
мечтали вернуться к
прошлому человечества,
увидеть, как в будущем
побывать одновременно
в разных местах нашей
планеты и даже за ее
пределами.

Открываем книгу 1974
года и попадаем на борт
«Морского коня» — не-
большого кубинского су-
денца, с веселым и
мужественным экипа-
жем, вышедшего в океан
для участия в состав-
ных по рыбной ловле
на «Приз Эрнста Хемин-
гуэя».

Покинув гостеприим-
ную Кубу, мы перене-
симся на маршрут экзи-
педиции, пытающейся
проникнуть на Сарез-
ское море, затопивший
развалины в результате
грандиозного обвала в
1911 году, завалив киш-
лак Усой с его двумя
стами жителями.

Но вот датский писа-
тель и путешественник
Йоахим Вилс возвращает
нас к отдаленному про-
шлому, знакомым с пле-
менем Вагалам в Кали-
мантане (Индонезия), с
которым прожил не один
день.

Вряд ли история
знаменитой фирмы Ллой-
да, которую некогда владе-
ли в бую эпоху кофены в
XVII веке.

Повесть «След змеи»
В. Зорина переносит нас
в Китай правления Пет-
ра I, когда Россия, про-
бив «онно в Европу»,
стала искать выходы на
южных границах. В 1714
году Петр Великий под-
писал указ о снаряже-
нии экспедиции — раз-
ведать земли окраин
владений русских и со-
единить Волга и Тихий
океан. Петр I поручил
талантливому картографу
и путешественнику, гвар-
дии капитану князю
Александрову Бековичу-
Черкасскому, К. Соколю-
ку и другим офицерам
вернуться. Предательство
одного из проводников
стоило жизни всему от-
ряду. Но Бекович сумел

все-таки проложить свою
тропинку для будущего.
Результатом этого по-
хода была карта Наспий-
ских берегов, самая точ-
ная по тем временам.

Польский натуралист и
писатель А. Бидлер,
американский зоолог
К. Ненсон, известный ав-
тор-анималист Дж. Дар-
релл (в сборнике 1973 го-
да) выступают в альма-
нахе с волнующими эко-
логическими проблема-
ми.

Всякая книга призва-
на прежде всего углуб-
ить и расширить грани-
цы нашего представле-
ния о человеке и окру-
жающем его мире. И лег-
ко понять, почему альма-
нах «На суше и на море»
используется столь не-
обыкновенной популяр-
ностью у читателей. Осо-
бенно — юных. Даже сто-
лбчатый тираж не мо-
жет удовлетворить ра-
стущий спрос на эти
книжки.

В. ШУБИН

МАЛЕНЬКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ЦИРК»

Издание книги (ее
выпустило изда-
тельство «Совет-
ская энциклопедия») аттестует энци-
клопедия «Цирк»? Что это
такое? Книга, несмот-
ря на зыбкий тираж, была буквально в
три дня распродана.

В изыщной и компакт-
ной книжке 375 страниц
и 16 вклей с фотоил-
люстрациями. Авторы — ис-
кусствоведы А. Шнейр и
бывший клоун и режис-
сер, ныне писатель
Р. Славский — вместили
в свой алфавит до тыся-
чи заметок и справок о
цирковых терминах, био-
графиях и др.

Разве не занятно, что
увлекательная поэзия и
эстетическое действие
многих жанров цирка вы-
росли из труда, произ-
водства, физиологии,
спорта, военного дела,
общественной потребно-
сти в сатире и смехе?

Кончение по канату воз-
никло из опробования
его прочности. Трюки на
вершине десятиметрово-
го шеста-перца, баланси-
рование на лбу, плечи
или пося, выросли из
приема древнеперсид-
ских воинов так осматри-
ваться на неустойчивости
Удивляющий баланс на
свободно стоящей лест-
нице и поныне пранти-
руют озорники фруктов
с высоких деревьев.
Спектакль цирка те-
перь монтируется на
стержне клоунады. О ней

и ее многообразии рас-
сказано в статьях про
таких известных клоу-
нов, как дрессировщики
Дуров, музыканты
эксцентрики Владимир
Юрий Костанди (Юрий —
один из первых писал об
эстетическом значении
цирка). А о «звезде ве-
личества народа», как
назвал себя прыгун че-
рез 3 слона, цирковой
Лазаренко, клоунах-аиро-
батах Ирине Бавиловой
и Валентине Файербах,
Виталии Никитиной, Луи-
зине, Цхоменлизе, рано
ушедшем таланте Инги-
барине, солнечном Олеге
Попове — разве это не
интересно?

В клоуновском образе
О. Попова есть черты
первой русской «Клони-
нской» маски смекалистого
Иванушки из народных
сказок, притягивающего
судя по дурному, созданному
средним из братьев Ни-
китиных, Анкимом (1843—
1917) — директором их
развлекательного цирка.

Маленькая энциклопедия
рассказывает, что
цирк не только развлека-
ет, но и обучает.

Цирк — наглядная ин-
формация об окружаю-
щем нас мире предметов
природы, технических
вещей, животных и
птиц. Он показывает уни-
версальную власть над
элементами природы и не-
исчерпаемые возмож-
ности сильной, здоровой,
красивой, изыщно движу-
щейся и не боящейся
риска личности.

Читатель этой уникаль-
ной энциклопедии узнает
и то, что цирк популяри-
зирует достижения тех-
ники, закономерности
физики, химии, естество-
знания и др. Он школа
эстетического развития и
отваги, военно-патриотиче-
ского воспитания, цено-
вой дороговизны, грани-
жизнерадостности и доб-
рого смеха.

Общественное значение
такого элемента цирка,
как акробатика, кратко
выразил К. Маркс: «Видя
бесстрашного акробата в
пестрой одежде, грави-
руемым о себе, чувствую-
ем, что мы как бы воз-
вышаемся над собой, до-
стигаем уровня всеобщих
сил, дышим свободнее».

Маленькая энциклопедия
«Цирк» — вероятно,
первая в мире, свя-
завшая развитие науки
цирководения и творче-
ских достижений самого
нашего цирка.

Г. ПУЗИС



В первом номере журнала «Юность» за нынешний год было опубликовано письмо москвича Александра Мирошкина о том, почему молодежь уходит из деревни, в частности из колхоза «Путь Ильича», Зубцовского района, Калининской области. По просьбе редакции «Юности» на это письмо в том же номере журнала отвечал писатель Н. А. Васильев, живущий в Калининской области. Писатель привел тревожные цифры и факты. В деревнях Зубцовского района только 10 процентов составляют молодежь. Основное население — пожилые колхозники. От имени руководителей хозяйств писатель приглашал молодых людей на работу в деревню. Молодые откликнулись. Стали приходить письма от желающих работать в колхозе. Газета Зубцовского района «Ленинский путь» активно включилась в это дело, напечатала ряд таких писем и корреспонденцию «Дело найдется любому...». В этом номере мы публикуем письмо Александра Кононова из Борисоглебска, который тоже хотел бы работать в деревне, и ответ Н. А. Васильева.

...Земля
тянет
к себе

Уважаемая редакция!

Мне 23 года. Живу я в городе Борисоглебске, Воронежской области. Моя специальность — слесарь-электрик. Заочно учусь в сельскохозяйственном техникуме. Еще не женат, но это должно случиться скоро. В этом году моя невеста кончает дошкольное педагогическое училище. Будет воспитателем. Мы очень любим природу и мечтаем работать в колхозе или совхозе. Как выбрать место, чтобы остаться там раз и навсегда, чтобы получать удовлетворение от работы в любимом крае, чтобы не тянуло куда-нибудь еще, чтобы можно было с полной отдачей работать и хорошо отдыхать?

Много колхозов и совхозов под Борисоглебском. Но строительство в них ведется очень медленными темпами. О благоустройстве и говорить не приходится. Из большинства населенных пунктов весной и

осенью можно выбраться только на тракторе... И уезжают молодые в город. Потому что не удовлетворяет их деревенский быт. Привлекает их городской асфальт на главных улицах и восьмичасовой рабочий день...

Товарищи председатели! Наоборот, ведь должно быть! Село должно привлекать людей необытным размахом полей, алыми зорями и голубыми озерами, свежим воздухом и пением жаворонка. Только сельский быт отталкивает молодых.

А земля тянет к себе... Особенно весной, когда все пробуждается. И никакой трудовой работой нас, комсомольцев, не испугаешь. Было бы только где отдохнуть после работы, повеселиться да в праздник выйти не в тяжелых резиновых сапогах, а в нарядных туфлях.

Товарищи председатели и управляющие! Стройте больше детских садов и яслей (они очень-очень нужны для нас), стройте больше благоустроенных поселков (сколько проектов уже разработано), стройте дороги (нельзя же в период распутицы быть оторванным от города, от той же срочной медицинской помощи). И ваши расходы сторней окупят наши сильные молодые руки. Наш комсомольский задор! Тот же животноводческий комплекс мы поможем построить на комсомольских воскресниках, в нерабочее время! Для себя ведь строить будем, для своей Родины!

С комсомольским приветом

г. Борисоглебск.

Александр КОНОНОВ

ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Письма. На этот раз меньше в журнал, больше прямо в колхоз, с просьбой: «Готовы приехать — примите». Председатель — как снег на голову: и рад и досадует. И нужны позарез и дети некуда. А тут еще свои комсомольцы, подбодренные выступлением журнала, — ультиматум: открывай ясли!

Сергей Романович созывает правление: «Хватало, мужики, забот, еще одна привалила. Добровольцев — куча, что отвечать будем?» Правленцы выслушали письма, сказали: «Зови. Нанищи как есть. Рая покамест не обещаю, но крыша над головой будет».

«Где она, крыша?»

«А вот давай считать. В Мозгове бохосная изба — раз, в Михальках — две, стало быть, уже три...»

Насчитали семь. Купить, подремонтировать — жить можно. Хотя бы временно.

«Ну, а с яслями что?»

«А с яслями — выход один. отдать правление. Пока в клуб переберетесь, там комнатухи есть, а построим ясли — опять по своим кабинетам сядете».

Так решили — так и делать начали.

Я только что вернулся из колхоза, видел: правление переделывают под ясли; приняты первые добровольцы.

Факт, казалось бы, местный, не столь уж значительный, однако попробуем поразмышлять над ним.

Но сначала — письма. Надобно привести хотя бы несколько.

«...Нас в семье пять человек: мать и четверо братьев. Двое старшие уже отслужили в армии. Владимир работает учителем, я, Павел, — трактористом, думаю поступить заочно в сельскохозяйственный, Николай работает токарем, мать, Людия Николаевна, — учительница.

Можно ли устроиться на работу в ваш колхоз, и как к жилищным условиям?»

«...Мой муж, Владимир, 24-х лет, может работать на стройке — монтажником, кровельщиком, имеет несколько специальностей, правда, не совсем сельских, но, я думаю, что и эти специальности вам нужны. Сейчас всходу много строит. А научиться чему-то новому мы всегда рады. Мне 22 года, могу работать маляром, очень люблю животных. Так хочется поучиться от вас письму, в котором нас обоих приглашаете на работу, а не одного мужа, как было всегда».

«...Мы изъявляем желание приехать к вам. Правда, мы не такая уж молодёжь, нам по 34 года, двое детей. Муж работает в трампарке начальником цеха, он специалист по электрооборудованию, а я работаю медсестрой в яслях. Так что гарантирую, что работник ясьей у вас будет».

«...Мне 20 лет. Работую в детсаде воспитателем, заочно учусь в пединституте. Если вам нужна молодёжь, я хотела бы к вам поехать».

«...Муж мой имеет специальности техника-строителя, я окончила два училища, медицинское и музыкальное. Нужны ли вам специалисты такого профиля?»

«...Пишут вам воины-пограничники. У нас давно зародилась мечта: после демобилизации приложить свои силы и умения в сельском хозяйстве. Нас 8 человек, все мы члены ВЛКСМ. Если вы не против принять нас в свою коллекцию, то просим ответить».

«...Муж механизатор, работает слесарем животноводческих ферм, в страду — на комбайне. Я могу работать поваром, продацом, имею строительную специальность, работала также театральницей и дворкой. Как у вас с квартирами?»

«...У меня профессия — воспитатель. Если согласны принять меня, я готова приехать».

«...Я работаю на домостроительном комбинате зам. начальника цеха, жена работает там же мастером. В журнале мы прочитали, что село нуждается в строителях, и думаем, что можем пригодиться».

«...Прежде чем написать вам, я много думала и все же решилась. Я думала ехать в свой колхоз, но неудобно, скажут, вот нажилась в городе, а теперь домой. В городе я уже почти 10 лет».

«...У нас в семье три работника. Как приехать к вам? Еще напишите, чем занимаетесь ваш колхоз. Мы слышали, что на Волге не родит ни пшеница, ни картошка...»

Это наиболее характерные выдержки из писем. По ним можно судить, что: по-первых, кончилась «боязнь» деревни. Кончилась неуменно-пренебрежительное, трамвайное «Эй ты, деревня, куда с мешком прешь?» Но... Обратите внимание на два последних письма. «Мы слышали, что на Волге не родит ни пшеница, ни картошка... И — «Я думала ехать в свой колхоз, но неудобно, скажут, вот нажилась в городе...»

Не в городе, нет, а в самой деревне держится — и живучее, черт бы его побрал! — мнение, что стоящий человек непременно бежит из села, и уж коль возвратился, значит, ни на что не годился. Да добро бы только старушки судачили, а то нет-нет и учитель попрекнет ученика: «Тебе только в деревне жить» — и председатель в досаде махнет рукой: «А, что ты с них хочешь — поскребшиси!»

Я с великой радостью читал письмо солдат-пограничников и хочу сказать им: «Спасибо, ребята! Даже

не то ценно, что вы готовы руки свои приложить к нашей земле, ценен сам факт вашего приезда». И начальник цеха трамвайного парка, и воспитательница тахтентского детсада, и мастер домостроительного комбината, и женщина, имеющая медицинское и музыкальное образование, приславшие в колхоз письма-заявления, сами того не ведая, бьют по главному (я считаю главному!) нашему «противнику» — междоумию, представлению о деревне.

Ну, а что касается того, родит ли верхневолжская земля пшеницу и картошку, скажу: родит! Все она родит, наша земля. Может, не в пример кубанской, но все же и 40 центнеров пшеницы даст и картошки по 200 — по 300. Не везде, правда, ну так это от человека зависит, не от земли. У доброго хозяина плохой нивы не бывает;

во-вторых, изъявляю желание ехать в деревню людям самым что ни есть городским специальностям. Это значит, что деревня наша по социальному уровню все больше приближается к городу. Нужны и воспитатели, и музыканты, и повара, и специалисты по электрооборудованию... Легче назвать, каких не нужны;

в-третьих, едут семьи. Следовательно, всегда. Это не любители «кошечки романтики», а осторожные на подъем люди. Значит, надежные;

в-четвертых, девушки едут! Невесты. Не улыбайтесь, проблема невест не исчезла, парни все еще ходят неженатыми.

Начиная эту статью, я сказал: председатель и рад и досадует. На что досадует?

Да на то, что не может написать в ответах трех слов: жилье есть, приезжайте.

Что сказать Александру Кононову, приславшему письмо в «Юность»?

Строим. Саша, Маю — да, не на современном уровне — да, но все-таки строим. Пытаемся заткнуть брешь, а она не уменьшается — растет.

Причин много. Жилой фонд в нашей деревне старый, избы рублены после войны, наскоро, из того, что было под руками. Сейчас коренной сельский житель, который никуда не убежал и бежать не собирается, все чаще поглядывает на свою избу и качает головой: «Что мне с тобой делать, старуха? Ума не приложу». Переписать, перебрать? Где взять лесу, плотников? Да и стоит ли овчинка выделки? Ведь 70—80 процентов наших деревень схемами районных планировочных отнесены к неперспективным. Заново строить тут нельзя да и резону нет: производство концентрируется в центрах, на работу ходить далеко.

Коренной житель доживает в старом избе и ждет не дожидается, когда придет очередь на квартиру. Надо сказать: пока еще ждет. Но у некоторых терпение лопается, и они из неперспективной своей десятидворки прямоухонно перебираются в город: «Все равно ждать, так уж лучше городскую». А председатели колхозов, поставив на центре двери избы в год, гадают, кому дать: и коренному надо бы, и приезжему под открытым небом не оставить. Весы перетягивают в сторону последнего.

Такая ситуация складывается в большинстве верхневолжских хозяйств. Пополнение рабочей силы возможно только со стороны, своих резервов нет. А приезжему, прежде чем нарядить его на работу, дай жилье. Может, он и «денежный», купил бы что-нибудь подходящее или построил бы, да денег-то и не из чего. Следовательно, колхоз, если хочет принять нужных работников (а он, конечно, хочет), должен иметь общественный жилой фонд.

Почему же так мало строим? Ну, во-первых, «мало» относительно лишь к потребностям. Такого размаха строительства, как сейчас, наша деревня еще не

знала. Однако размах этот имеет явно выраженный крен в сторону производства. Фирмы, тока, мастерские, склады, перерабатывающие предприятия — это в первую очередь. Жилье — во вторую.

Только что попался на глаза любопытные цифры. Они имеют прямое отношение к нашему разговору. В 1975 году программа Министерства сельского строительства СССР составляет почти пять миллиардов рублей. А «жилищная» часть программы — всего лишь 19 процентов. Притом сюда входят и жилье, которое предприятия Министерства возводят в районах. Доля «райцентровских» строек в действительности немалая, и на местах им отдают предпочтение и плановики и строители. Строители, те вообще предпочитают городские объекты сельским: близко, удобно, выгодно. Я не называю конкретные адреса, потому что их множество, загляните в любой район — убедитесь. Но одновременно убедитесь и в другом: «райцентровские» объекты тоже пужны... колхозам. Обстраиваются меллораторы, ремонтники, строители, дорожники, заготовители, то есть те, без кого колхоз никак не может обойтись. Значит, и в районах надо строить, особенно сейчас, когда концентрация сельскохозяйственного производства вплотную подходит к стадии «общерайонной».

Все это, однако, не оправдывает Девятнадцать «жилищных процентов». Мало! Потребность велика, она нарастает, и долю жилья в строительных планах надо увеличивать. Иначе получается не рост производства, ради которого стараемся, а «омертвление капиталов». Уже возведены в некоторых наших хозяйствах крупные животноводческие комплексы, которые или вполсилы работают или вовсе не пускаются, потому что запоздали или забыли построить дома для людей.

На мой взгляд, ошибка эта проистекает из устаревшей представления, что, дескать, в старых, обжитых районах можно как-то обойтись, живут же ведь люди и еще проживут, так что с квартирами можно погодить, а вот фермы — это неотложно, это — главное, это наша программа. Увы, «годить» больше нельзя. Жилой дом должен открывать титульный список строительства. Квартира сегодня становится главным «производственным фактором». Не понимать этого могут только люди, давно не видевшие нашей деревни.

Такое положение, Саша Кононов. Я понимаю: ваше обращение к председателю «Стройте побольше жилья!» продиктовано искренним желанием помочь делу, но, извините меня, оно все же не совсем по адресу. Я не знаю ни одного председателя, ни одного директора, который отказался бы от строительства домов, яслей, столовых, дорог, клубов. У нас таких нет. У нас велики потребности, велико желание, но ограничены возможности.

Вам, Саша, и всем, изъявляющим желание приехать в Нечерноземье, надо это ясно представлять, чтобы не быть капризно требовательными: «Мы приедем, если у вас есть благоустроенное жилье, ясли, асфальт, возможности культурно отдохнуть». На меня, всю жизнь прожившего в этих краях, такие условия производят, мягко говоря, неприятное впечатление. И на коренных жителей, смею заверить, тоже.

Вам надо ясно представлять, что нечерноземная деревня оказалась в трудном положении, стала как бы второй целиной не от лености или нерадения «дешних земледельцев, а потому, что мы в свое время отдали и отдаем лучшие, молодые свои силы индустриальным гигантам страны, на восстановление разрушенных войной городов и заводов, на освоение необжитых земель, на индустриализацию и рас-

цвет национальных республик. И поэтому не успели приготовить «благоустроенный на современном уровне быт».

Это надо ясно представлять комсомольцам. Надо идти в деревню и строить дорогу, строить магазин, пекарню, ясли, дома, создавать своими руками этот «современный быт». Тогда честь и хаала вам!

Теперь вернемся в «Путь Ильича». Сергей Романович Ильин всем добровольцам написал истинную правду: вот так мы живем, не пугает вас, приезжайте, будем рады. Приехал Владимир Федоров и уже работает механиком, приехала Александра Греблевская и работает кладовщицей, дали согласие приехать солдаты-пограничники. Это отрадно.

Ильин и члены правления отлично понимают, что они показывают своего рода пример — найти возможность сейчас, сегодня принять добровольцев. Взяли на учет все бесхозные избы, «пожертвовали» зданием правления, взяли в аренду свободное общежитие местного училища. На первый случай неплохо. Будут люди — можно развернуться.

Найти возможность... Это уже целиком зависит от нас. В Борках, на центральной усадьбе колхоза, есть профучилище. Его закрывают. С сентября прекращается финансирование. Много лет не отпускаясь денег на капитальный ремонт, постройки старые. Но все же колхоз согласился купить их. Но пока суд да дело, Ильин просит директора Павлова сдать в аренду пустующее общежитие. И вот идет разговор.

В кабинете Ильина сидят секретарь райкома партии, начальник райсельхозуправления и вместе с председателем ведут с Павловым переговоры об аренде. У Павлова ответ один: «Я не решаю. Говорите с моим начальством, прикажут — сдам». Звонят начальнику областного управления профтехобразования Чувев. После долгих уговоров Чувев согласится сдать в аренду общежитие... на 5 человек.

— Это же насмешка, — возмущается председатель. — В общежитии три комнаты на 30 человек каждая и совершенно пустует. А он — пять! Сказал бы хоть — одну комнату.

Чувев категорическим тоном отдает распоряжение директору:

— Разрешаю только на пять. Тридцать ни в коем случае.

Может, об этом не стоило бы и писать, если бы оно было по какому-нибудь другому случаю. Но коль речь идет о благородном стремлении людей принять участие в подъеме нечерноземной деревни, то подобное отношение нетерпимо.

В таком деле не должно быть равнодушных!

Иван ВАСИЛЬЕВ

Калининская область.

Игорь Кохановский



И девочка одиннадцати лет
из дружбы с куклой делает секрет
и шьет тайком ей платьица из ситца...

Она играет редко с ней.
Сидится.

Еще вдали та зрелая пора,
когда ее любимая игра,
игра всех девочек времен всех —
в дочки-матери —
останется смешной страничкой в памяти.

Еще льняные волосы хранят
неповторимый детский аромат,
но в ней уже неясное, как таинство,
другое что-то робко зарождается.

Так деревце в преддверии весны,
еще не ведая шуршания листьев
и утопая, словно в полусне,
еще в лучистой снежной белизне,
корнями лишь почуя влагу почвы,
в себе готовит сок для первых почек.

И все же жаль, что стала быстротечней
пора забав, безвинных и беспечных.
И девочка одиннадцати лет
из дружбы с куклой делает секрет.



Что-то меньше с годами друзей.
То ли строже душа и зрелей
судит нынче поступки людские,
им давно уж не делая скидок!

То ли закалили дела,
запрягли,
завели удила,
заказали пути. и с друзьями
развели,
разбросали,
разъяли!

Ах, какой деловой нынче век!
Все в осаде проблем доморощенных,
земинут круг их, как делотрек,
да и в нас есть немало от гонщиков.

Что-то меньше с годами друзей.
То ли скрытое в людях видней
и отталкивает, как бездна,
все, что с дружбой самой несовместно!

Что-то меньше с годами друзей.
Настоящих. Все больше — приятели,
деловые, как мероприятия,
отчужденные, словно музей.

Да и сам я по горло в делах.
Что пенять на потери в друзьях,
слать упреки по их адресам...
Знать, такая у всех полоса.

Все в делах, как в дремучем бору,
где молчание сосен сурово,
где так хочешь довериться зову:
— Ау!

Игорь Федорин



Войди в стихи, кузбасский гололед
на улицах, без снегопада гладких,
как ты вошел, кузбасский уголек,
в жилища, в буквы первые в тетрадках!
И ты войди с резчайшим ветром, Томь
[тобою город как кнутом рассечен],
и обелиск на набережной той,
что сердце жжет любого ветра резче!
Вам, школьники, закупанным до глаз,
войти и встать в стихах, как в карауле,
над памятью сынов твоих, Кузбасс,
что под Москвою вспять не повернули.
Тревожных сводок ритм, в стихи ворвался:
по области —

аварии —
на трассах...

И про себя шепчу я:
— Отступись
ты, гололед, от шоферов Кузбасса!
Земля остыла, кажется, да как!
Но — чу! — в морозном ветре уловимо:
горячей печкой тянет, — пахнет шлак,
которым дышат стены Коксохима.
Как сталь — на сталь,

жар домен — на мороз
пошел, не отступая, не робея, —
идет Кузбасс во весь рабочий рост,
огнем бушуют коксобатареи!

Никита
ТОПУРИДЗЕ

НЕСКОЛЬКО СТРОК

Я знаю Никиту Топуридзе.
Он закончил Институт
иностранных языков,
но кем станет впоследствии,
пока не понять.
Может быть, он будет преподавать
французский язык,
возможно, станет дипломированным
переводчиком в министерстве
или даже в Организации Объединенных Наций,
а вдруг и... писателем.
В эту профессию неожиданно-негаданно
приходят люди из самых разных сфер
человеческой деятельности:
инженеры и артисты, рабочие и военные.
В конце концов и Чехов
променял прекрасную профессию врача
на это звание.
Пожалуйста, езжайте, Никита Топуридзе,
в незнаемое. Журнал «Юность»
вручает вам путевой лист.
Его стоит поберечь.
Многие авторы, начавшие жизнь в «Юности»,
хранят его и идут вперед.
Иные потеряли. Ну, что же, значит,
литература могла обойтись без них.
В конце концов не все зависит
от человека, хотя и многое.
Езжайте!
Когда Топуридзе станет великим писателем,
в школьных учебниках о нем напишут исправду:
он-де был примерным сыном,
учился всегда только на «отлично»
и славился чрезвычайным трудолюбием.
Даже, может быть, приведут цитату
из «Жана Кристофа»:
«Он работал, как вол, или, вернее,
как гений».
Этим я совсем не хочу сказать,
что Никита Топуридзе — пустой парень.
В таком случае я бы не согласился
написать о нем ни строчки.
А кроме того, думаю, читатели этого его
первого произведения
сами увидят, что автор не до конца безнадесен.

Виктор РОЗОВ

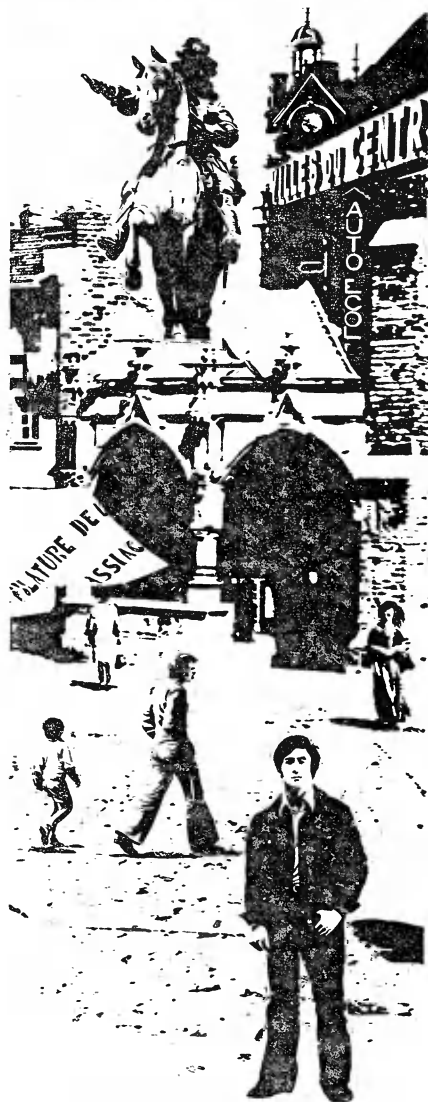


Рисунок Е. ЛЕХТА.

«Клермонский университет.
1973—1974 учебный год.

Свидетельство о записи на факультет.
Генеральный секретарь университета г. Клермон-Феррана удостоверяет, что:

Москве Топуридзе Никита, родившийся 10 июня 1953 г. в г. Москве (СССР), проживающий по адресу: 25, ул. Огьен Доле, на законных основаниях зачислен в вышеуказанный университет для занятий на факультете филологии и гуманитарных наук с января по июль 1974 года.

Клермон-Ферран. 29.1.74г.

Несколько строк, которые бесстрастно вместили погоду моей жизни.

Шум, веселые крики. Идет захватывающий футбольный матч. Рыжий, вусуничатый паренек проходит одного, другого... Нет, мяч у него забиралют. Точный пас — и все устремляется в обратном направлении. В лице «Блез Паскаль» — большая перемена.

— А вот и наши надзиратели. — Николь показывает на развеселую компанию молодых людей, уютно расположившихся под деревом.

Надзиратели! Как не подходит это неприятное, режущее слух слово к хохочущим парням и девушкам в синих джинсах! У меня оно всегда ассоциировалось с мрачной тюремной камерой или с жестокой палочной дисциплиной в казармах. Хотя, кажется, в казармах не бывает надзирателей. Впрочем, французское «сюрвейан» таких ассоциаций и не вызывает. Я бы перевел его как «наблюдатель», это, пожалуй, будет и приятнее и точнее. Или лучше просто поставлю слово в кавычки. «Надзиратели» наблюдают за детьми, попусту не вмешиваясь в их дела. Кроме того, мне кажется, они и сами неплохо проводят здесь время. Вот этот длинноволосый парень явно ухаживает за своей милой соседкой. Ему, наверно, сейчас не до детей, развешивших во дворе.

Идем в бар лица. Нечего сказать, повезло этим французским школьникам: мы во второй спешколке имени Ромена Роллана, что затерялся в тиши узеньких московских переулков неподалеку от проспекта Мира, довольствовались буфетом. Впрочем, лицей «Блез Паскаль» составляет исключение и среди французских школ. У него свои привилегии, свои особые традиции. Шутка ли, один из старейших лицеев Франции! Гордость не только Клермона, но и всей провинции Оверни. Именно здесь учился в XVII веке сам Паскаль. Теперь, когда его имя выросло в веках, забавно представить себе великого мыслителя бегущим по двору в коротких штанишках. А ведь бегал! И учителя ставил его в угол, а время от времени, наверно, давали подзатыльники. Впрочем, по всей вероятности, он уже тогда был отличником. Кажется, лет в двенадцать он сам, не прибегая к учебникам, вывел все основные положения геометрии Евклида, а в восемнадцать изобрел несложную сетью-вычислительную машину. Да, странно, что мне не «больно» за потерянное время, как любит говорить моя мама: уже двадцать один год, а до сих пор ничего не открыл. Впрочем, и эти «надзиратели», наверно, тоже ничего еще не открыли. Это просто студенты, которые подрабатывают в свободное от учебы время.

В баре немало лицестов. Они подсаживаются к нам, задают первые несмелые вопросы. Те, кто по-

младше, просто смотрят на нас с нескрываемым любопытством, не решаясь вступить в разговор.

— Что у вас делает молодежь в свободное время?

— А вы любите поп-музыку?

— В вашей стране есть хиппи?

Теперь вопросы сыпались со всех сторон. Особый интерес у этих лицестов вызывает машины. Может быть, они сейчас как раз в том возрасте, когда многие мальчишки мечтают стать гошниками.

— Какая скорость разрешена у вас на дорогах?

— А много ли у вас машин?

— С какого возраста выдаются водительские права в вашей стране?

И еще один вопрос, который сейчас интересует всю Францию:

— У вас тоже поднимаются цены на бензин?

На уроке нас пригласил Николь, молодая преподавательница русского языка. Интересно посмотреть, как проходит урок во французском лицее. Насколько это отличается от нашей средней школы?

По пути в класс вижу двух хороших лицестов, расклеивающих плакаты на стене: «Долой гнусную реформу Фонтане!» Я уже слышал о реакционном законопроекте, предложенном Фонтане, тогдашним министром образования. Реформа затронула бы поступление молодежи в высшие учебные заведения. Планам Фонтане не суждено было осуществиться: вскоре умер Жорж Помпиду, начались новые президентские выборы, сменился кабинет министров... Одна из лицестов делает мне знак — просит подсажить ее, чтобы она могла повысить приклеить свой плакат. Конечно, я помог бы ей с удовольствием, но вокруг меня очень много народу, а мы иностранцы, и не нам вмешиваться, так сказать, во внутриаполитические дела Франции. Приходится только выловить развести руками, вздохнуть и идти вслед за Николь.

Перед зданием лицея специальный гараж для велосипедов и «мобилов» — небольших мотоциклов и мопедов. Никто из лицестов не ходит в лицей пешком. Подобный гараж я видел в комиссарате полиции в Клермоне. «Фанки» — так французы называют полицейских — тоже не любят ходить пешком. Впрочем, кто любит? Разве только пилгримы.

Я уже посвящен в некоторые интимные подробности жизни лицея. Мне рассказали, что старая чопорная директриса женского лицея, который находится напротив, стремится помешать «окончаниям» своих воспитанниц с учениками лицея «Блез Паскаль», составляет расписание так, чтобы занятия в ее заведении и лицея заканчивались в разное время. Впрочем, говорят, своего она все равно не добилась — девушки и парни жгут друг друга у лицея после занятий. Видимо, скоро их незгодам придет конец: мужские и женские лицеи во Франции постепенно объединяются в смешанные. Да и можно ли помешать молодежи влюбляться!

Мы в классе русского языка. Здесь хозяйка Николь. Помимо языка, она преподает русскую культуру. После уроков ученики остаются со своей молодой преподавательницей: лежат из пластилина фигурки русских воинов и перерисовывают древние иконы. Кстати, очень талантливо перерисовывают. Над классной доской Георгий Победоносцев поражает копьем змия.

— Им это очень нравится, — говорит Николь. — Вот это сделал Андре. — Она с гордостью показывает на Георгия Победоносца, а кудрявый паренек в первом ряду смущенно улыбается: это его творение.

На стене большая карта Советского Союза.

— Пьер, покажи нам, где протекает Волага,— просит учительница.

Наверно, он не очень большой энтузиаст учебы, этот невысокий смуглый личиств. Не повезло ему, бедолаге, что его вызвали к карте, да еще в нашем присутствии. Пьер растерянно водит указкой и не может найти ни Болиги, ни Урала. Но какую радость, сам того не подозревая, доставляет мне этот несчастный: я вдруг узнаю в нем себя таким, каким была несколько лет назад. Я вспоминаю свою школу. Помню, как на уроке французской географии точно, как сейчас вот этот парень, пытался отыскать на карте Ауару и Рону, Азальи и Центральный горный массив. Я наугад водил по карте указкой, а разъяренный преподаватель смотрел на меня с презрением. На урок к нам были приглашены французские студенты. Помню, они смотрели на меня с сочувствием. Может быть, я тоже напоминал им что-нибудь тогда.

Ребята пытались подсказать мне: «Выше бер! Правее! Левее!» А я, старая со стыда и в душе проклятая преподавателя, беспомощно метался у карты.

Нет, Пьер так и не находит нашей великой реки. Николь сердится. Теперь она начинает пытать его городом Свердловском. Лицо Пьера багровеет. Не мучь его, Николь, отпусти! Но Николь любит русский язык и русскую культуру, она неумолима. Наконец незадачливый Пьер получает свою двойку и, облебенно вздохнув, возвращается на место.

Да, он напоминал мне мою школу — этот парень с указкой в руке, растерянно стоящий у карты. Пожалуй, сейчас во Франции я получаю непохожий наглядный урок географии. До этого «Сена», «Ауара», «Альпы», «Париж» звучали для меня бесслотно. Я слушал эти красивые слова и словно не знал, что же они значат, слушал их, как музыку. Теперь эти слова уже не пустой звук, они сразу рождают определенный образ.

Я не шел, меня подхватило толпой и несло вперед. Бой барабанов, который я неожиданно услышал, показался мне не праздничным, а скорее угрожающим. Это была не мелкая барабанная дробь и не музыка, а резкие, отрывочные звуки. Толпа вырвалась из улицы, по набережная Сены оказалась переторженной. Людской поток не растекался. Людей становилось все больше, образовалась давка. Наконец я пробился к изгороди. У берега Сены строем стояли люди, одетые в костюмы, которые сперва показались мне театральной буафуршей, в самом деле, что это за желтые кожаные фартуки палачей, топоры на длинных рукоятках? Погоны и высокие форменные фуражки выдают их принадлежность к армии. Загорелые лица, бритые головы, рубашки защитного цвета с засученными рукавами, сильные, загорелые руки крепко держат топоры. Они маршируют на месте, топя тяжелыми коваными ботинками на массивной подошве. Маршируют странно: неторопливо поднимая ноги, не спеша и как-то нарочито неуклюже, вразвалку. Один из них бьет в большой барабан с тем страшным, угрожающим звуком, от которого почему-то становится не по себе. Кажется, они не обращают никакого внимания на толпу, собравшуюся вокруг них. Взгляд одного из них останавливается на мне. Я вздрагиваю: хищный, холодный взгляд убийцы. Я слышу шепот в толпе. Передо мной один парень толкнул другого локтем:

— Смотри, солдаты Иностранного легиона...

Иностранцы наемники! Вдруг они двинулись и пошел все так же неторопливо, вразвалку. Грянул оркестр. Но и мелодия была резкой и злойшей, как тот барабанный бой. Фартуки палачей и топоры — атрибуты их парадной формы. Я помню, как впереди выступал пожилой полковник с загорелым лицом,

покрытым шрамами. Ветераны Иностранного легиона. Они годами воевали в пустынях и джунглях, всюду, куда их посылали. Я уже знал, что такое Иностраный легион, но увидел его впервые. Сами они, их манеры, их неуклюжая походка — все это кажется мне интересным и необычным. Я стою и смотрю на проходящие войска с каким-то повышенным интересом, с таким чувством, будто я нахожусь в театре на захватывающем дух спектакле, на необычном представлении.

Национальный праздник 14 июля. Мне повезло, что я смог все это увидеть, что я узрелю не сегодня, а завтра. В тот же день вечером мы идем, взявшись за руки, по набережной Сены. Вот мы проходим мимо Ауара, сворачиваем к улице Риовали. С нами французы: мы с ними возвращаемся с народного гуляния в Тюильри. В небе разноцветные фейерверки, под ногами взрываются хлопнушки-петарды, кругом смех, веселые крики. С нами stalkивается такая же, как мы, компания молодых людей, идущих нам навстречу. Не разъединяя рук, мы пытаемся пройти каждый в свою сторону. Образуется страшная путаница. Всем весело. На улице Риовали гигантская пробка машин. Все они оглушительно гудят, каждая по-своему: у некоторых музыкальные клаксоны, на других машинах воющие сирены. Шоферы словно соревнуются: кто кого перегудит, и у каждого своя мелодия. Стоит жаркий летний вечер. Из маленькой машинки с откинутым верхом выезжает двинновлоасе ребята в джинсах. Они со смехом садеятся на крыши соседних машин, большого черного «ситроена» и не менее уважаемого «опеля». Почтенные владельцы негодуют. Ребята веселятся от души.

И вдруг меня обжигает мысль, что в общекитин стоят уже сложенные к отъезду чемоданы. Завтра в девять утра нам подадут автобус, мы потрунимся и двинемся к аэропорту Орли. Ков, всегда, ожидание. Около часу придется томиться в общем зале. А потом мы достанем билеты и паспорта, начнется таможенный досмотр. Сдержанный чиновник с неприкрытым лицом заставит меня показать ему ручную кладь, потом зачем-то щелкнут затвором моего фотоаппарата, наверно, опасаясь, что в нем-то и запрятано небольшое взрывное устройство. Потом три часа лететь, еще три часа ожидания и безделья, и вот наконец московский аэропорт. Хочется взять свой портфель и просто, минуя очередь за чемоданами, всякие церемонии и досмотры выежак к родителям и друзьям, которые, конечно, уже здесь. Я чувствую, что они уже здесь. Но нет, так уж получается, что у человека много разных порой неприятных ему, но тем не менее необходимых дел. Они необходимы обществу, а отдельному человеку кажутся просто ненужными формальностями. Заполняя таможенную декларацию, я уже вижу через открытую дверь маму. Она тоже, кажется, заметила меня, но не сразу узнала: я здорово изменился за эти полгода. Увидела, заметалась, замахаала руками. И вот уже все формальности позади. Я выбегаю к людям, по которым так соскучился. Наконец-то! Меня охватывает такая радость, что я на время забываю и о своих впечатлениях, и о том, что было со мною в эти полгода.

Москва. 18.2.74.

Дорогой мой Никита!

Наконец-то получила от тебя письмо. И не дожидаясь, пока у тебя будет постоянный адрес, решила написать тебе на университет. Уверена, что письмо дойдет.

Сразу же ответь мне на следующие вопросы: здоров ли ты? Какая у вас погода? Как ты одеваешься? Ходишь без пальто? В чем?

Какие именно предметы вы изучаете? Какие лекции посещаете дополнительно? Очень советую тебе прослушать курсы лекций по искусству и живописи. Не упускай такую возможность, если она есть. Фотографируешь ли ты? Ходишь ли в кино? Какие фильмы видел? Успели ли вы в Париже посетить Лувр? Обо всем напиши подробно. Если можно, то сфотографируй и пришли мне карточку, мне очень хочется.

Бабушка Тамара очень тревожится за тебя. Не поленись, напиши ей отдельно. И бабушке Оле тоже. Обе будут счастливы.

Как вы объясняетесь по-французски? Свободно? Говорите на языке как можно больше и даже между собой.

Жду твоего письма с нетерпением. Если в марте побываешь в Париже, то напиши, что вы там повидали.

Судя по твоим описаниям, Клермон — прекрасный город. Говорят, там интересный музей. Больше спасибо за открытки.

До свидания. Будь здоров, будь умником.

Крепко целую.

Мам.

Клермон-Ферран. Филологический факультет университета. Конец января. На улице дождь и слякоть. Весь холл факультета уставлен яркими разноцветными зонтиками. По расписанию занятия должны начаться в девять часов утра. Сегодня мой первый учебный день во Франции. Еще до приезда сюда у меня в голове сложился образ этакого строгого и неприступного для студентов французского профессора. Наверно, это солидный пожилой человек ученого вида. Должно быть, у него надменное, озабоченное лицо. Не знаю, почему я представлял его себе таким, возможно, потому что в институте нам говорили: во Франции отношения между студентами и преподавателями совсем не такие, как у нас — более сухие и официальные. Я слышал, что французский преподаватель якобы верен расписанию, после урока его, мол, казачо не заманишь в аудиторию, он отработал свое и не задержится ни на минуту, чтобы ответить на вопросы студентов.

Вот уже и ровно девять. Впрочем, никакого звонка не раздается, ничего не происходит. В коридоре по-прежнему толпятся студенты, длинноволосые оживленные парни и девушки. Громко разговаривают, смеются. Жаль, я еще не успел с ними познакомиться: хотелось бы поговорить и посмеяться вместе с ними.

Тут же неподалеку автоматы, где за один франк можно купить бутылку кока-колы, бумажный стаканчик кофе или сандвич. Я вижу, что студенты не слышком церемонятся с посудой, все бросают себе под ноги. Пол усеян раздавленными стаканчиками. Рядом со мной стоит бородастый парень в голубых расклешенных джинсах и в потропанной походной куртке защитного цвета. Докурив сигарету, он спокойно бросает окурки на пол, неторопливо растирает его подошвой ботинка. Думаю, не спросить ли его, где же преподаватель? Может, напрасно ждем?

Вы вместе с нами будете заниматься? — вдруг поворачивается ко мне бородач. — Из какой страны?

Конечно, по моему виду, по одежде и, наверно, по манере держаться заметно, что я иностранец. Прав-

да, через две-три недели это уже не будет бросаться в глаза, а через месяц-полтора и вовсе станет незамечным. Но пока это видно каждому.

Бородач, узнав, что я из России, удивляется.

— В самом деле? Из какого города?

— Из Москвы.

— О, из самой Москвы! Это так далеко!

Зовет приятеля:

— Жан, смотри, из Советского Союза, из Москвы.

Жан удивляется не меньше своего приятеля:

— А как вы приехали? Неужели сами? Частным образом? — спрашивает он недоверчиво.

Я объясняю, что приехал в порядке культурного обмена между странами, несколько французских посещали в это время учиться русскому языку в Москву. Все встает на свои места.

— Пора бы уже и начинать, — спокойно говорит бородач.

Смотрю на часы: уже половина десятого. Странно, все это не очень-то совпадает с тем, что мне рассказывали в Москве о бедности французских профессоров. К тому же, судя по всему, такие задержки, как сегодня, довольно обычны. Никто из моих новых знакомых ничуть не удивлен.

В конце коридора несколько студентов, разложив прямо на полу большие листы бумаги, пишут плакаты. Потом я узнаю, что эти парни — сравнительно небольшая группа — вообще ничем больше не занимаются, почти не ходят на занятия. Это гостицы, левые. С утра они пишут плакаты, потом вывешивают их в холле факультета, перед входом в студенческую столовую, в общекитии. А сами стоят рядом, любуются делом своих рук. Иногда они вооружаются рупором и призывают всех присоединиться к их «борьбе». Из лозунгов видно, что их интересуют абсолютно все, кроме непосредственного дела — занятий на факультете. Сегодня, в мой первый учебный день, я увидел огромные ленты плакатов у входа в университет:

«Армия — школа преступлений!»

«Свободу абортам!»

«Долой полицию!»

«Долой реформу Фонтане!»

«Долой буржуазную систему образования!»

Да, действительно, широк круг их интересов! И еще один плакат:

«Университет-74 — это веселесо. Интересно, по каким соображ. нас здесь съедят?»

Мрачный все-таки у них юмор.

— Наконец-то вот он — мсье Праду, — слышу я.

По лестнице поднимается долговязый молодой человек, на вид лет двадцати восьми. Выходит, это и есть наш новый преподаватель!

Пожоже, я и тут ошибся, ожидая увидеть строгого и почтенного старичка профессора. Длинные волосы до плеч, усы и густая борода полностью закрывают нижнюю часть лица. Очки с круглыми стеклами в позолоченной оправе. Прямо-таки русский демократ-разночинец второй половины прошлого века. Вид у «разночинец» веселый и беспечный. Мосье Праду знакомится с нами.

— Искренне рад вас видеть.

Сразу предупреждает:

— У нас не обязательно посещать занятия, так что смотрите сами, нужны ли вам мои уроки. Желаете — приходите, не хотите — не утруждайте себя.

Садимся. Сначала Праду некоторое время задумчиво рассказывает по классу, потом неожиданно садится на стол, поставив ноги на стул. После недолгого молчания:

— Мне только что рассказали абстрактную загадку: «Что делать слону, который забрался на дерево и не знает, как оттуда слезть?»

Студенты улыбаются.

— Ему надо подождать осени, потом сесть на падающий лист и сплутиться на землю вместе с ним, — отвечает хорошенькая девушка из первого ряда.

— Правильно, Франсуа, все-то ты знаешь, — несколько разочарованно признает молодой преподаватель. Он встает и раздает всем листки с текстом для перевода. Студенты курят, некоторые пьют кофе и едят сэндвичи. Можно сказать, работа закипела. А шутки и смех не прекращаются.

После урока Праду отвечает чуть ли не на полчаса, чтобы поговорить со студентами. Мое представление о французском преподавателе, строгом педанте, начисто разбито.

Еще в поезде Жаннет сказала:

— Не удивляйся, с отцом я не разговариваю уже четыре года (ей недавно исполнилось двадцать). Я его терпеть не могу. О матери и говорить не стоит. Я ее стыжусь. Это скучная и неинтересная женщина.

Во Франции я много общался со своими сверстниками, видел их отношения с родителями. Удивительная вещь! Годы к семнадцати, то есть когда «ребенок» заканчивает школу и поступает в институт или идет работать, наступает кулиминационный момент в его конфликте с родителями. С этого времени происходит разделение. Дети уходят из родительского дома, даже стремятся переехать в другой город, от греха подальше. Хорошо еще, если они навещают родителей раз-два в месяц. Да и эти встречи, как я убедился, никогда носят чисто символический характер. Причем поведение «отцов» тоже поразило меня. С момента разделения они слагают с себя всякую ответственность за детей. Не то чтобы родители глубоко страдали или сердились. Нет, по-моему, они, наоборот, вздыхают с облегчением, когда дети наконец покидают отчий дом.

Жаннет — одна из студенток, которые занимаются вместе с нами. Наступили пасхальные каникулы, студенты разъезжаются домой, в другие города, и она пригласила меня поехать с ней. Ее родители живут в Бурже, маленьком средневековом городке, до отказа набитом достопримечательностями. Буквально все дома здесь старинные, средневековые: жилые здания, почта, телеграф, даже кинотеатр. Как только мы приехали, я познакомилась с родителями Жаннет... Отец, по профессии пекарь — коротко подстриженный, полный человек в очках. На меня он произвел довольно приятное впечатление. Мать — измученная заботами женщина, у которой, оказывается, девять детей и довольно нелегкая суетная жизнь. Чем же они заслужили нелюбовь и презрение своей дочери? Как выяснилось, корень всего зла в том, что у них другие политические взгляды. Они, оказывается, не голосуют за левый блок. Эти колеблющиеся, неуверенные люди просто устали от всего и теперь уже боятся любых изменений, в том числе политических. Они не хотят экспериментов, у них и так нелегкая жизнь.

Садимся ужинать. Отец Жаннет раз-два бы заговорил с дочерью. Я вижу, он чувствует себя явно неловко. Возможно, чтобы выйти из этого неловкого положения, мать включает телевизор. И вдруг специальный выпуск новостей: Франция в трауре, умер Жорж Помпиду, скоро состоятся новые президентские выборы. Каждый отреагировал по-своему. Мать

всплакнула: жалко все же, хороший был человек; отец сокрушенно качает головой: ох, опять начнутся перемены, нет спокойной жизни. Жаннет не скрывает своей радости, она явно хочет вызвать родителей на политическую дискуссию — хлопает в ладоши, нарочито весело смеется. Наконец ей удается спровоцировать отца, между ними разгорается яростный спор. Как-то потом я сказала ей:

— Зачем тебе это надо? Ты же видишь, родителей не переубедишь, оставь их в покое.

На это она с гордостью ответила:

— Мы, левые, должны постоянно нести свои идеи в массы, иначе мы никогда не добьемся социального прогресса.

Клермон-Ферран. 13.IV.74.

Дорогая мама!

Извини, что не сразу собрался ответить на твоё письмо. Кстати, не помню, почему ты была так уверена, что оно дойдет: ведь у тебя не было точного адреса. Навероятно, но все же я его получила. Ты засыпала меня таким количеством вопросов, что, боюсь, я не смогу сейчас ответить тебе на все. Я бы с удовольствием написал тебе длинное письмо (хоть и не люблю этого занятия), но, к великому своему сожалению, не могу. Сама понимаешь, я здесь очень занят, свободного времени ни минуты. Вот, например, сейчас за мной зайдут ребята и мы пойдем в гости. А завтра с утра мы едем в Виши на целый день. Но ты не озорывай, буду свободнее, напишу тебе обстоятельное письмо.

Я здоров, чувствую себя прекрасно. Погода великолепная, очень тепло.

Один твой вопрос меня особенно порадовал: какие лекции посчитаю дополнительными? Заведное усердие ты мне почему-то приписываешь, нечего сказать. Но самое смешное, что я, наверное, действительно самоуверенствовался, как любит говорить отец: был на нескольких дополнительных лекциях. Совершенно случайно забрал на археологию. Там показывали диапозитивы, на них — разные погребальницы, ковши, вазочки с благословениями и др. Исключительно интересно. Был на лекции о романской архитектуре. Два дня назад попал на семинар, где речь шла о живописи Кандинского. Это меня заинтересовало, и я обязательно схожу на лекцию о Кандинском на той неделе. Кстати, уже слушал лекцию о Шагале.

Вот видишь, какой широкий кругозор у твоего единственного любимого сына. Напротив, ты меня все время ругаешь. Спасибо вам, Валентина Ивановна, что вы воспитали такого замечательного сына! Ха-ха!

Нам здесь разрешили ходить на любые занятия. Куда захотим. А на основные занятия нас никто насильно не гонит. Так что не поймешь, что здесь основное, а что дополнительное. Чаще всего ходишь на занятия языком, на стилистику, литературу и перевод. Ты не поверишь: мы переводим на французский Бунина, Чехова, Куприна, Тургенева, Толстого!

Вместе с нами занимаются студенты, которые учат русский язык. Мы помогаем им тоньше понять смысл русского текста, а они нам — найти соответствующие аналоги во французском. Впро-

чем, наш преподаватель перевода мсье Стратонич не хуже нас понимает русский текст и все, о чем идет речь: он из русских эмигрантов. Переводом на русский тоже занимаемся.

Словом, я стал гораздо более трудолюбивым. Может быть, потому, что меня никто не попускает, никто не пытается заставить заниматься, как, например, ты это попусту делаешь дома, в Москве. Впрочем, я по тебе очень-очень соскучился.

Ну вот видишь, письмо мое получилось гораздо длиннее, чем я предполагал.

Вот уже ребята пришли, заканчивают. За меня не волнуйся. Пиши мне как можно чаще. Я перебору лень и тоже постараюсь отвечать каждую неделю.

Никита

Как-то один приятель-француз шуточно сказал мне: — Русский — это первое, что встречаешь, приезжая в любую страну.

И рассказал случай, как первый американец, которого он встретил, приехав в Америку, оказался русского происхождения.

Так же неожиданно натолкнулся я на одного русского во Франции. Наша преподавательница пригласила нас к себе домой в небольшую деревню на юге Франции. Это было в окрестностях Монпелье. Оттуда, с берегов Средиземного моря, она два раза в неделю приезжает в Клермон, чтобы дать на факультете несколько уроков. Конечно, это не слишком удобно — ездить на уроки за триста километров, но ничего не поделаешь: в Монпелье для нее не нашлось вакантного места.

Едем поездом до Алеса. Там нас должны встретить. Деревушка называется Сент-Илер-де-Бовуар. Семья Оливье раньше жила в городе до тех пор, пока они не построили этот дом. Дом еще не совсем отделан, но выглядит внушительно: огромное здание, построенное по проекту мужа нашей преподавательницы.

Жан Оливье — художник. Сейчас он преподает рисование в одном из городских лицеев. Жан по праву гордится домом и подробно показывает все комнаты и переходы. Из кухни навстречу нам выходит седой старик, отец мадам Оливье. Мы тутчас же приветствуем его:

— Bonjour, месье!

— Добрый день, друзья, — вдруг отвечает старик по-русски и без акцента.

Я оstonбел: здесь, в заброшенной деревушке, встретить человека, знающего русский язык! Видя наше удивление, старик улыбнулся и пояснил:

— Я родился и вырос в России.

И перед нами целая легенда, о которой можно было бы написать отдельную повесть. Его предок, солдат наполеоновской армии, попал в плен в Отечественную войну 1812 года. После войны он навсегда остался в России. С тех пор сменилось несколько поколений. Его потомки обрусели, своим родным языком считали русский, своей родиной — Россию. Отец нашего старика был сослан в Сибирь за участие в каком-то политическом кружке. Там у него и родился сын. Мальчик подростом поступил в военное училище в Петербурге. Шла первая мировая война. В 1916 году, незадолго до революции, он был послан в Париж в составе небольшой группы кадетов. Не знаю, зачем кадетам понадобилось в шестнадцатом году в Париж, но в судьбе нашего нового знакомого эта поездка сыграла решающую и роковую роль. Он никогда больше не вернулся в Россию, где остались его близкие и друзья. У него была там большая и дружная семья. С тех пор он никого из них не ви-

дел: началась революция, потом гражданская война, и он оказался отрезанным от своей семьи.

Прошло несколько лет. Он обосновал в этой знакомой и чужой для него стране, завел собственную семью. Но не стал французом, а так навсегда и остался русским. Хотя, казалось бы, приехал во Францию мальчиком. Все это время он думал о России, далекой и потерянной для него. Когда я услышал, как он говорит по-французски, меня поразило его плохое произношение.

Я никогда не хотел терять своего русского акцента, — сказал мне старик, и мне показалось, что в этих словах скрывалась гордость. Это был своеобразный вызов судьбе, так жестоко поступившей с ним. А может быть, акцент просто напоминает ему о России.

Время студенческих каникул! Я вообще люблю путешествовать. Перед дорогой всегда становится весело, особенно если путь предстоит дальний. Даже в тех случаях, когда отправляешься куда-нибудь неохотно, когда тебя вынуждают обстоятельства, в самой дороге, по-моему, есть что-то утешительное. Сейчас же одна мысль о том, что мы сядем по машинам и пустимся в путь, вдоль Луары, а мимо будут проноситься неизвестные города, поля, леса и вдалеке одинокие, покинутые, оставшиеся без прежних хозяев, но тем не менее величественные древние замки, — сама эта мысль нагоняла меня радость.

В Турене я узнал, что французы называют эту провинцию страной замков. Действительно, дню дашься — чуть ли не каждые пять-шесть километров замок: уютные, изящные дворцы. Возрождения и классицизма, мощные средневековые крепости с подвешенными мостами... Я никогда не забуду этих деревцов, отражающихся в реке, огромных, пышных, холодных замков с каминными и голландскими гобеленами, цветочный узор парков. Я слушал бесконечные рассказы гитлов о жизни французского двора, о кровавых драмах, которые происходили когда-то здесь, в этих залах, смотрел на портреты королей и придворных, и мне казалось, что вот сейчас откроется дверь и, обмахиваясь веерами, войдут придворные дамы или, брацая оружием, появится грозная стража.

Все здесь необычно. Я был поражен, когда в конце экскурсии по замку гид объявил: «Дамы и господа, хозяин замка господин маркиз де Вибр приглашает желающих принять участие в псовой охоте в лесу господина маркиза». Как? Этот замок до сих пор принадлежит одному человеку? Оказывается, у этого маркиза, прямого потомка и наследника тех, кто когда-то построил замок, кроме самого этого старинного и роскошного замка, есть еще лес, усадьба, своя конюшня и псарня. Маркиз — заядлый охотник. В лесу у него масса всякой живности. Он живет на широкой ноге в своем старинном замке, окруженный гобеленами и канделябрами.

Но и маркизы, оказывается, нынче стали не те! У них появились какие-то мелкобуржуазные черты, недостойные их высоких аристократических титулов: вместо того, чтобы охотиться с роскошной свитой, со своими приближенными, маркиз рад первому встречному, который примет участие в его забаве. Да еще приглашает людей не бескорыстно, а за умеренную плату! Цена очень небольшая, тоже недостойная маркиза. В самом деле, что такое какие-то пятьдесят франков? Ведь за эту скромную плату можно не только попытаться счастья в охоте, но и поспотеть на жупоного маркиза на коне и в охотничьем костюме. Не охота, а еще одно театральное представление! Да еще и внешняя форма старинной псовой охоты пол-

ностью сохранена: егерь в охотничьих шورتках, псы лают в предвкушении добычи, лакеи в ливреях сопровождают хозяина. Я видел все это на цветных фотографиях, которые продаются тут же, в замке. Кстати, увидеть все это своими глазами — идея действительно соблазнительная, и я бы, может быть, сам поохотился с маркизом, хоть и не умею ездить верхом. Заманчивое желание. Приехать домой и сказать друзьям между делом: «Хотелись, помню, как-то во Франции с одним маркизом...» Но, к сожалению, было лето, а маркиз почему-то предпочитает охотиться в другие времена года.

...В детстве, качаясь на качелях, я любил закрывать глаза. Тебя слегка подбрасывает, а потом ты будто проваливаешься куда-то в пустоту. Кажется, что тебя больше нет. Вернее, тела твоего нет, осталась одна голова, мозг, который продолжает работать. Такое же ощущение появляется у меня сейчас в самолете, хотя, согласен, сравнение довольно странное. Подо мной ночь. Я сижу с закрытыми глазами, погруженный в самосозерцание, как, вероятно, сказал бы философ. Пытаюсь понять и определить свои ощущения. Меня охватило странное чувство восторженного удивления. Через два-три часа я окажусь в Париже, о котором я так много слышал и читал, что он стал для меня каким-то нереальным, сказочным городом. В самом деле, разве не сказочные имена — Нотр-Дам, Сакре-Кер, Тур Эйфеля?.. Я давно готовился к этой поездке, а все получилось так неожиданно, как будто меня, ни о чем не предупредив, бросили в отлетающий самолет. Это смешанное чувство восторга и удивления еще более усиливается, когда в Орли мы садим в автобус и он помчит нас по Парижу, а вокруг замелькают незнакомые мне вечерние пейзажи, домики с мансардами, светящиеся надписи реклам. Они подтверждают мне, что я действительно уже не дома, а в какой-то другой, незнакомой мне стране.

В тот вечер я не видел Парижа. Смертельно усталый, я рухнул в постель и мгновенно заснул. Проснувшись утром, не сразу понял, где нахожусь. Небольшая уютная комната, скромная обстановка — стол, два стула, шкаф. Тусклый свет пробивается сквозь ставни, которые скрывают от меня внешний мир. Где я? Ах да, вспомнил! Неужели правда? Быстрым движением открываю окно и ставни. Париж! Передо мной Латинский квартал. Я узнал его. Почему-то именно таким я его себе и представляла. Да и на картинах я его видел такими. Мне и сейчас показалось, что я стою перед холстом, на котором — живописные улочки Парижа, разноцветные вывески магазинов, пестрая людская масса... Но вот я с удивлением обнаруживаю, что если это и картина, то уж по крайней мере волшебная: на холсте все движется, все живет. Схватив со стола карточку, выбегаю на улицу. Выбежал и так и остановился от удивления: первый парижанин, которого я увидел, странный субъект в черной, надвинутой на глаза шляпе и закутанный в длинный, до земли, ярко-красный плащ. Ну и ну! До чего же все необычно! Смотрю на название улицы. Де Карм. Иду это место на карте и вдруг вижу, что где-то здесь, рядом должен быть Пантеон. Тогда в моем представлении такие слова, как Пантеон, Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, символизировали не только Париж, но и вообще всю Францию. Почему «тогда»? Потом я понял, что ошибаюсь.

Поднимаюсь вверх по улице. Впереди высится темное здание с круглым куполом. Здание тяжело нависает надо всей улицей, надо мной. Смотрю

на карту: да ведь это же и есть Пантеон! Тот самый, знаменитый! Признаться, я ожидал увидеть нечто большее и даже испытываю легкое разочарование. Спускаюсь обратно по улице и попадаю на бульвар Сен-Жермен. Я ошеломлен каждым названием. Со всем этим я уже знаком... но только по книгам.

Рядом какой-то неясный шум. Несколько молодых парней, бритые наголо — только длинный клок волос на макушке, — в необычных странных одеяниях (помоему, на них были просто грязные белые простыни), босиком, бьют в большой барабан, приласывая и напевая что-то непонятное. Вокруг толпа любопытных. Один из парней собирает с публики деньги. Он подходит и ко мне. Это возвращает меня к действительности. Денег у меня еще нет, я попорочаюсь и ужою. Иду дальше, спускаюсь к Сене. На террасе кафе длинноволосый юноша с вдохновенным лицом играет на скрипке. Нежная и одновременно грустная мелодия. Вот я уже на набережной Сен-Мишель. Прямо передо мной Сена, остров Сите и Нотр-Дам. Когда я до этого думал о Париже, то прежде всего пытался представить себе Нотр-Дам. Наверно, для многих иностранцев это своеобразный символ города. В любом парижском киоске купишь брекли, значки, картинки с изображением Собора Парижской Богоматери. Созданный мной образ собора основывался, наверно, на тех его описаниях, которые я встречал в книгах: «устреmlенный высь...», «легкий каменный узор...» и другие штампы, которые обычно используются, когда речь идет о памятниках архитектуры. И вдруг... вот он передо мной, этот собор. Что говорить, красивый, великолепный, но, позволять, никакуда он не летит, и высь не стремится, и не такой уж он легкий. Так что же, все, что я слышал и читал, лишь выдумка искусствоведов..

Прошло несколько месяцев, и вот я снова в Париже. Туманно, приближается вечер. Я медленно еду по набережной Сены, а мимо меня промывают очертания домов, остров Сите... Я смотрю на Нотр-Дам, и мне кажется, что я вижу собор впервые. Сейчас он точно такой, каким я ожидал увидеть его сразу после приезда во Францию. В синеватом тумане собор, кажется, соткан из воздуха. Легкий и величавый, он летит вслед за мной.

Я покидаю Париж. Увижу ли я еще эту страну? И этих людей, с которыми едва успел познакомиться? Подобное ощущение бывает, когда едешь в поезд и смотришь в окно, а там мелькают полуставки, деревни, города и маленькие фигурки людей... Особо когда едешь далеко, в какой-нибудь другой город, а мимо проносятся незнакомые новые места. Вот мелькнула будка стрелочника, вот идут какие-то люди, разговаривают, смеются: у них свои радости, свои проблемы и неудачи, споры и интересы. Проходит еще несколько секунд, и вот поезд уже промчался дальше. Для тебя нет больше этих людей, они безвозвратно исчезли из твоей жизни. Возможно, ты их никогда не увидишь. А ведь не успел их даже разглядеть, узнать...

«...С января по июль 1974 года группа студентов языковых вузов находилась во Франции в соответствии с франко-советским межправительственным соглашением о культурном обмене между двумя странами. Студентам была предоставлена возможность ознакомиться со страной. В течение вышеуказанного срока они посещали занятия по ряду предметов...»

Несколько строк из официального отчета...



**Анатолий
СТРЕЛЯНЫЙ**

НОВАЯ СЕМЬЯ

Рисунки Ю. БОЛТИНСКОГО.



Прекрасная на этот раз была в Старой Рыбине осень. Поздний сентябрь, а впервые за несколько последних лет сухо, тепло, и летают, потрескивая смодянными крыльями, стрекозы. Скриды в полях еще не потемнели, не усеялись, еще пасут а лугу скотину, и покрут стада можно видеть издали трех странно выходящих, что-то отрывисто кричащих мужчин — это пастухи на весопедах.

Еще мелькают тут и там стрижи, и кажется, не остыло гнездо только что улетевшей на юг ласточки. Оно прилепилось к поперечине в сарае, прямо над стойлом коровы.

Еще горят цветы черноперицев у завалянки, на яблонях за домом висят поздние, на вид холодные, а на ощупь теплые яблоки, и еще не отыгралось вино из ранних. В погребе крепко пахнет рассолами, благодатной сыростью. В кадушках, под цветом булыжников, под чистыми тряпками и снопами укропа — помидоры, огурцы, арбузы. Засовываешь в кадушку руку, и они там — живые — толкаются, всплывают — круглые — из-под ладони. А в огороде еще можно набрать и свежих: как помидоров (горка их лежит и на крыльце, но к столу нам нужны прямо с грядки, чтоб резче был запах ботвы, никогда недовозимый до города), так и огурцов: еще не грубых желтяков, а вот этих — зеленых, на твое счастье опоздавших вырасти мизинцев с пупырышками.

Просыпаясь утром, выходишь на крыльцо и попадаешь в знакомый, но за год позабытый шум, в массу полных живых звуков. Кудачхут куры, крикают утки, хрюкает, топчась в сарае, боров, весело скулит молодой пес, из балоства закативший к себе в колуру кочан капусты и не отдающий его Марусе — а та ходит вокруг, смеется и ругается. Три ее кошки (бабка, дочка, внучка) еще не переселились в дом, живут во дворе, добирают тепла на зиму, и Маруся беспокоится, не появилась бы четвертая.

Каждый день мы ходим в лес, подолгу бродим в сосняках, орешниках, ясенниках, по безлюдным сухим тропинкам и незаезженным, песелям от частых пятен света дорогам. На одной и той же особенно нравящейся нам поляне садимся отдохнуть. Впереди, за неширокой полосой деревьев и кустарников, стоит Белая гора. Смотришь и не знаешь, как лучше сказать: или этот лес опустился с горы и растекся под нено, или пришел он сюда из степи и остановился у подножия. И те редкие дубы на склоне, как они там оказались? То ли вниз сбегая, ото всех отстали, то ли вверх взбираясь, всех опередили...

Из-за горы появляется самолет и прямо над поляной, в чистом небе, в том его круге, который очерчивают деревья, начинает выделять свои фигуры. В первые секунды неуверенно, словно проверяя, как там воздух, надежно ли держит, а потом все смелее и смелее, то отвесно вниз, то круто вверх, то падая, становясь неслышным, по дуге. Наконец он ускользает за гору, круг неба опять пуст, но мы продолжаем смотреть: хочется, чтоб самолет вернулся. Говорим о летчике, молодом, наверное, парне и старательном. Один такой погиб тут недалеко во время уборки. Самолет забарахлил, надо было выпрыгивать, но внизу была пшеница, и хлопек ее поберет, стал — сельский, наверное, житель... — перетягивать на скошенное поле, отворачивал в сторону и черкнул крылом по земле...

Из леса, мягко подпрыгивая, выезжает телега, останавливается на краю поляны. Это, собственно, не поляна, а маленькое поле клевера, готового к последнему укусу. Человек в невзрачном костюмчике начинает распрягать лошадей.

— Подоспеть немного надо,— говорит он, словно извиняясь за беспокойство.— Я тут егерем работаю.

Раньше здесь подо что-то пахали, потом забросали, и развелись бурьяны. Теперь он выводит клеверком сорняк и сжегано будет брать хорошее сено— для лошади и для зверей. Бродя в лесу, мы уже видели приготовленные егерем корявочки. Аккуратно сбитые из жердочек, стоят то здесь, то там, как летние ясли для телят, а рядом лежат алытые бурые глыбы соля-лизунца, и в них темнеют глубокие круглые выемки— следы лесных языков.

Егерь расстегивает ворот бледной клетчатой рубашки, наолаживает косу, рассказывает. Звери, конечно, есть, это не то что раньше, когда не видел их никто годами. По казенному счету прошлой зимы числится двадцать шесть лосей, сорок пять косуль, пятнадцать лисиц. «А будет сено, станет еще больше,— радуемся мы, прикидывая. «Если б не формально посчитать, их и в прошлом году уже было больше,— жевко откидывается егерь.— Только лисец голое сорок!..»

Он знает это, да помалкивает: им лучше, неучтенным, сохранение будут. Здесь он недавно, а до этого работал в соседнем районе, так извелся. Лес там хороший, лучше здешнего, с рыбным озером, но что ни выходной— едут из райцентра, и надо вести их на кабана, а то и на лоса. Но разве он поведет, где зверь есть? Выражали недовольство...

Коса у егеря маленькая, как бы не мужичья, не жадная, под стать шумной, лишеной подобающей солидности фигуре. В прежнем лесу у него тоже был клевер, поале, озерка, а вот там одни любия настись. Раз вышел тот так, а «охотнички» на противоположном берегу, с ружьями. Пришлось применить хитрости: шумнул зверю по-лосиному.

Идут дни, погода не меняется, и в каждый из них случается что-нибудь такое же, как эта встреча,— греющее сердце. То рассказку нам о молодом армянине, который в группе колхозников-туристов, сядивших на пароход в Сухуми, мальком увидел девушку из нашего села, остолбенел в год потатив на розсыпи, свалился как снег на голову в Старую Рябину— с матерью, отцом, братьями. Растит теперь ему наша Катя червячьицы, как, впрочем, и сама, ребятишек. То встретим на тропинке между огородами обросшего красной щетиной, жилистого и длинно-го Сырпатуку Федьку, и он подробно и серьезно, как ребенок, начинает рассказывать: вчера в поле, где он был за саяльщику, ему выпало спасти щенка, и с того сегодня Федька гуляет.

— Такое происходит!

Этого щенка он выхитил из-под лужицки, которым «гад Сёнок», работавший рядом, хотел надевать собачью лапшу.

Они стали Семку поперек дороги— оценившаяся где-то в скире сука и два ее цуцка.

— Она их на Кириккову веда. Оч у них, видят, развелись, она и думает: «Поведу я вас, бай-стрикув, в Кириккову». А он на них— с лужицкином.

Один был раздавлен, а другого Федька положил за пазуху и принес на стан: «Кому живого цуцка, мой тай в лапку».

— А что? Я за него под колесами лежал!

Федька притрагивается к козырьку свитого на затылок картуза, поворачивается и уходит своей дорожкой. В руке у него неизменный пруттик— сбивает верхушки бурьянов, на длинной спине топорщится, открывая белую полосу тела над штанами, короткая телегейка.

И все это: стеснительный егерь, берегущий неучтенных зверей, нехозяйственный гуляка Федька, спасший цуцка, неизвестный нам курсант, покореженный ишеницу,— как-то связывается с этим поздним теплым сентябрем, от которого словно развивается по воздуху и входит в людей что-то хорошее, мирное, не есдажа благающее в избытке.

Я с самого часто за последние годы приезжал домой в плохую погоду, и теперь на меня больше, чем обычно, действовала хорошая. К тому же я приезжал обычно что-то делать, в чем-нибудь участвовать и такими же видел мать, сестру Марусю, племянника Виктора: занятыми, озабоченными, неспокойными.

Сначала строили дом, и надо было достать то кирпич и лес, то известь и шифер, то рамы и двери, и каждый раз Марусе приходилось думать, как все это привезти. Не мне, который неколохозник, не Виктору, который сашком молода, не матери, которая стара, а именно Марусе, у которой ста ж доярки,— просить у председателя машину (а сегодня все машины под свекау...) ходить за ним по пятам, улачивать момент (а сколько их, таких улачивающих Марусь...) и плакаться, уходить ни с чем, уходить с обещанием (он обещает-обещает, а в голове у него свека, свека...). А когда он, наконец, укажет Утром на наряде: «Бери вот эту»,— бежать к загару— договариваться с заггаром, бежать к шоферу— договариваться с шофером, а у того свой интерес, он в расчете на этот день уже подяжен кем-то приехать итхую торфа из Софиевки, Марусе же надо совсем в другую сторону, в Неаху, и как же это и когда же это он упрямится, проклятый!

Потом строили сарай и опять все по новой— кирпич, лес, шифер, достать, привезти, а еще набрать камешников, подносчиков, мазальщиков, кровельщиков, корнит их и пить— и так, чтоб не осливали, а это не всегда просто. Основные работы бывают летом, когда труднее всего с мясом. Курей резать нерасчетливо, в это время они как раз несутся, а кто— рано, у них плохо выдвигаются перья, остаются противные пеньки. Можно, правда, обдирать их, как кролей, но что ж это за утка на столе— ободранная?!

Закончили с сараем— подошло менять шифер на доме. Положен был неважно, чужими ж руками, без толя на подсти. Вроде и плотно, но за зиму не раз надует снега на чердак. Купили железа черного, семьдесят листов,— прибавилось еще работы. Чистим, красим и как на зло— дожди да ветер, а нужна жара. Закончили с железом— непохожо бы и водяное отопление устроить, на печное требуется много топлива да и греет оно неравномерно, в кухне всегда тепло, а в зале, где телевизор, холодно, и отсыревают стены по углам. Поставить водяное могут забредающие в село специалисты, но берут кучу денег, и надо долго ждать. И опять должен я: искать в Москве десять батарей и семьдесят метров труб, да чтоб непременно все законно, по государственной цене, да и оправдательно бумажку чтоб на всякий случай дали, от правлять их малой скоростью по железной дороге, трубы— в разрезанном виде, а они еще оказываются и неподходящими. Виктор, получая их, бодрится, но я-то знаю, как ему досадно и хлопотно: откладывать эти и добывать другие, а еще досаднее— слушать почти больных от новой незадачи женщин в доме...

Выпадало, правда, приезжать к ним и без дела, как на проводах Виктора в армию¹, на его свадьбу² или к рождению ребенка, но и тогда не всякий раз получалось застать их без того, чтоб не было у них

¹ «Юность», 1973 № 10.

² «Юность», 1974 № 10.



какого-нибудь тяжелого переживания. С теми же родами. Почти до самого ответственного момента все было хорошо. Пришедшая к нам в дом худенькой, почти девочкой, Нина скоро поправилась, и по селу заговорили: «Гладкая стала». За две недели до родов Нине, однако, сделалось вдруг очень плохо. Виктора дома не было, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не сосед, Микола-корреспондент со своей машиной. Спасибо ему, не отказал. Другая соседка, медсестра Мария, всю дорогу до районной больницы простояла на коленях в машине, поддерживая Нину и делая уколы. Спасибо и фельдшерше Петровне — перед отправкой она успела сунуть ложку Нине в рот. Самой Петровне когда-то не успели, и от того дня у нее нет переднего зуба, выбили, когда расцеливали. Две недели Нина пролежала до родов, месяц после родов.

— Так нас сотрясло, — рассказывает мать, — что мы ночами не спали, днями не ели. Не дай бог никому.

И вот словно забрелижало в окне. Нет никакого тягостного дела, не о чем особенно переживать. Нина выздоровела, родившийся очень слабым ребенок окреп. Девочка растет тихая и веселая, и нянук у нее — две бабки здесь и две в другом селе, а еще ж и деды. Работы, конечно, много и у Виктора и у Маруси с матерью, но вся она теперь идет от уже готового, налаженного хозяйства. Установилась наконец порядок, основанный на простой природной очередности зимы и лета, утра и вечера, будня и праздника.

Одно дело, правда, подвернулось в этот раз и мне, но совсем нехлопотное и даже приятное. Мать решила, что я должен выкопать яму, в которой будут хранить жом для коровы. Час до завтрака, час после обеда — и так, не особо утруждаясь, за неделю управлюсь. Виктору останется только обложить яму кирпичом. Выбираем место, намечаем размеры, и утром, поплывав на руки, я приступаю.

— Тебе это вместо зарплат, — говорит мать, — а Викте облегчение. Сэкономилу ему выходной.

И действительно, что может быть лучше, как не умыться, не выкурив ни одной папиросы, с непокрытой головой и в майке выйти под колючий ветерок и согреться с лопатой в руках?

Виктора и Маруси нет, уже давно в поле. Около девяти уходит на свою работу в швейную мастерскую Нина. Я вижу, как она заглядывает в летнюю кухню сказать об этом матери. Она тщательно одета, причёсана, на ногах блестят туфли, в руках сумочка; движения осторожны — у двери висит замаскированная телогрейка, не прикоснувшись бы и Виктор и Маруся уходят не так. На них все грубое, толстое, рассчитанное на день под открытым небом, от ворот они могут вернуться к сараю, убрать брошенные возле навозной кучи вилы или долить поила кабану. Нина первой из этой семьи на работу надо в чистом.

Проводя Нину, мать выносит из дому ребенка и табуретку. Есть свободных полчаса, и мать усажива-

ется возле меня. С ее колен девочка внимательно следит за утками, которые карабкаются на холмик свежей земли, выдергивая дождевых червей. Одна за другой они подкапывают и жме, становятся торчком на самом краю и заглядывают вниз; иная, кажется, вот-вот опрокинется, маленьким туфлом брыжком. Земля, черная и влажная, налипает им на клювы — бегут ополоснуть в корыте под яблоней, и нет в этой земле ни крапинки песка или гнилы. Могутич чернотом, наше столетиями невыпаханное золото!

Девочка ерзает, раскрывается, из-под одеяла показывается пеленка. Я мальком выглядываю на эту пеленку и отставляю лопату. Что-то непонятное... Фабричное, верболоужий шерсти — американское — одеяло и домотканая — я узнаю материал — пеленка! В исподнем из такого полотна я ходил после войны, в детстве, но откуда взялось оно теперь?

— Из моих сорочек, — говорит мать. — Лежали в сундуке, а тут сгодились.

— Да от людей же стыдно!

— Ха! Я их не украла. Сама пряла, сама ткала, сама в сундук клада. Вы мне что ни говорите, а лучшая пелешка для ребенка — полотняная. Она и крепкая, и теплая, и легко отстирывается. Теперь таких нет.

— Кто бы мог подумать...

— А я. Я и подумала. Ото набирают они колеников, а я молчу, не мешаюсь. Живите себе, как хотите, только в пелешках ребенок будет все равно в моих. На то и выплю.

— А ей не натирает?

— Ха! Ты в таком ходил — тебе натирало?

Я успокаиваюсь, беруся за лопату. Утки пытаются от выброшенного кома земли. Не натирало, мать, не натирало, спасибо тебе, дорогая, я помню. Что рубахи, что к рубашкам — все было мягкое, белое, неизносившее. Выстиранное, одушевленное за день на морозе, оно выносилось по вечерам в хату со стуком, как дрова, сваливалось на стол. В пече пылала солома, и в отсветах пламени вся эта студеная гора с торчащими из нее заколоченными рукавами и питающими начинала постепенно умягчаться, опадать. Могло ли тогда прийти мне в голову, что через двадцать с лишним лет я буду вспоминать такие вещи почти с нежностью? И те ящики из-под пороха, в которых хранилась конопля для сева, и то лукошко, из которого ее сеяли, и ту отполированную до глянца тербелуку, на которой ее мяли, трепали и чесали, и прялку у окна, затянутого изморозью, и ткацкий стан посреди хаты, и коромысло, на котором весной носили готовое полотно в лужок за огородом, где я и то дело окатывая водой, должен был отбеливать его под солнцем.

И можно ли было тогда подумать, что вот сейчас, глядя на девочку, родившуюся в семьдесят третьем году, я почувствую мимолетное сожаление, что, подрастая, она не будет сжигать на том лужку, установленном сначала серыми, толстыми, а потом становящимися все белее и тоньше дорожками, обаянная сде-

дать их за лето совсем белыми и тонкими?.. Ведь это ж такая приятная работа! Сидишь себе на траве, читаешь книжку, недалеко пасется принудительный тележок — можно, наскучив книжкой, подойти и пободаться.

Девочку назвали культурно — Викторией. Выбирал имя отец, Виктор, совета ни у него не спрашивал. Задача была — назвать не как все. Я ждал, что мать расстроится и будет мне жаловаться, а она довольна: это имя для нее звучит по-городскому. Я смеюсь.

В городах теперь Денисы да Лики-Лукерыи.

Мать думает озадаченно, но, как всегда, недоуго.

— Это с ума сходило. По селам кончалось — по городкам началось.

— Может, так и надо? — говорю я. — Если не в селе, так в городе, а Лукерыи быть должны?

— Не знаю, — говорит мать. — Одним — одно, другим — другое. Только хлеб никому не надоедает.

По воскресеньям молодые ездят в город. Считается — на базар. К рулю вымытого снаружи и внутри «Запорожца» садится Виктор, полная Нина в зеленом платье устраивается рядом, кладет на колени сумочку. Перед женьбой у Виктора был план, чтоб водить машину непременно научилась и она. На виду села бесечно сиживаясь за пассажира ему было бы приятно, но когда дошло до дела, Нина отказалась: зачем им выделяться еще и этим?

— Хоть к обеду бы вернулись, — говорит мать. — Какой там базар! В книжном проточар.

Собирать книги Виктор начал еще в армии. Однажды в часть приехал генерал и, узнав, что накануне там крутили «Бей первым, Фредди!», выстроил всех на плацу и учинил разнос: почему смотрели и были от Фредди без ума? С улыбочкой между строк Виктор мне сообщал, что генерал требовал читать хорошие книги, а какие хорошие — не сказал. Я послал Виктору список: «Казаки», «Поединки», «Приключения Веси Джексона». «До этого и не знал, что есть такие книги», — писал он о «Поединке». Теперь их у него полно в шкафу и на шкафу, и книжные продавцы в двух ближних райцентрах знакомые.

Проездили они до двух часов, привезли новый, в толстом синем переплете «Кобзарь», что-то старое без обложки, начинающееся с одиннадцатой страницы («Жена Иоанна, по имени Елена, была женщина христианская и гостеприимная и потому весьма радушно принимала преподобного...»), и ведру слив. Слив — ради бабуси, были, мол, мы и на базаре. Я докупывал Иван, они стали, зовя обещать, надо мной: Виктор весело спросил, не отыскался ли тайник. Надежда была не совсем сказочная. Где-то в этом месте когда-то стоял поргбг прежнего хозяина нашего подворья Ивана Зиньковича — разбойного человека, всю жизнь хоронившего в земле золото и деньги. Такой это был поргбг, что украл однажды до войны Иван Зинькович корову, и поместилась там живая. А золото ведь не корова, есть оно не просит, лежать может вечно.

Мы смеялись.

— Смешного мало, — подошла к нам мать. — Свою третью жинку он за это золото вогнал в могилу. Сам потерял место скова, а ее давай бить: ты высмотрела и перепятала!

Нина вздохнула:

— Жадность.

— Та чи жадность, чи глупость, — сказала мать. — Такой и в старое время по-настоящему богатым не мог бы стать. Гроши надо класть не в землю, а в хо-

зяйство. Накопалть и в дело повертеть — не жадность. Проедать да прогумивать — ото жадности!

Виктор присвистнул, Нина наморщила лоб, я оставил лопату. Это было что-то новое. Выходит, тот, кто пьет-гуляет, а в доме одни голые стены — жадный? А кто книги покупает и на курорт ездит? А у кого уже все есть? Ведь хозяйство не резиновое. Если все время накапливать, копнеть. Мать спокойно выслушала наши веселые (но и серьезные, для Нины и Виктора куда серьезнее!) попросы и ни одного, довольная своим учительным положением, не оставила без ответа. Книжечек, конечно, хватало и в библиотеке, но покупать — покупайте. Случай чего, их продать можно. На курорты ездить тоже надо, это не жадность. Пьяница не поедет никогда, потому что курорт — это здоровье на будущее, а пьяница живет одним днем, и потому-то она и считает его жадным. Ему, аш бы сегодня брюхо уласстить. Это такие звери есть: схватить и сразу съест.

— Ну, а хозяйство, хозяйство, — напоминал Виктор.

— Что хозяйство?

— Не копнеть?

— У тебя и помимо хозяйства теперь, слава богу, есть на кого работать. Забыл?

С рук подхлывший к нам Маруси еще бледненьким, но своего уже требующим ростком вытягивался в нашу сторону ребенок.

Я стал выезжать из ямы... Как у матери все всегда сходило!

То и дело возникает домашний разговор вокруг моих писаний о Старой Ярыне — кое-что ведь уже напечатано. Начинает обычно так:

— И шо ж это ты поникал всякой глупости, что нам и на улицу не выйти? И шо ты только себе думаешь, что написал и уехал, а нас по языкам носят? Это ж мы тебя, считают, научам, а ты и слушаешься.

Марусе такой отзыв кажется невежливым, я для нее хоть и брат, а все же гость.

— Хватит тебе клепотаться, — останавливает она мать. — Ты им отечай, как я. Убил он кого дин в колхозе что украл?

— И никто б той глупости и не видел, — она несколько успокаивается, — в селе того журнала Викто и не получает, да младшего Бескишкого понесла легкая в Харьков — и купил. Читали и в конторе и на ферме дояркам зачитывали. Та шо ж он там написал, говорю своим, такого? Дайте посмотреть. Села после плати, очки надела да, прочитай, выдрада те ластик и в оголь кинула.

К обеду заходит Иван-сосед, выпивает первую — за встречу — рюмку, нюхает хлеб и останавливает мою руку с бутылкой:

— Писанка твоя мне не понравилась. С первых слов.

Я все-таки наливаю ему вторую.

— Написано не по делу. Кто кому ребенка сделал — не имеешь права о своем деле.

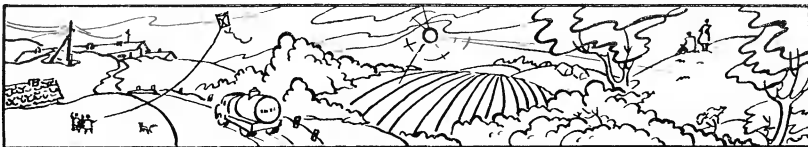
— Иван, да я ведь осторожно. И фамилий, если что такое, не указываю.

— Все равно. Мне не интересно. Кто какой, я и сам знаю. Если б ты производственное что дал. За начальство там, за буряки — как их поморозили.

Он придвигает к себе рюмку, твердо прикрывает ее ладонью:

— Я такие порядки не люблю. Мне это не по душе, понял? Заплатил б шофером как следует, и ни один буряк под снег бы не попал.

— Ты уж, Иван, меня прости. Я понял.



— Обошел производство — ладно, побоялся. За место всяк держится. Тут человек на тракторе, и то держится. А вот зачем ты написала, что у меня живот растет? Возле конюшни встретили и смеются...

Он ловит на себе мой взгляд и вдруг мирно и грустно улыбается:

— А пуза уже и нет.

Один разговор, другой, и постепенно я начинаю улавливать что-то вроде закономерности. Больше всего недоволены те, кто ближе к нам живет. Собираюсь проверить это у Маруси, как вдруг она сама возвращается однажды вечером и объявляет:

— А ты знаешь, кому понравилась? Мотря Поповой! Встретила меня сегодня и говорит: «Передай ему, что я довольна, пусть не мелют. Такие мы и есть — все гроши нам да хозяйство».

Мотря была с далекой удачи.

— Где она сейчас? — спрашиваю я. — Неужели до сих пор донт?

— Донт! — смеется Маруся. — Такая она откровенная — то для меня самый лучший человек в селе.

Два брата Мотри жили по городам, сестра где-то работала агрономом, помощи им уже давно никакой не требовалось, а она, самая старшая, как пошла когда-то ради них дояркой, так ею и оставалась. Больше двадцати лет бесмянуса, теперь она была едва ли не единственная такая доярка на весь колхоз.

— А может, и последняя, — сказала Маруся.

У Мотри, кажется, был и орден, и если бы кто-нибудь из трех-четырех председателей, сменивших друг друга на ее памяти, сильно захотел и создал бы ей условия, она могла бы и больше прославиться. Тогда бы все коровы у Мотри дружнее темелись, и каждую неделю, месяц и год была бы Мотря первой — и домнее б оставалась молодой, полной и крепкой, со своим на все село когда-то знаменитым румянцем. Но я не знаю, было ли это лучше, чем сейчас, когда она первая, то вторая, то третья, зато может, глаз не отводила, ни на улице и, встретив Марусю, сказать: «Что они там мелют — все же правды»...

В общем, сестра меня сильно обрадовала, и, поразмыслив, я решаю, что народом-таки быть попят.

— Одна Мотря народ! — прищуривается мать.

— Ничего, мне хватит и Мотри.

Окинув взглядом наши беспечные, но неуступчивые лица, она взвешивает обстановку и сухо закрывает тему:

— Все равно. Если хочешь заработать, не пиши о своем селе.

Как и прежде, в доме много говорят о колхозных делах, больше всего, по обыкновению, женщины. Виктор помалкивает. Он бережет свои нервы, но по коротким, нечестным его замечаниям я угадываю, что дело не только в этом. Он на четвертом курсе зоо-агрономического техникума, и ему нужны дру-

гие собеседники, домашних уже мало. Домашним без разницы, на силос или на зерно косил он сегодня гибридную кукурузу. Они не понимают, что гнать гибридную на силос — все равно как резать стельную корову.

— Чем же они думают? — спрашиваю я Виктора. — Кто? — медленно поворачивает он желтоватую голову.

— Ну хоть председатель, агроном?

— А-а...

Дальше он о них не продолжает. Ему приятнее говорить о кукурузе. На вид она неважная, низкорослая, а початки, если приглядеться, пощупать, ничего, тяжеленькие и сухие. Впопыхах приличные початки.

Видя, как неправильно Виктор переживает — все в себе, молча, а это, особенно когда человек непонятный, вредно для сердца, — Маруся жалеет, что он пошел в тот техникум и хорошо учится. Косил бы, что скажут, и, лишнего не зная, только здоровее был бы.

А мне интересно.

С каждым годом Виктор все трезвее судит о делах и людях. Техникум техникумом, но помогает и жизни, идущая своим чередом. В колхозе поменялось руководство. Ждали чего-то особенного, надеялись на лучшее, получили же что-то непонятное. Новый председатель живет в райцентре, на работу — по первому то году! — ездит к девяти утра — свеженький, бодренький, говорливый, как студент из самодеятельности, и Виктор по-другому начинает смотреть на то, что было раньше.

Прежний председатель хотел все делать сам, казался чересчур хлопотливым и недоверчивым, а между тем, обходя ежеутреннее еще сонное хозяйство, в шестнадцать часов зная-таки лучше всех, где, что и как. Имел любимца, бывшего учетчика и многоопытного бригадира Якова Васильевича, и не всем это нравилось. Перед уходом на пенсию успел поставить его главным агрономом, и год тот поработал.

Смеялись: какой из него, обыкновенного колхозника, немолодого, массивного, не очень умеющего составлять бумагу, главный агроном? Знали: уж очень открыто стремился на эту должность. А теперь Виктор рассуждал... Погромыхивал Яков Васильевич голосом, путался в бумагах и вроде ничего за год и не сделал особенного: только велел прорыть канаву на давным-давно запущенном лугу да сладить два мостика через ручейку. А год выдался невиданно мокрым, и та канавка с теми мостиками спасла хозяйство весь заречный урожай! Почему не кто-то другой, а именно Яков Васильевич позаботился о заречье и в тот именно год? Отчего не бывший до него молодой, с галстуком, выпускник академии, умевший и бумаги оформлять и дело, кажется, знавший? А оттого, наверное, что Яков Васильевич еще по детству помнил то заречье — какое оно было ухоженное, где там проходила не земским ли землемером нарезанная система водоотвода, как она действовала и чему служила. Он, может, потому и к должности стремился, что ни

о чем так в жизни не мечтал, как окинуть хозяйским взглядом запущенную землю и сказать: «Здесь — рыть канаву, там — делать мосток». И люди будут помнить. Грохлящие забудут, а это будут помнить.

Ну, а молодой, попытаться я у Виктора, водившего с ним знакомство, академик, что же он? Почему так, что диплом дали ему, а заречье досталось колхознику в белешетовом галфе? «Я», — говорил он Виктору, — грубо в селе, за год ни одной книжки не прочитал, — и быстро-быстро убрался в райцентр.

— Теперь почитывает? — спрашиваю я.

— Врда, мн., — отвечает Виктор. — В райцентре тоже не засиделся. От чего ушел, к кому и пришел: опять работает главным агрономом, только в родном селе. В Полтавской области. Там отправляли на пенсию агронома, и он быстро-быстро туда. И жена его, для которой все у нас воняло навозом, с ним.

Вот так. Сидел человек в Старой Рыбине, «забивал» про огрубление, про не терпеливо названного запаха жену, сидел в райцентре, «забивал» про что-то еще, а жила-то, оказывается, совсем другим — понятным, разумным, благородным желанием выбраться в родные края. Что Сумщина, что Полтавщина — какая, кажется, разница? Та же степь, такое же, наверное, село — две-три бедные побеленные хатки на целую улицу кирпичных домов, и не больше сотни километров расстояния, а вот надо же! У нас ему все чужое, а там свое, родное, и — ждало его, тянуло, хотело быть, такое же заречье, какое он без всякого сожаления оставил здесь Якову Савильевичу...

Обыкновенная это история, и я не знаю, обратил ли бы на нее внимание, если бы впервые в жизни не почувствовала, какая это, в общем, несправедливость, когда в колхоз, в живую нормальную семью со своими старшими и младшими придет незваный, со стороны...

Не везет, и все. Столько лет жило, работало село, не очень, может, хорошо работало, но лучше соседних, гордились этим, знало себе цену и вдруг словно чем-то провинилось: в один год высадился в нем целый десант начальствующего народа. Не поймешь, то ли работники, то ли комиссия. В техникуме Виктору велели подумать о работе по специальности, ведь скоро получат диплом, и он уже ходил в контору начет устройства. Вернулся мрачный, не с кем говорить. Все главные — чужие, потому его не знает, стоя там перед ним, как в отделе кадров на заводе.

— Давай, — говорю ему, — и ты куда-нибудь в другое село. Куда-нибудь недалеко. Раз такая тут линия, что надо нас перемешать.

— Буду тут. Всех не перемешаю.

Дай-то бог.

В последнее воскресенье мы едем собирать шишкину¹. И Виктор и Нина одеваются по-выходному, хотя лезть по колочим кустам было бы удобнее в чепи-буди поплотнее. Выезжаем за село, и почти по ступице колес машина утонет в мягкой пыли. Под ее шлем задыхается серая, сухая, из последних сил ждущая осенних лишей лесополоса. В ней видны густо усеянные падоими кусты шишкины, но пробраться к ним нечего и думать. Спешиваем возле дубовой рощи на склоне поля, переходящего в луг. Здесь, на полянках и в оврате, шишкина стоит незапыленная, хорошо различимы цвета ягод — красные, бурые, зеленые. Нина не была в этой стороне со школы, с выпускного дня, когда бежал среди дубов всем

классом, и ей радостно попасть сюда снова. Она вспоминает свои багники, белое платье, из которого так быстро выросла, подруг. Надо чаше ездить, ходить — и сюда и в другие места, за ягодами, грибами и просто так, — а не только в город за промтоваром. Нельзя жить только работой, домом, огородами...

Это — понос. У моих сверстников, а тем более у утех, что поstarше, кому сейчас за сорок, такого настроения в возрасте Нины и Виктора не было. Грибы, ягоды, удачи — все это оставалось где-то на пороге двенадцати-тринадцати лет. Аишь, два-три человека в нас село были известны как любители убить время и ноги, а изредка и зайца в зимнем поле, да столько же — закинуть сеть на зорьке или повозиться возле ульев. И вот оказывается, что были они, как тот слабый ручеек на дне высохшего русла, который кто-то терпеливо поддерживал до лучших времен, чтоб не затнулось оно бесследно. Долгое время от них, а теперь уже и от Нины с Виктором начинают расходиться круги покоя, желания жить, не смешивая день с ночью, воскресенья с понедельником, остановиться и оглядеться, заметить, что созрела шишкина, что на прилавке появился новый «Кобзарь», да и кукуруза, кукуруза тоже — что ее початки тяжеленные и сухие. Ведь не сослужи и не сдуру велели их рубить на силос — из торопливости, из рвущей на ходу подметки неуменности...

— Значит, — говорю Виктору, вспомнив об этом, — никуда не хочешь?

Просовывает в куст голову с крутым затылком, молча снимает и кладет в целофановый мешочек ягоды. Не хочет. Ему хоть продавцом в лавке, лишь бы дома. А лет семь-восемь назад мечтал о мореходке.

Через несколько дней нам пора в Харьков, к московскому поезду.

Выезжаем, как всегда, в семь вечера, с запасом.

В прошлые разы с Виктором за компанию, чтоб ему не скучно было возвращаться в темноте назад, ездил его друг, механик Миша. В ожидании поезда мы с ним, сидя в машине, поднимали на пососок. Несмотря на то, что последний час в доме бывал часом прощального застолья, после дороги не оказывалось лишним ни огурек, ни кусок курицы. По верку машины барабанил дождь, со своего места за рулем Виктор без завысти поглядывал на закусывавшего друга, а тот, сочувственно подмигивая, на него. Но сегодня Миши с нами нет. Он наконец женился и уже год как в Харькове, мастером на заводе. Девушку взял родом из своего села — инженер-станочница, она-то и устроила его к себе в цех. Где-то на окраине снимает комнату. Ей привычно, она, если учесть студенчество, лет восемь горюжанка, а каково ему — по электрочкам, очередам да по чужим углам?

— Чего тебе не сидится дома? — говорил я ему год назад. — Человек ты молодой, видный, умеешь ладить с людьми. Стал бы бригадиром в Старой Рыбине. Тесть Виктора — в Новой, а ты бы — в Старой. Разве не приятно повести такое село?

Мне очень хотелось, я просто мечтал, чтобы Старую Рыбину в конце концов взяла на себя кто-нибудь молодой, сильный, уверенный. Одно время, лет десять назад, случился такой, и люди не могли нарадоваться, Николай Гончаренко, восемнадцатилетний Микола Иванович. Высокого роста, широкоплечный, с осянкой юного офицера и степенностью умудренного хозяина, а вырос таким без отца, в покосившейся хатке, при матери, не видевшей за работой белого света. Когда он, с отличием закончив техникум,

¹ Шишпоеник (у в р.).



стал бригадиром на всю Старую Ябину, я даже не поверил. Ведь когда-то в ней было четыре колхоза, четверто таких орлов-председателей, что куда там, казалось, после них одному восемнадцатилетнему! Управлялся, однако, не хуже. До рассвета, по холостому положению, с друзьями и подругами в клубе и за клубом, а на коровьем реву, только-то иногда и успе, что сменить белую рубашку на клетчатую кофайку, уже запрыгал в линейку своего командирского коня, и те же друзья и подруги, исключая, может быть, одну, для которых он ночью был Миколой-Николом, не раз бывали поднимаемы с августовских сенокосов свежим и неутомимым Миколой Ивановичем... Теперь он где-то в Белоруссии, управляет целым районом. Служил там в армии, его и присмотрели.

И вот понимаю: правильно сделала, что присмотрели, это хорошо, что у белорусов губа не дура, это, может, и справедливо — они столько потеряли на войне, а в то же время и жалко.

Ну что б тому белорусу оказаться не таким причудливым!

— Вверх пошел парень, — замечал, слушая меня, Миша.

— И ты бы смог! Начни со Старой Ябины. Ты не так давно кончил школу — «Мертвые души» еще не забыл. Понялши, Чичикова учил умные люди? Начинать нужно с начала, а не с середины, — с копейки, а не с рубля, — снизу, а не сверху... Виктора взяв бы к себе агрономом. Одни механик, другой агроном — вдвоем вы бы гору свернули!

— Оно конечно...

— А с тестем Виктора соревновались бы.

— С ним посоревнуешься, — отвечал Миша, — А жена?

— Так она же у тебя станочница. В шести километрах мастерские «Сельхозтехники». Много ли там инженеров с заводским опытом?

Подкручивая пыльные баки на румяном лице, неопределенно улыбался.

...Вместе с темнотой на шоссе как-то вдруг, не сразу нами и замеченный, опускается туман. Он становится все плотнее, и вот уже ничего не видно, сплошное молоко.

Виктор включает желтые фары, сбавляет скорость. В густых белых волнах машина плывет на ощупь.

Возле какого-то городка нас останавливает милиционер, тревожно и заботливо, без обычной власти хозяина дороги, проверяет тормоза, уговаривает: не переждем ли? Да, сегодня на обратный путь Миша был бы Виктору не только для компании.

Ну что ж, один так один.

Время от времени Виктор выключает желтый свет и переходит на белый, — то мигает, то разом тушит

все фары и едет совсем вслепую. В такие моменты почему-то чуть более различимыми становятся края дороги. В одном месте откуда ни возьмись — то ли вывернулся с просека, то ли мы его догнали, — перед нами оказывается грузовик, идущий в нашем направлении.

Виктор немного расслабляется. Теперь пристроимся за ним, и будет легче. А если ему тоже до самого Харькова, то и совсем хорошо.

Не приближаясь и не отставая, Виктор вспоминает одну историю из своей шоферской жизни. Как-то, еще до армии, он был в дальней поездке на колхозной трехтонке и ночью, где-то в Донецкой области попал в такой же туман. А спешил. Сначала перед ним маячили красные огоньки идущих вперед машин, потом они начали исчезать — шоферы сворачивали на обочину и глушили моторы. Сбавив скорость, Виктор продолжал вести свою машину, а по правую руку темнела неподвижная длинная колонна. Не такая длинная, какие он потом видел во время знаменитых маневров «Днепр», но все же... И вдруг из нее вывернула и пристроилась за ним одна машина. Через несколько минут — другая и третья. В конце какого-то затяжного подъема он взглянул в зеркало и увидел за собой внизу смутную полосу рассеянного света.

В движение явно пришла вся колонна. Впереди — ни огонька, ни звука, а сзади — эта полоса и гул моторов, и так весь остаток ночи. Только в пригороде Донецка, почти уже утром, тот самый грузовик, который первым вывернул тогда с обочины, нетерпеливо мигнул Виктору фарами и пошел на обгон... Давай-давай, теперь ты смелый...

Я забываю о тумане и с надеждой думаю о том, что когда-нибудь, а может быть, и очень скоро — до получения диплома осталось меньше года — Виктор так же поведет за собой Старую Ябину.



Первая реакция была дружной: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Подделка. Шарлатанство. Специально отобранные ученики. Липа.

Если бы еще где-нибудь... за рубежами... А то у нас? В Донецке? Никому не известный учитель?

Нет пророков в своем отечестве; но шаталовский класс между тем прошел весь курс школьной математики и физики за два года и к концу девятого года обучения легко щелкал трудные для десятиклассников задачки, а теорию все знали наизуток.

Говорили: «Может ли такое быть? Нет, никогда... Значит, неповторимо хороший учитель, особое мастерство...»

Но вот методикой Шаталова воспользовалась сначала одна учительница, потом — шесть, потом с помощью Донецкого обкома и Института усовершенствования учителей — сорок с лишним сельских и городских преподавателей... И что же?



С. СОЛОВЕЙЧИК

ЛОГИКА ШАТАЛОВА

«82 процента учащихся получили четверки и пятёрки» (учитель В. И. Шипов, село Рыбинское). «Качество знаний — то есть процент четверок и пятёрок — 91%» (учитель Б. Г. Яблуков, село Новоселовка). «Отличных оценок — 58%, качество знаний — 93%». Эти результаты получены в очень слабых и инертных классах» (учительница А. Ф. Подставкаина). «В классы пришла тишина... Ни криков, ни понуканий, ни нравочений. Один только радостный учебный труд, который не утомляет и не раздражает ни учеников, ни учителя» (учительница М. Винокур, Донецк). «К концу учебного года из 103 учащихся на четверки и пятёрки успевает 91 ученик, что составляет больше 90%. Такого в школе не было еще никогда» (учительница С. В. Басс, Донецк).

Да может ли это быть? Не сон ли?

Виктор Федорович Шаталов на уроке.

(Кадр из фильма «Час ученичества»).

Пробовали математику, физику, астрономию, географию; преподаватель Донецкого горного техникума А. А. Липавский попробовал методику Шаталова на уроках горного дела. Вот что он пишет:

«Во все прошлые годы мои уроки получали самую высокую оценку администрации и коллег, однако сама я никогда не была удовлетворена результатами своей работы. Получаемая мною оценка не соответствовала затраченным усилиям, и коэффициент полезного действия уроков был очень низок. Студенты готовились к занятиям несистематически, интерес к предмету был слабым. После первого года работы по системе, разработанной нашим донецким учителем В. Ф. Шаталовым, я абсолютно убежден, что она решает практически все вопросы, которые стоят как перед школой, так и перед среднетехническими учебными заведениями... Ни в одной из пяти групп не осталось ни одного учащегося, который бы систематически не готовился к занятиям самым добросовестным образом... Прекратились пропуски занятий без уважительных причин. Устные ответы у доски стали полными, речь ясной. Во время ответов нет необходимости ни подсказывать, ни задавать наводящие вопросы. При ответах у доски и изложении нового материала каждая группа — сплошное внимание. Усвоение учебного материала очень глубокое. Из 149 учащихся 122 стали учиться только на 4 и 5».

В Чарджоу, в Туркменистане, преподаватель строительного профтехучилища № 12 Хемра Джумакулаев увидел урок Шаталова по телеэкрану в фрагментах из фильма режиссера Вадима Виноградова «Час ученичества». Он тут же поехал в Донецк, и корреспондент «Чарджоуской правды» И. Первозвонкова рассказывает в газете о посещении урока по основам промышленной электроники: «Не один год в свое время я проработала в школе. Да и сейчас нередко бываю там. Но не припомню такого внимания и интереса всей группы к уроку... Педагогический коллектив ГСПТУ-12 решил взять метод Шаталова на полное «вооружение» с будущего учебного года».

Всего в прошлом учебном году по методике Шаталова только в Донецке и Донецкой области обучали 4 342 учащихся. 3 560 из них (82 процента) получили четверки и пятёрки.

Так что же, «решение всех вопросов, которые стоят перед школой»? Конечно, не всех. Здесь и речи нет о преподавании литературы, языка, истории, словом, гуманитарных предметов...

Но все-таки: давайте, давайте наконец научимся верить в чудо! Тем более что чудо это рукотворное. Его истоки — в более чем полувековых традициях советской школы. Ничего сверхъестественного в этом «чуде» не просматривается. Только глубокое понимание психологии ученика и железная, ясная логика, углубление в корни.

Вот о логике Шаталова я и попытаюсь рассказать. Не о том, что он делает, не о том, что говорит, а о логике его педагогического мышления, насколько я ее понимаю. Не надо ездить в Донецк к Шаталову — пусть он работает спокойно!

Есть один крупный недостаток у современной массовой школы. Непрерывный с виду, недостаток этот наносит значительный ущерб педагогическому процессу. Преждевременный уход из школы, незнание, полужнание, разочарование в способностях, разбитые мечты, конфликты в семье — все происходит в значительной мере из-за того, что учитель массовой школы не имеет возможности ежедневно оценивать работу учеников. А это совершенно

не необходимо для учения. Учение в школе — единственный вид труда, при котором человек не в состоянии сам оценивать свою работу. Но, не получая оценки и от учителя, ученик начинает заниматься нерегулярно и, если он послабее, скоро отстает, перестает понимать учителя, теряет интерес к занятиям...

Как оценивать работу всех учеников на каждом уроке?

В самом деле: спрашивать всех устно нельзя, нет времени на уроках; проводить ежедневные письменные работы, как это делают учителя начальной школы, нельзя, у учителя нет времени. Нужно было найти что-то такое, что позволяло бы проверять работу ученика мгновенно, с одного взгляда.

Шаталов, как мне кажется, и нашел. Из всех учителей сегодня он один, и его последователи ежедневно оценивают работу каждого ученика по всему объему заданного материала и при этом тратят на проверку минимум времени на уроке и ни одной минуты учительского времени после урока!

Вот что открыл Виктор Федорович Шаталов, учитель из Донецка: надо дать такое задание, чтобы оно в компактном виде отражало домашнюю работу ученика и его знания. Надо проверять не знания в развернутом виде, а некую модель знания...

Надо ввести в школьный обиход конспект-схему! Как мысль человека может быть сферной, то развернутой, так и знания можно «свертывать» в схему, удобную для хранения, для работы и, главное, для проверки. Знание — пульсар: то расширяется, то сжимается, но оно есть в голове и всегда может быть опубликовано, выдано в любую минуту.

Поразительно, до чего простым оказалось решение проблемы, над которой учителя бились веками — с тех пор как обучение из индивидуального стало массовым, то есть со времен Комenskого. Ответ лежал на поверхности. Ведь конспект-схема — естественный, вневременной прием умственной работы. Каждый из нас, штудировав книгу или готовясь к докладу (а именно эти два вида работы преобладают в школе при изучении теории), каждый набрасывает столбцы ключевых слов, чертит одному ему понятные стрелки, ставит свои знаки. Каждый составляет для себя «шпаргалку», в которой при минимуме места и работы максимум информации.

И, заметим, этот процесс схематизации, кодирования, выделения главного, рубрикация — процесс глубоко творческий, требующий серьезного понимания материала, проникновения в его суть, осмысления. Для работающего с конспектом не остается возможности зубрить, ему постоянно приходится думать, сворачивать знания и разворачивать...

Дальше будет показано, как «работает» в классе конспект-схема, как была решена главная проблема массовой школы. Но к этому своему открытию Шаталов добавил еще 200 (двести!) других, не менее важных находок, новых приемов... По сути, лучшие достижения советской педагогики и психологии учения Шаталовым и по-новому использованы. Не случайно опытные учителя говорят: «Да ведь и я делаю многое из того, что делает Шаталов...»

Войдем в класс Шаталова не с начала урока, а для удобства понимания к тому времени, когда учитель готовится объяснить новый материал. И сразу — ошеломительный темп.

На одном уроке, за десять — пятнадцать минут Шаталов излагает огромное, казалось бы, неподъемное количество теоретического материала.

Выступая перед учителями одной из московских школ, он за 15 минут написал классную доску и уложил на ней полную (в пределах школьной программы) теорию квадратных уравнений, с выводами и доказательствами. Потом спросил учителей:

— Сколько уроков отводит программа на этот материал?

— Нет, учителям я рассказываю медленнее, — улыбнулся Шаталов. — Я трачу на этот материал примерно 20—25 минут...

За счет чего такая экономия?

— Нет, учителям я рассказываю медленнее, — улыбнулся Шаталов. — Я трачу на этот материал примерно 20—25 минут...

За счет чего такая экономия?

Ну, прежде всего Шаталов резко отделил решение задач от изучения теории. Программа предполагает, что после каждого небольшого «кусочка» теории ученики должны практиковаться в задачах. Шаталов считает это вредным. Теория должна опережать практику — принцип, выдвинутый известным нашим дидактом А. В. Занковым. Пусть ученик схватывает всю тему целиком, «глобально» (любимое словечко Шаталова) — так интереснее, так легче для понимания. Появляется радостное чувство быстрого продвижения вперед, и, приступая к задачам, ученик уже хорошо знает теорию. Ему легче.

Но как усвоить такой большой материал? Под силу ли это ученикам?

Оказывается, под силу, если учитель заботится о том, чтобы все ученики поняли его и знание укрепились в их головах.

Известный советский психолог П. И. Зинченко давно доказал, что понимание и произвольное запоминание — несовместимые умственные процессы. Когда учитель настраивает учеников на то, что после его рассказа тут же надо будет отвечать (да еще прельщает им угрозах отметкой!), — он дает установку на запоминание и, значит, мешает ученикам понимать материал. А когда какой-то из учеников что-то отвечает после рассказа учителя, — он только запутывает класс, сбивает его.

Шаталов же, закончив объяснение, разводит крылья раздвижной доски, и перед ребятами предстают красочный, цветными мелками исполненный (цвет имеет важное значение, он тоже несет информацию) конспект рассказа, который они только что прослушали. Этот конспект может быть и на плакате нарисован, или спроецирован на доску, или заранее вычерчен учителем, или просто в ходе рассказа воссоздан — все равно. И не ученики, а сам учитель быстро, по конспекту, не теряя лишних слов, объясняет материал второй раз, а то и в третий — «без зернения совести», как говорит Шаталов. Лишь бы все поняли!

Шаталов называет это «принципом двукратного изложения материала» и считает едва ли не главным во всей методике.

Кто не был у него на уроках, тому кажется, будто ребятам будет неинтересно слушать материал второй раз. А кто был, тот удивляется тишине в классе при втором объяснении: не дышат! Ведь если учитель рассказывает только один раз, то у многих остаются непонятые пункты, ребята теряют нить рассказа, теряют интерес, перестают слушать. В классе шум. Ученики же Шаталова спокойны: что непонятно при первом объяснении, станет ясным при втором. Кто все понял — с интересом повторяет материал в уме, словно готовят домашнее задание. А главное, очень увлекательно следить, как «озвучиваются», расшифровываются конспект на доске. «Вот

что интересно, — пишет одна ученица, — что в конспекте как бы набор слов, но после рассказа учителя все слова становятся весомыми, приобретают какой-то смысл». А поскольку материала много, то даже самым способным ученикам приходится внимательно слушать...

Но вот объяснение закончено. Сначала ученики Шаталова оставались после уроков переписывать конспекты, на это уходило много времени. Теперь Шаталов дает им готовые печатные конспекты да еще на стену вывешивает их, и на переменах возле них всегда увидишь ребят — проверяют себя...

Домашняя работа проста: прочти учебник, всмотри в конспект, «прокурти» в голове рассказ учителя по конспекту, запомни схему рассказа, то есть запомни конспект. Он навсегда, на всю жизнь будет каркасом знания данного материала, он должен отпечататься в сознании так, чтобы ты в любую минуту мог воспроизвести рассказ, воспользоваться знанием для дела... Ученик должен знать не сегодняшний урок, а весь пройденный материал — всегда! Но, может быть, мне не учить конспекта, не делать уроков? Может быть, меня завтра не вызовут?

Следующий урок, как и все уроки Шаталова, начинается так: входит учитель в класс, спокойно говорит:

— Заравствуйте! Садитесь! Приступайте!

И — тишина в классе. Учитель свободен. У него 15—20 минут отдыха.

Класс же старательно пишет-рисует конспект вчерашнего урока. На память, только на память! Поначалу, пока ребята еще не привыкли, иные из них, естественно, пытаются списать, подглядывать в тетради. Тут учителю приходится быть начеку. Но буквально через несколько недель, а то и через несколько уроков списывать перестают. Не нужно, не хочется списывать, гораздо интереснее воспроизводить конспект самим. Да и так ли уж это трудно? Всего одна страничка, много раз «прокрученная» в сознании, понятная до конца... Но она, эта страничка, написанная на память, отражает большую работу и серьезное знание. За нее смело можно ставить отметку!

Начинают сдавать работы. И опять новшество: всегда считалось, что учитель обязан исправлять ошибки, это его святая долг. А Шаталов не исправляет, бережет свое время. Он и в руки не берет красного карандаша. Один взгляд на листок в тетрадь, пять секунд — тетрадь ложится в стопку «пятирок», «четверок», «троек». Кто совсем не справился, у того сегодня будет пустая клетка в ведомости, «дырка» — придется сдавать в другой раз. Пять секунд на тетрадь, меньше пяти минут на весь класс — трудно ли их найти на уроке? Ведь сдать работы неравномерно... И через пять минут у всего класса чистые, трудные, справедливые отметки за весь вчерашний урок! Полный и абсолютный контроль!

А ошибки свои ребята сами поймут, потому что сразу после того, как все работы сданы, начинают отвечать у доски по тому же самому конспекту. Это гораздо легче, чем обычно, и оттого отвечают уверенно, спокойно, связано, а весь класс слушает с интересом, в голове у каждого вновь «прокручивается» рассказ, так что иные даже губами шепелят — будто сами отвечают у доски. По сути, вызванные или не вызванные, все до одного на каждом занятии отвечают урок у доски или в уме — и потому так поразительно быстро развивается речь ребят.

Потом — решение задач, потом — повторение, повторение, повторение самыми разными способами, потом новый материал, новый конспект — на двух, спаренных уроках времени хватает на все.

У Шаталова дисциплинирует само учение, логика учебного процесса. Его ученики просто не могут не слушать учителя — иначе как завтра напишешь конспект? И не могут не делать домашних заданий, и не могут не слушать ответы у доски. Не учился, а само учение предъявляет требование, и некуда деться — занимайся! Старайся! А тут еще косяком пошли в ведомости четвертки и пятёрки, жизнь стала совсем другой — ты человек! Ты способен! Так отчего же не заниматься, не слушать, не стараться?

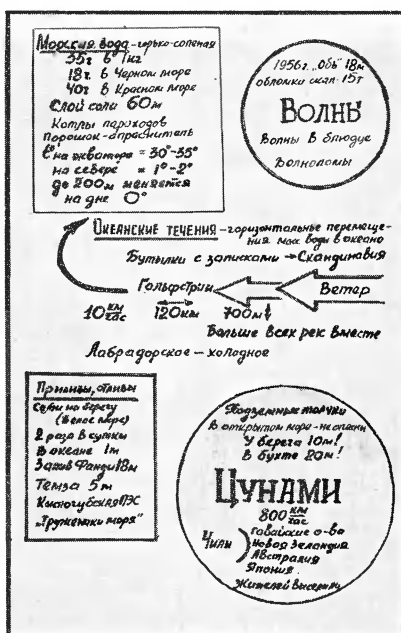
Каждый, даже самый отстающий ученик хотел бы выбиться в люди, получать хорошие отметки, да не всегда может. Он делает рынок, изучает задание, — а учитель не спросил, и порыв иссяк, охота отпала.

А здесь, на уроках Шаталова, действует принцип открытых перспектив: любой ученик, даже самый слабый может сегодня постараться, выучить только один сегодняшний урок, хорошо написать конспект и тут же получить самую первую пятёрку. А там — другую, а там — третью... Поначалу эти пятёрки почти ничего не значат (кроме того, что ученик старается, но разве это мало?), однако постепенно приходит и действительное знание, а вместе с ним и интерес к предмету. С любого дня начиная, каждый может учиться хорошо, и это сейчас же отразится на отметках, сейчас же будет замечено учителем, сколько бы у него ни было учеников, хоть двести. Иные учителя ловят учеников на незнании и тем заставляют учиться. Шаталов подавливает знание и тем побуждает хорошо учиться. Успех, собственный успех ученика — вот главное его оружие. И нет в классе никого, кто мешал бы учению и учителю, нет ни одного отстающего или отпавшего, ни одного равнодушного — общее увлечение учением захватывает всех.

Учительница географии М. Винокур пишет в газете «Комсомолец Донбасса»: «Легко ли это? Более двух месяцев ребята вживались в новую форму учения. Было все: и шпаргалки, и исписанные ладошки, и слабые ответы у доски. Но с каждым днем таких случаев становилось все меньше и меньше. Даже те, кого давно уже зачисляли в хронические лентяи, поняли смысла и значение систематической работы над материалом, поняли, что, приложив относительно небольшие усилия, можно обрести то достоинство и уверенность, которые присущи только самым хорошим ученикам... Дети наполнились радостью ученического труда, поверили в свои силы...»

Все хорошо. Но как быть с задачами? Как научить и отстающих ребят решать задачи? Конспекты конспектами, но вот первая контрольная и опять двойка! Или опять списывать? Но только ручки разведешь, когда увидишь, как Шаталов здорово все продумал, как точно понял он психологию ученика.

Шаталов начинает с того, что весь класс коллективно решает типовую задачу. Сначала типовую, для слабых! И опять у него «все не так». Один решает у доски, а все другие списывают свои шариковые ручки, тетради закрывают — устно решают. Когда задача будет решена, именно ее, а не похожую задачку на дом на отметку. Для крепкого ученика — чепуховая работа, три минуты, небольшая дань классу. Для слабого заново решить дома уже разобранную в классе задачу — трудное, но посильное



Конспект по географии для пятого класса. Вызубрить его невозможно, отвечать по нему легко.

дело, тем более что теорию он знает. Оттого даже самые слабые, те, что годами не пытались самостоятельно решать задачи, даже они слушают на уроке, стараются, думают, тиснят. А затем Шаталов дает своим ученикам по сто, по двести задач из всевозможных задачников, какие кто достал, до знаменитого сборника Сканина с его оригинальнейшими задачками включительно. Выбирать сам, какая задача по зубам, решать сколько хочешь — одну задачу, десять, двадцать... И никаких отметок, никакого учета количества решенных задач! Ничего формального — свободный выбор, свободное творчество. Только давай тетрадь на проверку. Учитель поправит ошибки, но отметки не поставит, как не ставит он отметок за решение задач у доски. И контрольных на задачи, по крайней мере в первом полугодии, не прогонит, чтобы не ставить слабых учеников в неравное положение, чтобы не побуждать их к списыванию. Шаталов торопится учить, но не торопится получать отдачу, он знает, что среди ребят много тупоумов, которым нужны недели и месяцы, чтобы материал улегался в голову, чтобы навыки окрепли, — и тогда окажется, что они еще и помнее иных «быстроумов». Только не торопитесь, не подхлестывать и не пугать отметками, дать зернишку знаний и умений, зернишку творчества окрепнуть, а не «выкапывать» его каждую минуту, чтобы

посмотреть, проросло ли оно, как это делают нетерпеливые дети... Терпение и вера!

Когда учитель берет в руки тетрадь ученика, у него две цели: он должен исправить ошибки и поставить отметку. Исправлением учит, отметкой побуждает к учению.

Шаталов разделил две эти цели.

Проверяя конспекты, он ставит отметки, но ошибок не исправляет.

Проверяя задачи, он исправляет ошибки, но отметок не ставит.

(До чего же все-таки, замечу в скобках, увлекательное это дело — педагогика, дидактика! Какой простор для изобретательства! Никогда не пойму современных мальчишек, которые воруют нос от педагогических институтов. Вот мужское, хитроумное дело — педагогика!)

В результате такого разделения у ученика пропадает страх перед задачей, перед математикой, перед учителем, перед отметкой, и он начинает решать задачи десятками, сотнями, списывает одну общую тетрадь за другой. Этого ниому учителю и не понять, в это поверить действительно трудно, но это так. Родители жаловались мне, что и телевизор включить невозможно: сын сердится, ему хочется задачи решать... А прежде, бывало, не усадишь. И, разумеется, ни о каком списывании и речи нет, и никто не звонит по вечерам отличникам: «У тебя получилось»! Незачем. Нужды нет списывать...

В первые два года Шаталову приходилось тратить время на проверку задач, хотя и не так много, сколько тратит, например, учитель на безнадёжные и порою бесполезные дополнительные занятия с нежелающими учиться двоечниками. А теперь тетради восьмиклассников проверяют десятиклассники, прямо на своем уроке, под наблюдением учителя, за пять-десять минут. Это было бы невозможно, если бы все старшеклассники не знали предмет так, как они знают у Шаталова, и это было бы безразлично, если бы ученики ставили отметки. Но ведь отметок нет — только помощь, исправление ошибок, минутная консультация. И выгода обоим сторонам!

Точка отсчета у Шаталова — слабейший ученик, но самую большую пользу получает у него сильнейший: нигде в обычном классе сильный ученик не имеет возможности решать такого количества сложных, нетривиальных задач, так быстро «расправляться» с теорией. У Шаталова правило: если учишься на «пять», то, например, по астрономии можешь получить годовую пятерку уже в феврале — марте и больше на уроки не ходить, поскольку теория вся позади. К концу года в классе остается лишь несколько учеников, а остальные занимаются другими, более трудными или более интересными для себя предметами... И что же удивляться, что из первого же экспериментального класса все 33 выпускника поступили в институты, и притом без всяких репетиторов, и сейчас хорошо учатся?

Подсчитаем прибыль.

Полностью снимается проблема двоечников, второклассников, отстающих и т. д., а заодно и проблема процентомании. За шесть лет Шаталову не пришлось поставить ни одной текущей двойки.

Полностью исчезают какие бы то ни было конфликты (из-за учения) в системах «ученик — учитель», «ученик — родители», «учитель — администрация», «родители — учитель». Нет для них почвы! Шаталов возводит это в принцип, принцип бесконфликтного обучения и считает, что это необходимое условие для нормального учения.

Полностью снимается проблема дисциплины на уроке. По исследованию психологов, ученики Шаталова показывают 96% активного внимания на уроке — небывалая цифра! При этом меняется представление о трудоспособности учеников: у Шаталова она не падает к пятому-шестому уроку, а возрастает, что доказано исследованиями. Ведь ученик устает не столько от работы, сколько от безделья, от шума на уроке, от нервного напряжения, от ожидания опасности... А здесь — моральный покой, споконствие, ничего непредвиденного.

Полностью меняется психология ученика. Неожиданный наплыв знаний, неожиданно обретенная уверенность ведут к духовному обновлению. Незачем говорить о воспитательном значении этих перемен...

Полностью устраняется деление на сильных и слабых: одни и те же задачи всем, и в присутствии посторонних Шаталов никогда не станет сам вызывать к доске: он просит гостей назвать цифру в журнальном списке. На кого придется — тот и отвечает, чтобы ученики видели, что для их учителя все равны, он во всех верит одинаково.

Резко сокращается время, необходимое для прохождения программы. Учитель освобождается от жесткого пресса и получает массу времени для лабораторных работ, для изучения дополнительного материала, решения задач, для проведения экскурсий — шаталовские ученики проводят много экскурсий на предприятия города. А в перспективе — усиленные занятия физкультурой (Шаталов очень настаивает на этом и сам занимается с ребятами на стадионе), искусство.

Наконец, резко облегчается труд учителя. Даже учитель-новичок, овладев конспектами Шаталова, начинает хорошо знать весь программный материал, и подготовка к спаренному уроку занимает 7—10 минут. Поурочный план фактически не нужен. «Новые формы работы не создают избыточных затруднений для учителя: незначительная нагрузка у каждого экспериментатора составляла от 26 до 32 часов», — пишет учитель, преподававший в прошлом году по новой методике.

Словом, можно понять корреспондента «Известий» А. Никитина, который побывал на уроках Шаталова и написал потом в газете, что увиденное поразило его не меньше, чем выход человека в космос...

Сейчас Шаталову 48 лет. Коммунист. Было всякое: и ругали его, и «закрывали», и иные комиссии грозили ему ударом — иди, доказывай потом, что ты прав... Но вот в конце июня нынешнего года Виктора Федоровича вызвали на доклад в Академию педагогических наук СССР, где обсуждение работы учителей-инноваторов (а их сегодня становится все больше и больше) входит в систему. Шаталова слушали крупнейшие наши педагоги. Три часа продолжался доклад и выступления, зал был переполнен, Шаталову долго аплодировали. Матерные весьма одобительно отнеслись к работе учителя, хотя и говорили, что в его методике есть еще возможности для развития, — но ведь это хорошо!

...Ах, если бы когда-нибудь поломалась тоскливая поговорка о пророках в своем отечестве! Ну хоть бы на Шаталове споткнулась, а?



**Михаил
МАРИН**

«ПОЙМАТЬ НАГЛОСТЬ ХОДА»!

С то странное выражение — «поймать наглость хода!» — я впервые услышал от тренера Леонида Живодерова перед самым отъездом наших велосипедистов-шоссейников на Олимпиаду в Мюнхен. Тогда в Тракае под Вильнюсом, где мы жили, решался главный вопрос: «Кто поедет?»

Живодеров, как всегда, кипятился, выплескивая каждый день все новые и новые варианты четверки «командников». Виктор Капитонов — старший тренер сборной, — как всегда, до поры до времени помалкивал, но все знали, что последнее слово за ним. И ждали этого последнего слова.

— Лихачева-то он, конечно, возьмет, — говорил Живодеров. — Он нужен. Он может поймать и проявить наглость хода.

— Как это — наглость хода? — спросил я.

— Наглость хода — это наглость хода! — взвился Живодеров. — Понял!

На снимке: Варшава, финиш велогонки Михаила Марина.

Валерий Лихачев: «Въехали на стадион, эх, думаю, чикнуть, что ли! И чикнул финиш».

После победы нашей «четверки» в командной гонке на 100 километров каждый из олимпийских чемпионов — Борис Шухов, Валерий Ярды, Геннадий Комнатов и Валерий Лихачев — по-своему разъясняли мне, как и почему они выиграли.

И вдруг Лихачев говорит: — Мы должны были поймать наглость хода, и мы поймали ее.

Я спросил теперь уже Лихачева, что сие значит. Он рассмеялся.

— Сам толком не знаю, что это значит. Но Живодеров придумал такое. Есть она — эта наглость хода... И мы ее поймали!

Вообще «поймать ход» — выражение в спорте довольно распространенное. И конькобежцы «ловят ход» и лыжники. В двух словах это значит — найти ритм, темп... Или точнее — когда все получается, когда чувствуешь силу, легкость, когда пришел, наконец — и ко времени! — пик формы.

Но — наглость хода? Как ее можно «ловить»?

Тогда я вспомнил первую нашу встречу с Валерием Лихачевым. Было это давнишнее, лет десять назад. В Горьком проходила велогонка по улицам города. Тогда еще жив был Саша Кулибин — гонщик удивительный и знаменитый, с которым где-где, а уж в Горьком никто в ту пору соперничать не мог и не смел.

Но вот видим: «припал» к Кулибину какой-то паренек и не отстает. Круг прошол — он рядом, еще круг, еще — а он все рядом, не отстает. Спросил: «Кто такой?» Говорят: «Из Заволжья мальчишка, вроде бы второразрядник, но смотри, что делает, наглец...» «Наглец» было сказано чуть ли не с восхищением.

«Наглем» был Валерий Лихачев. Сохранился снимок, где он, действительно тогда еще мальчишка, летит к финишу «на колесе» у самого Кулибина!

И я понял, что это и была та самая наглость хода! Понял, что мало быть сильным, мало чувствовать пизать свою силу. Нужно еще и очень верить в нее. И не только самому верить. Надо заставить поверить в то, что ты сегодня сильнее всех, еще и своих соперников, надо их застрашить, если хочите, обескуражить, заставить растеряться, заставить вдруг разуввериться в собственную силу, в своих планах, которые они перед гонкой строили и в которые верили, надо доложить им, что они просчитались, когда сбрасывали тебя со счетов. Вот как я понимаю теперь эту самую «наглость хода», которую надо поймать и проявить.

И Лихачев на это дело большой мастак. В семьдесят третьем году он впервые пошел в гонку Мира и наделал там страшный переполох, выиграв шесть этапов — рекорд в истории гонки Мира! Вернувшись домой, он сказал мне, что шесть лавровых венков — это приятно, но главное, что «мама» его наконец-то признала.

— «Мама» меня там признала, это я понял, — сказал Лихачев.

«Мама» — словечко велосипедистов. Так они окрестили головную, лидирующую группу в гонке. Но когда Лихачев говорил: «Мама» меня признала, — то имел в виду не какую-то группу, которая в той гонке на каких-то этапах шла вперед, он имел в виду вообще лидеров мирового велопорта.

Юрий Петрович Самойлов, механик нашей велосипедной сборной, который в мировом велопорте знает все и всех, рассказывал, как победитель той гонки Мира поляк Шурковский жаловался: «С Лихачевым нечего делать, если он начал финиш. Выиграть финиш у него нельзя. Пустая трата и сил, и времени, и нервов».

Самойлов рассказывал, что его коллеги — механики из Бельгии признались, что даже сам Меркс, их великий соотечественник, вряд ли бы сумел выиграть у Лихачева в той гонке дуэля на финишах. А уж Меркс-то — признанный «король финишей».

Лихачев говорил:

— Если я начал финиш, то уж он мой. Зачем же я должен его кому-то отдавать?

Но это просто сказать: «Он мой».

Тот же Самойлов — человек, о безстрашии которого ходят легенды, говорил, что он от страха глаза закрылся, отворачивался, когда видел, как Лихачев вырывался на узкие улочки городков и так же на поворотах вирazio закладывала, что ни по какой теории устоять на этих виражах не мог, но прохода им на сумасшедшей скорости и не падал. А все остальные ритм в ужасе шаркались.

Вот так он «брал» свои финиши. И это тоже — «наглость хода».

Да, в семьдесят третьем году в гонке Мира Лихачев вдруг предстал в новом свете. Все знали, что он большой мастер командных гонок — чемпионом мира и Олимпийских игр. И вот этот знаменитый «командник» вдруг становится признанным «финишером» самой сложной многодневки.

Но законы этих гонок совершенно различные, и прежде чем продолжить рассказ о велогонщике Лихачеве, я хочу это различие объяснить.

В командной гонке — каждый за всех и все за каждого. Там — команда. И она должна быть монолитом. Прямого единоборства с соперниками — лоб в лоб — в командной гонке нет. Старт «четверкам» дается с интервалом в две-три минуты. И каждый квартал, по сути дела, на два с лишним часа остается с глазу на глаз с шоссе. Время от времени крикнут им только, по какому графику они идут и по какому — соперники.

Каждый из четырех должен за время гонки раз по пятьсот примерно менять свое амплуа — то быть «первым голосом», то вторым, то третьим. Меняться все четверо должны одновременно, но совершенно незаметно — так, чтобы не дергалась, не выбиралась натянутая, как струна, цепочка из восьми бешено вращающихся колес.

И так два с лишним часа. И так сто километров. Ну, не чертова ли это работа!

А на первый взгляд все выглядит просто: четверо, выстроившись в ряд — один за другим, — поехали на сто километров. Кто-то поехал первым, поехал. Остальные за его спиной спрятались от ветра и крутят педали что есть силы. Проехали метров двести. Смена. Лидер, который шел на первой позиции, метнулся влево, в сторону. Идущий за ним выкатился на первую позицию. Лидер дал проскочить мимо себя трем своим товарищам и пристроился им в хвост.

Вроде бы так: отстрелянная гильза — в сторону, невый патрон — на ее место. Но в этой велолобной все го четыре патрона и каждый отстрелянный должен быть снова заряжен, потому что им еще стрелять да стрелять. И пороха должно хватить на все эти «выстрелы».

Лихачев был идеальным командником, владел искусством никогда не выпадать из квартета. В групповой и многодневной гонках он принял совсем иные законы борьбы.

Старт тут общий — один для всех. Выстрел — и людская лавина покатилась. А в ней спрессовано человек двести, а то и больше.

Тут тоже есть команды. В международных соревнованиях — национальные сборные. Они, как правило, идут в однаковой форме.

Старт общий, а финиш назовет победителем только кого-то одного. Дорога до финиша дальняя: километров сто пятьдесят — двести в групповой гонке, тысячи — в «многодневке».

И в пути начинается хитроумная многочасовая игра. Тут ня минуты покоя, тут каждый на чеку. Напряжение невероятное. Надо свой маневр рассчитать с точностью до секунд, чужой разгадать, товарищам по команде помочь, соперникам помешать, организовать интернациональную коалицию, чтобы уйти в отрыв или начать погоню за беглецами, — то взвинтить темп гонки, то «спустить» его...

Если же замаячила перед товарищем по команде победа, — забудь о себе и помогай ему всем, чем можешь, и как можешь.

И здесь закон — «Все за одного!» — один из главных законов.

Только кто он — тот один? Его нельзя назначить по приказу до старта, он сам себя, так сказать, назначает уже на трассе. В многодневной гонке для этого ему нужно надеть майку лидера. И тогда лидер знает, что свои с него эту майку снимать не станут и другим не позволят. Но надеть ее надо самому, потому что на старте все равны, и в каждой команде тоже все равны на старте.

Итак, в одиночку здесь не пробыться. Или иначе скажу — до последнего финиша в лидерах не продержаться, если на тебе, лидера, не будут работать товарищи по команде.

Здесь все работают на одного: охраняют его, помогают ему, оттесняют от него соперников из других команд, «раскачивают» его перед финишем, жертвуют своими частными успехами ради главной и большой победы своего товарища — лидера. Может, потому и все призы, завоеванные гонщиками одной командой на этапах «многодневки», после главного финиша делятся поровну между всеми.

Но и это еще не все. Многодневная гонка, как правило, называют чемпионом и в личном и в командном зачетах. Что выбрать, какую цель? Лучше, конечно, и тут и там выиграть. А если и тут и там не получается? В этом случае команда чаще всего делает ставку не на один энкол, а на шесть точно таких же (в велогонке Мира команда состоит из шести человек).

Итак, в прошлом году Лихачев отправлялся в гонку Мира признанным лидером нашей команды. Лидером его сделали те самые шестерки венков за победы на этапах в гонке-73. Это понятно.

Но ни Лихачев, ни команда в прошлом году победить не сумели. Команда заняла второе место, Лихачев же из-за разного рода неудач оказался в личном зачете довольно далеко.

И тут началось! Он стал главным виновником всех бед. Вчерашний кумир был развенчан. Почему? За что?

Сгоряча тренеры рассуждали так. Прогрели полякам каких-то две минуты. А год назад только одной бонификации (премиальной секунда за победы на финишах) у Лихачева набралось целых три минуты. Будь эти три минуты и на этот раз у него — победа за нами.

Но что же получается? Выиграй мы велогонку Мира, считалось бы, что выиграли все, а проиграла команда — Лихачев виноват... А проиграла все. И Лихачев в том числе. Но не он один.

Однако главным виновником неудач и тренеры, да и кое-кто из корреспондентов, назвали его, Лихачева.

Допускаю, что с него спрос был особый, но главным и чуть ли не единственным виновником всех бед он не был. Быть таковым можно только умышленно. А это уже обвинение тяжкое, он его не заслужил.

Он говорит, что делал все, что мог. Ему говорят — нет, ты не сделал того, что мог и должен был сделать.

Кто тут прав, кто виноват?

Прошло много времени. Поостынув после всех передряг, Лихачев публично, через газету «Советский спорт», объяснился по поводу всего того, что произошло в мае 1974 года.

Кое-какие ошибки (вернее просчеты) свои он признал. Но...

Но ни ему, ни другим гонщикам не было известно, поняли Лихачева или не поняли, простили или нет. Ждали нового сезона.

Он готовился к нему трезво, без эмоций.

Пришла пора отправляться в Берлин, на старт велогонки Мира. Во всех газетах обнародовали состав нашей команды. Лихачева в том списке не было.

В списке не было, но на старт он вышел: включили в самый последний момент вместо выбывшего из-за болезни Якобсона.

И тут одна деталь. Когда ему стало известно, что он не поедет в гонку, Валерий слез не пролил, держался спокойно. Ну, хотя бы внешне. Когда перед самым стартом узнал, что едет, то принял это как должное.

Его спросили: «Что собираешься делать на этот раз?» Ответил: «Сделаю все возможное для команды». О себе — ни слова.

Что же он? Крест на себя, на своей мечте — быть первым — поставил?

Уже после гонки я у него попытался:

— Неужели так уж спокойно ты отнесся к тому, что в команду тебя не включили? Не верю.

— Я-то себя включил, — говорил он. — Я знал, что готов. Что могу ехать. Для меня это самое важное. А ехать или не ехать — дело второе. Знал, что в форме. Значит, готовился правильно. Но я не к гонке — к сезону готовился. Гонка — это промежуток.

— А когда сказала, что едешь, неужели не обрадовалась?

— Раз надо ехать — поеду. Готов. Но знал: на меня ставки не будет. Так оно спокойнее... А для команды я могу много сделать, потому и сказал — сделаю все. Так и было. Так решил.

Ага, думаю, вот я и поймал.

— Спокойнее, говоришь? А не обидно? Не обидно, что на тебя ставку не делали?

— В немецких газетах писал, что я фаворит...

— Правильно писал?

— Это у тех, кто писал, спроси...

Гонка доказала, что Лихачев как был, так и остался лидером нашей команды. Три финиша он выиграл, на двух был призером, «промежутки» тоже брал (или, как он говорил, «чикал») не раз. Последний этап в Варшаве выиграл. В нашей «шестерке» победы у Лихачева венки и золотые медали за то, что на финишах. Но у всех зато венки и золотые медали за командную победу.

Где на сей раз победили наши? На самом старте, на первом этапе. Они выиграли на первом этапе от шести до двенадцати минут у всех главных конкурентов — у команд Польши, ГДР и Чехословакии. Отыграть эти минуты у команды СССР было уже невозможно.

Что же произошло на первом этапе?

Пока гонщики разбирались, что к чему и как, ускользнула от всех, ушла вперед группа. Преследовать ее сразу не стали: вперед путь-дорога дальняя, далеко не уйдут. Кто ушел, толком не знали. Словом, особого беспокойства этот побег в основной группе не вызвал.

В это время один из гончиков основной группы отстал — что-то у него не заладилось. А потом он стал догонять группу. Она к тому времени шла, сильно растянувшись: дуд боковой ветер. Когда дует боковой, на трассе всегда натянывается «струна». Лихачев, который и был тем отставшим гончиком, зацепился за эту «струну», но в хвосте ехать не пожелал и стал пробираться потихоньку вперед. Потом он рассказывал:

— Пока ехал, всех пересчитал — и немцев, и поляков, и чехословацкую команду.

Добравшись он до начала группы и видит, что «струна» оборвана. Впереди — несколько беглецов. И он понял, что сложилась уникальная ситуация.

Дело в том, что, обходя «струну», он всех пересчитал и уже знал, что из его команды там, в отрыве, трое, а из команд соперников по одному, по двое. И это значит, что если та группа в таком составе прикатит на финиш, то победа его команде (зачет по трем) на этапе обеспечена, а если всю «маму» обмануть, если притормозить, погасить всеми правдами и неправдами ход «мамы», то можно для своей команды выиграть только на одном этапе уйму времени и поди потом догоняй.

Хитро? Пока не очень. Не один он такой умный. И так вот просто «маму» не остановить, не обмануть — там тоже едут не лыком шитые ребята, поймут.

Но это был не простой гонщик, это был фаворит, а к маневрам фаворита все относится с вниманием и уважением. Все знают, что фаворит зря рисковать не будет, что плестись в хвосте не станет, что место его впереди.

И он ринулся вперед. И все за ним.

— Стал я натягивать. Гаяжу — пошли, — вспоминает Лихачев.

Что значит — натягивать? Он вышел вперед, всем своим видом и ходом показывая остальным, что пора доставать беглецов, пора начинать погоню. Но ветер-то по-прежнему боковой, и потому в одну группу, в кучу, при таком ветре не собьются. Тут не до переговоров. Он добровольно взяла на свои плечи тяжелую ношу лидера огромной команды, вышел на первую позицию и, не требуя смен, повел всех за собой, натянул «струну». Она завыбирывала, все пошла след в след, увлекаемые добровольцем лидером и, не зная еще о том, что он комедию разыгрывает (а может, драму), что вовсе не собирается он догонять беглецов, а только вид делает, что рвется в погоню.

Так он провел их (не в смысле обманул, а пролицировал) километра два. Разрыв все сокращался. Это ему только и надо было.

Увлеченные погоней, ведомые Лихачевым, доверившись его опыту, который был всем им известен, остальные и не видели, что там, впереди, далеко ли беглецы. А он, измотав себя порядком (шутка-дело протаскать за собой два километра почти без смен такую компанию) и всех измотав тоже, начал гасить потихоньку скорость. Долго так продолжаться не могло: его маневр, пусть и с опозданием, но был разгадан, и обманутые соперники собрались уже начать контрманевр. Когда он, подняв руку, стал звать к себе двух своих товарищей по команде, Юдина и Осокина. Когда они подъехали к Лихачеву, он сказал: «Раз в жизни такое бывает». Теперь их было трое. Они метались в голове группы, не давая никому вырваться вперед, чтобы начать новую атаку. Так они терзали всех и себя несколько километров, а затем беглецы уже стали недосягаемы.

И команда СССР выиграла на первом этапе от шести до десяти минут у главных соперников. Победа была почти обеспечена. Командная.

Но никакая надежда на личный успех у того гонщика, который всю эту кашу заварил, после этого не осталось. Поляк Шурковский, главный соперник Лихачева, был в группе беглецов.

Лихачев потом говорил: «Капиталисты (так он гончиков из капиталистических стран, которые хорошо знакомы с маневрами профессионалов, называет) удивлялись — глядели, говорили, что делается: любители термозит!»

Профессионалы он сработал и был очень доволен.

Безоговорка завершилась в Варшаве. Варшава ждала своих любимцев и прежде всего Шурковского: он ехал домой уже чемпионом.

Но первым на заключительном финише был Лихачев.

— Въехали на стадион, эх, думаю, чикнуть что ли? И чикнул финиш, — смеется он.

Знали Лихачева как классного командного гонщика — чемпиона мира и Олимпийских игр. Потом как «короля финишера», «финишера»... Стоп, тут я обязан обнародовать его, Лихачева, мнение насчет «финишеров».

— Кто это выдумал — финишер, спринтер? Нет таких. Кто приехал на финиш, а чикнуть не может, тот телега, а не гонщик. Сил не хватало — это все разговоры. Для чего же он тратил эти силы, чтобы приехать и проиграть? Я после финиша километра больше не проеду — все отдал. Нет никаких финишеров и спринтеров. Это все журналисты выдумали, извините.

Теперь он продемонстрировал блестящую тактику и стратегию. Именно так — тактику и стратегию: и бой и все сражение одним маневром помог выиграть.

Но домой, в Горький, Лихачев приехал серый, грустный. Недели две никому на глаза не показывался, ни с кем встречаться не хотел, никаких интервью и телевизионных выступлений.

— О чем говорит? Сделал свое дело, и больше ничего.

Я долго докапывался, что с ним. И разговор был у нас долгим и трудным. Наконец он сказал мне:

— Думаю, что я классный гонщик, и если бы меня не взяли на этот раз в команду, я бы мнения о себе не изменил. И после гонки ничего не изменилось: каким был, такой и есть. И медали тут ни при чем.

И тогда я пошел напролом:

— Но если бы ты не поехал, то все — крест бы на тебе поставили. Иди потом доказывай. Кто поверит?

— А я на себе крест не поставил бы. Время придет, тогда и поставлю.

— И так бы жил, зная, что силен, а доказывать это всем не можешь.

— Но себе мне ничего не надо доказывать! — Он начинал злиться.



ТУШ В ЧЕСТЬ ДИРЕКТРИСЫ

Мода семидесятых годов стала крутой разворот и двинулась вспять по пути «ретро» прямо к тридцатым и даже далее — к двадцатым годам нашего века...

Стоило уставшему от борьбы общественному мнению махнуть рукой на легкомысленные мини-юбки как преданные победительницы сами, добровольно стали увеличивать длину своей одежды. Женские платья становятся все длиннее и длиннее, и если так пойдет дальше, то скоро мы увидим, как юные пажы понесут за нашими дамами пышные шлейфы...

Обо всем этом я беседуя с одной из законодательниц московской моды двадцатых годов Ольгой Дмитриевной Сеничевой-Кашенко.

— Я рада, что наша мода снова возвращается, — говорит Ольга Дмитриевна. — Может быть, теперь девочки начнут нормально есть.

— А что, они голодали?

— Конечно! Ведь красивой считалась худенькая девочка-малыш. Все эти джинсики, рубашечки, мини-юбки — все на такую фигуру было рассчитано. А такие юбки, знаете ли, предполагают форму... Вот посмотрите на манекенщиц нашего Ателье.

Я анстаю журнал «Ателье» № 1 за 1923 год. В семидесят лет Ольга Дмитриевна Сеничева-Кашенко была главным редактором этого журнала и директором первого советского Ателье мод.

«Страннее всего, — читаю я в статье поэта Михаила Кузмина, — что модные идеалы охватывают давление на саму структуру человеческого тела. Вспомним моды на высокий рост, покатые плечи, на толщину, на худобу, на роскошные бюсты, на плоскую грудь... Как дамы умели этого достигать — неизвестно, но что это было так — несомненно. Все это накладывало известный оттенок на склад жизни, исключая возможность валса в римских тогах,



Ольга Дмитриевна Сеничева-Кашенко, 1921 г.
Фото Эдуарда ТИССЭ.

канкапов в костюмах Веласкеса и шестие гладиаторов в пиджаках».

— А в длинных юбках, — добавляет Ольга Дмитриевна, — шейк уже не станцуют. Тут требуется танго или валс.

Я вспоминаю, каким успехом пользовалась недавно пластинка рыцаря танго Оскара Строка, как я сам сажено выпрашивал у своей тети тяжелый толстый диск с «Черными глазами» и как заигрывала зрительный зал мелодия «Я возвращаю ваш портрет», мощно звучащая в фильме «Они сражались за Родину»... Мода на танго грядет. Она уже совсем близко. На будущее я запасаюсь пышной цитатой из журнала «Ателье»:

Модели для журнала «Ателье» художников В. Мухиной и А. Экстер (стр. 107 — 108).

«Танго есть как бы шестие волнообразных движений тела, устремленных внутрь, к скрытому ядру нашей личности, — в таком счастливом сочетании и взаимном равновесии, что полное удовлетворение остается всегда сдержанным, побежденным властью танца. Танго в своем поступательном движении разворачивается постепенно, медленно, как змея боа. Но в нем, — скрытый, — таится прыжок».

Пока я переписываю эти слова в свою записную книжку, Ольга Дмитриевна рассказывает мне.

— Лучшие танцы были тогда в ресторане «Эрмитаж». Туда мы направляли наших манекенщиц демонстрировать модели. Манекенщицы сидели за столиками с нашей эмблемой, они себе что-нибудь там заказывали, их приглашали танцевать... А когда в зал входила я, конференсье Алексеев провозглашала: «Прощу туш! Прибыла директриса Ателье мод!»

— Как же вам в столь юном возрасте доверяли такое большое дело? — не перестаю удивляться я.

— Да вы, миленький, прямо как те яды, которые говорили: «Нельзя девочке в руки давать ценные материалы». Ведь нашему ателье передали конфискованную у частников парчу, меха, шелк... Но мне и до этого поручали не менее ответственные задания. В пятнадцать лет я поступила секретарем в отдел Центропечати ВЦИКА, а через некоторое время меня приглашали оформлять выставку общей и кустарной промышленности для делегатов III конгресса Коминтерна в Доме союзов. Ни мебели, ни декора-





тивных материалов не было... Так, знаете, что мы придумали? Объявили скамейки холстом и по нему нашили аппликации из красного шелка в виде шестеренок — положение было спасено. После конгресса я предложила организовать первое в стране ателье мод. Мы должны были созвать конкуренцию испу. В Москве в то время открылось сразу много частных предприятий, и с этим нельзя было не считаться. Я сама нашла помещение для Ателье — первый этаж на Петровке...

Сейчас там, где помещалось Ателье мод — Художественный салон. Мимо его витрин москвичи проходили довольно спокойно. А в 1922 году эти витрины произвели в Москве сенсацию, которая еще долго будоражила воображение любителей уличных зрелищ.

В один прекрасный день занавеси на витринах раздвинулись, и взору прохожих предстали две комнаты, в каждой из которых неподвижно стояли по две женщины. В одной витрине они были одеты в выходные туалеты, а в другой манекенщицы демонстрировали простые платья из русского холста с вышивкой. Так состоялась открытие Ателье мод. Мгновенно перед витринами образовалась огромная толпа, движение по Петровке, Столешникову, Кузнецкому остановилось.

— Не прошло и двадцати минут, — говорит Ольга Дмитриевна, — как с трудом пробившись через толпу, в Ателье появились начальник московской милиции. Он был очень взволнован и требовал немедленно прекратить демонстрацию мод. Закрывали занавеси. Народ не расходился. Спорили — живые были женщины на витринах или куклы... Повесили таблич-

ку: «Демонстрация больше не будет», — стоят... Еще потом целую неделю народ не отходил от витрин: а вдруг снова что-нибудь покажут.

Ателье успешно конкурировало с частным сектором.

Показы мод проходили в форме концертов. Известные артисты исполняли свой обычный репертуар, но облаченные в модели Ателье мод.

Стал выходить журнал «Ателье». Он был задуман как издание с широким кругом интересов. Статьи заказывались не узким профессионалам, а известным художникам, режиссерам, писателям, поэтам... Свое согласие сотрудничать в журнале дали Б. Кустодиев, И. Грабарь, В. Мухомин, К. Петров-Водкин, С. Чехонин, К. Сомов, А. Экстер, писатели А. Ахматова, Е. Замятин, Ф. Соллогуб, М. Шагинян, М. Кузмин, В. Гордун, режиссер Н. Евреинов и другие.

Ателье мод и журнал старались изменить внешний облик советского человека, сделать его более изящным, приблизить к современной моде. Ателье разработало пионерскую форму, рабочий костюм...

Ольга Дмитриевна рассказывает:

— Если Мейерхольд использовал на сцене комбинезоны как театральные костюмы, то мы моделировали прозеждаку для работы на заводе. С недоумением встретили наши модели работники — они тогда просто не могли себе представить, что им когда-нибудь придется носить брюки...

Дело Ателье расширялось. При нем появились еще и киножурнал «Хроника мод», для которого работал Эдуард Тиссэ, будущий оператор «Броненосца «Потемкина».



А в июне 1923 года Ателье устроило на ипподроме бег для сбора средств в пользу Комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей.

Ольга Дмитриевна:

— Комиссия предоставляла нам по этому случаю застоявшихся в своих кошельках бывших царских лошадей. Мы пригласили известных актрис, специально сшили им роскошные туалеты. Я же для контраста выбрала себе скромный наряд — черное платье с большим красным воротником и черной кокошничек. Дамы расселись по экипажам, и кавалькада двинулась по Ленинградскому шоссе к бегам. Люди с удивлением смотрели на это великое шествие и не верили своим глазам... На ипподроме заведующий бегом делал ставки на наши экипажи. Состоялось два заезда. Знаете, как странно было!... Коляски для бегов не приспособлены, лошади обезумели от долгого безделья... Сидишь, вцепившись в сиденье, и вдруг рядом возникает страшная лошадиная морда, глаза горят, на губах пена — это нас постигает чей-то экипаж... Но в обоих заездах я пришла первой! После этого дня Ателье передало Комиссии ВЦИК по улучшению жизни детей большую сумму денег.

— Вас действительно можно назвать мамой советской моды, — говорю я. — А как сложилась ваша дальнейшая жизнь?

— Некоторое время я снималась в кино, работала в театре, а потом стала преподавательницей немецкого языка, защитила диссертацию, была заведующей кафедрой Полиграфического института. Но увлечение моей молодости было всегда со мной. Какая бы ни была мода, я всегда старалась найти свой собственный стиль одежды. А теперь, когда снова начинают носить то, что носили мы в двадцатых годах, я рискую стать супермодной...

В. БЕРЕНДЕЕВ.



Рисунок
Н. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Я не люблю свою работу... Со школьной скамьи я мечтал быть историком. На математике и физике я читал книжку про войны государства Урарту с могущественной Ассирией. Я восхищался Геродотом, а на Архимеда мне было наплевать. Но однажды математичка сказала моей маме, что у меня способности к логическому мышлению. Мама в это поверила, а я никогда не огорчал маму. Книжки по истории пришлось отложить. Я с отвращением зубрил аксиомы, теоремы и правило буравчика.

Вручая мне аттестат зрелости, директор школы сказал, что мои несомненные склонности к точным наукам дают ему основание видеть мое будущее связанным с этими науками. А я видел себя историком. Но я видел хуже, чем директор. Иначе я бы разглядел, что на исторический конкурс тридцать человек на место,

а лучший Друг моего папы — декан политехнического, и что это дает дополнительную уверенность маме, которая обещала сойти с ума, если я провалюсь, поступая на исторический...

Я не провалился. Я поступил в политехнический.

В институте я ненавидел все предметы. Тут, правда, была история, но ее прогуливали всей группой. В часы лекций по истории многие ребята сидели в соседнем кино, а я учил сопранат, оправдывая надежды декана, который сказал, что возлагает на меня надежды, а он был лучшим другом моего папы, но это вы уже знаете...

На распределении я получил назначение в научно-исследовательский институт, у которого мечтали все. Все, кроме меня.

Работу свою я возненавидел сразу и бесповоротно. Меня тошнило от вида кривых, которые чертили, а потом с жаром об-

суждали мои сослуживцы, — я тихо читал про приготовления к новому походу Ассирии на Урарту.

В один прекрасный день меня поздравил начальник и сказал, что своим вдумчивостью я произвел на него хорошее впечатление, и что он хочет предложить мне интересную диссертационную тему, и он уверен, что я с ней справлюсь, и нечего благодарить, потому что он только рад помочь, если видит, что человек работает с желанием.

— Правда, знаний по математике, полученных в вузе, будет недостаточно, — сказал он, — но мы направим вас на специальные курсы...

Три года, стиснув зубы, я слушал лекции по математике, я плакал от отвращения и писал диссертацию. На защите сказали, что только человек, бесконечно влюбленный в свое дело, мог написать такую блестящую работу. Черных шаров не было.

К этому времени я был уже заместителем своего начальника. Я решал вопросы, я участвовал в заседаниях, совещаниях, советах... Я с ненавистью произносил слова о внедрении и улучшении параметров.

...А в ящике моего стола лежала книжка, а там бородастые ассирийские воины уже приближались к вражеским границам...

Когда начальник отдела уходил на пенсию, он объявил руководству, что никто на свете не заменит его с большим успехом, чем я. И я была назначен начальником. Чтобы как можно реже ходить на службу, я каал в портфель книжку и говорил, что буду работать в библиотеке.

По институту пошел слух, что я пишу докторскую. Меня вызвал директор.

— Дорогой мой, — сказал он. — Зачем эти секреты? Вы же знаете, как мы вас ценим! Я даю вам академический отпуск. Пишите, ваша работа обогатит науку и производство!..

Япил сердечные капли и писал, писал эту проклятую докторскую. Как я ее ненавидел!..

На банкете, после защиты, говорились такие прекрасные слова про мое беззаветное служение науке, словно читали некролог...

Сейчас я член-корреспондент и руковожу головным институтом. Я издаю распоряжения, наказываю и поощряю, осуществляю синтез науки и производства. Но сердце мое по-прежнему принадлежит истории. У меня очень ма-

ло свободного времени — заседания, конференции, симпозиумы...

Но иногда выпадает свободная минута — я запираюсь в кабинете и достаю потрёпанную книжку. И как раз в тот момент, когда грозный царь Ашшурбанипал уже готов торжествовать победу, звонит телефон и мне напоминают, что сегодня меня будут утверждать на должность начальника главка. Я закрываю книжку, выхожу из кабинета и думаю, что в моей жизни все было бы иначе, если бы... Если бы лучший друг моего папы был деканом исторического факультета.

г. Ленинград.

Мих. ВЛАДИМОВ

ПАРОДИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Почему не пишется в апреле?
Или рано?
Или не весна?..
...Я болен Пушкиным.
Тоска меня съедает,
А роцца лист октябрьский
отряхает.

Александр БОГУЧАРОВ
Из книги «Эшелон»

Месяца, в котором сочинялось,
Я не нахожу в календаре,
Отряхалось, но не начиналось,
Елось, ис не пелось в январе.
В феврале ни строчки я не
создал,
Потому что короток февраль.
В марте думал: «Рано или
поздно?»
А в апреле — мае: «Не
пора ль?»
Весё июнь я рифмы ждал
упрямо.
Весё июль ждал клева на заре.
В августе болел я за «Динамо»,
Цыбиным болел я в сентябре.
В октябре писать мешали мыс-
ли!

Почему не Блок я, ни Жорж
Санд!

В ноябре... смотрю, лежит в
«Совпесе»

Книжка «Богучаров»

Александр!
И загадкой для меня осталось
[Это же похоже на скандал!],
Если ничего мне не писалось,
Как я эту книжку написал!..

Андрей КУЧАЕВ

СЛУЧАЙ С ИНЖЕНЕРОМ СЕРГЕЕВЫМ

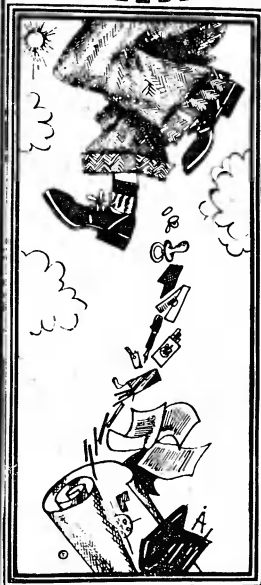


Рисунок О. КОКИНА.

Возвращаемся к разговору
о счастье.

Чего только ни приходится
услышать на этот счёт! Напри-
мер в троллейбусе я сам слы-
шал, как еще вполне молодой
человек сказал девушке.

— За день наломаюсь так, что
только бы кто помог до домаш-
них тапок дошлепать, а как теле-

визор включается — я и сам
знаю...

Или вот еще в одном месте
довелось услышать:

— В пышечную на углу зайду,
десятко пышек приласкаю с ко-
феем, двадцать копеек в ро-
ляж, — и на льду.

Я так понял, что «роляж» — это
у них музыкальный автомат в
пышечной, а «на льду» — это вер-
шина удовольствия, нирвана.

Знакомый барабанищик симфо-
нического оркестра говорил зна-
кому разубкину мясного от-
дела:

— Нет для меня большей ра-
дости, чем сидеть около своего
турецкого барабана и ждать сво-
ей очереди, когда играть. Ударю
раз, но от души, и жить снова
станет...

А разубкину ему задумчиво:

— Эх, Толя, посмотрел бы ты,
сколько у меня в фартуке после
смены остается фанеры — раз-
любил бы ты свой турецкий ба-
рабан!.. А музыку, ее все любят.
«Фанера», как вы уже поняли,
это всего-навсего деньги.

Для каждого понятие «на
льду» значит нечто очень свое.
Не будем вдаваться в крайно-
сти, лучше познакомимся с ин-
женером-строителем Виктором
Сергеевым. Ему тридцать четыре
года, он еще холост, детей нет,
имеет высшее образование, хо-
рошую специальность, отдель-
ную комнату в малонаселенной
квартире. Сверх того, он имеет
красивые ногти, три костюма, ча-
сы на стальном браслете, свобо-
ду холостого человека, спокой-
ный характер и намерение ни-
когда не жениться.

Уживчивый, ростом выше
среднего, чистоплотный, пьющий
только шампанское и только по
очень большим праздникам, рав-
нодушный к женщинам, Сергеев
никогда не мечтал стать ни писа-
телем, ни путешественником, ни
артистом. Он хотел стать инже-
нером-строителем и стал им. Он
не хотел бросать курить и не
бросил. Последний рентген не
зал, что у него вполне прилич-
ные легкие, да и анализ крови
тоже не мог не радовать.

Сергеев не мечтал о покупке
машины и тем более мотоцикла,
презирал и не понимал охоту, не
объедался, соблюдал правила
уличного движения — короче, он
никак не мог стать легкой добы-
чей рискованных обстоятельств.
Повторяем, роковые женщины
были для него тем же, чем для
кошки являются огурцы.

Такой вот бетонированный че-
ловек сидел третьего июля на

работе, очинял карандаш «т-м» «Конструктор» и думал о том, что хорошо, что он уже отгулял отпуск: снова размеренная работа, упорядоченная жизнь и отсутствие нарушений в режиме. Никаких санаториев, случайных знакомств, изнурительных дней вынужденного безделья, тоски. Сергеев работал на восемнадцатом этаже нового здания в отделе капитального строительства, где руководили им сведущие нелегкомысленные люди: они не перегружали Сергеева работой, инженер Сергеев никогда не загибал выполнения.

Сейчас сломянный карандаш «Конструктор» «т-м» будет очинен и четкий аккуратный чертеж будет завершен еще до обеда. Времени достаточно. Инженер затачивал карандаш аккуратно, не спеша; грифель получался крепкий, в меру длинный, не слишком острый. Сергеев положил очиненный карандаш, собрал мусор от него в бумагу, бросил бумагу в корзину и отправился в умывальник вымыть руки — на пальцах остались следы грифельной пылицы.

В умывальнике, облицованном кафелем по стенам и полу, инженер долго регулировал равновесие горячей и холодной воды, держа руки горстью над фаянсовой голубой раковиной. Когда вода стала нужной температуры, Сергеев трижды намылил и смыл руки, насухо высушил их под электросушилкой, потер еще ладонь о ладонь, массируя пальцы, и повернулся, чтобы идти в отдел.

В эту минуту дневное светило, совершая свой путь, так высверкнуло на кафельных плитках умывальной, что на мгновение Сергееву показались, что и стены и пол помещения сделаны не из кафеля, а из льда, ослепительного, скользкого и на удивление ненадежного. От испуга строитель потерял равновесие, заскользил, замахал руками в поисках опоры, попытался ухватиться за диоралевый переплет отворенного окна, промахнулся и оказался чуть ли не наполовину за окном, повис на высоте восемнадцатого этажа.

Самое смешное, что он поначалу только испугался, а потом как-то спокойно подумал про себя: «Сейчас загорело. Мокрого места не останется от инженера Сергеева...» Каким-то чудом ему удалось уцепиться носком ноги, он даже не понял, за что зацепился, во всяком случае, не упал, задержался, хотя нога понемоному соскальзывала, и вот-вот не-

поправимое должно было случиться. «Ну и что? Чертеж почти готов. Любой может завершить мою работу. Выходит, очинив карандаш, я завершил все необходимые дела на этом свете. Логично. Хотя, конечно, неприятно, что чертеж будет делаться кто-то другой. Еще неприятно или сделает неаккуратно. А подпись я уже заделал свою. Нехорошо. Хорошо было бы самому закончить. Отнести Александру Федотову, подписать у него, отдать в копировку. Потом вернуться домой, накормить Прохора, щегла...»

Мостовая для Сергеева теперь почему-то была наверху, внизу же было летнее теплое небо, куда вслед за птицами инженер мог легко прыгнуть, как в пруд. «Щегла могут спокойно покормить соседи. В комнате я убрался. Вроде все...»

Нога Сергеева соскользнула еще чуть-чуть, тело его приняло еще более отвесное положение, и из него, точнее из его карманов посыпались: паспорт, удостоверение, записная книжка, шариковая авторучка, гребенка, мелоч, пачка сигарет «Ява», зажимка — все это ручейком струилось в голубую воронку, перемешиваясь с низко летавшими третьего июля стрижами.

«Документы мне вроде бы теперь ни к чему», — успокоил себя Сергеев. — Туда, говорят, пускают и без документов. Ладно, бог с ним, с чертежом. Чего бы такое сказать, чтобы поставить эффективную точку?»

И тут из Сергеева, из потайных, ведомых ему самому карманов стали выпадать и неспешно слетать вниз еще предметы: несколько самостоятельных работ инженера Сергеева — поисковые записки и синьки с чертежами, — диплом в синих корочках, две-три студенческих тетрадки с чужими конспектами, рядовая зачетка, аттестат зрелости, похвальная грамота за четвертый класс; высыпались, как спички, счетные палочки, акварельные краски и совсем уж неведомо где хранившаяся пустышка на целлулоидном кольце...

Все это уходило в глубокий колодезь, полный летнего неба, тополиного пуха, облицованный по стенкам окнами высоких зданий, стоящих окрест.

И сам Сергеев стал легким, как тополиный пух. Вот-вот и его закружит и унесет. Последней из внутреннего кармана пиджака выпала готовальня, безнадежно устаревшая, бесполезная в инженерном отношении, с гравиров-

кой: «Инженеру Сергееву в день 50-летия». «Отцовская! Отец оставил ее мне», — сверкнуло в памяти, — кому-то она теперь достанется? И тут неожиданно он почувствовал новый прилив сил.

Сделав ногами какой-то танцевальный пируэт, инженер-строитель опрокинул себя, словно песочные часы, и уже секунду спустя стоял на полу в умывалке. Солнце зашло за дом напротив, и кафель нисколько не напоминал лед.

Отряхнувшись перед зеркалом, Сергеев выскочил в коридор, домчался до лифта, спустился на улицу, собрал все, что уронил, благо окно выходило в институтский двор, и уже через четверть часа снова сидел за своим кульманом. Приложив аккуратно рекиншину, Сергеев установил карандаш «т-м» «Конструктор», готовился и с нажимом, может быть, чрезмерным, провел линию «бе-пополам». Грифель хрустнул и отлетел.

— Тыфу ты! Елки зеленые! — Сергеев запустил карандаш в корзину.

Все сотрудники посмотрели на него с изумлением: что это приключилось с инженером, никогда не ругался!

Завершая этот рассказ, хочу вспомнить, как одна девушка в вагоне метро сказала подруге довольно громко:

— Знаешь, я вчера потеряла ключи, всю связку, такое несчастье: там были ключи от квартиры, от машины и от дачи — все вместе!

А подруга ей ответила:

— Ты знаешь, а я вчера книжку библиотечную потеряла, вот ужас-то!

И они наперебой стали утешать друг дружку.

Так что очень это скользкое понятие — «на льду»...

В НОМЕРЕ

ПРОЗА	Анатолий РЫБАКОВ. Выстрел. Повесть	2
ПОЭЗИЯ	Танзила ЗУМАКУЛОВА. Мое перо. «Та в рубашке родилась...». Мать. Перевод с балкарского Ю. Нейман	60
	Николай НОВИКОВ. «Уж если есть друзья...». «Тщеславию всего страшней — забвенью...». «Туда идет вода?..». «Гут степь, и ржавая трава...». Музыкальный ящик	61
	Лариса ВАСИЛЬЕВА. «Запуталась, ногой из вас люблю...». Март. «Легкой ласточкой время летит...»	68
	Глеб ГОРБОВСКИЙ. «Так мимолетна вечность взгляда...». Прощание с берегой. Мадонна. Берег моря	68
	Павел БОГДАНОВ. Ветераны войны. Примета	69
	Сергей ОСТРОВОЙ. Главное. «Тянет роздымью с пелю...». Судьба. Сны. Искусство	70
	Игорь КОХАНОВСКИЙ. «И девочка одиннадцати лет...». «Что-то меньше с годами друзей...»	83
	Игорь ФЕДОРИН. «Войди в стихи, кубасский голосед...»	83
КРИТИКА	Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС. Письма из Друскининяй (Окно в мир прекрасного)	62
	Русская поэзия сегодня. (О понимании традиции)	71
	Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации	78
ПИСЬМО СЕНТЯБРЯ	Александр КОНОНОВ. ...Земля тянет к себе	80
	Иван ВАСИЛЬЕВ. Потребности и возможности	80
ПУБЛИЦИСТИКА	Никита ТОПУРИДЗЕ. Несколько строк	84
	Анатолий СТРЕЛЯНИЙ. Новая семья	91
НАУКА И ТЕХНИКА	С. СОЛОВЕИЧИК. Логика Шаталова	98
СПОРТ	Михаил МАРИН. «Поймать наглость хода!»	103
ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	В. БЕРЕНДЕЕВ. Туш в честь директрисы	107
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ	М. МИШИН. История об истории	109
	Мих. ВЛАДИМИВ. Пародия	110
	Андрей КУЧАЕВ. Случай с инженером Сергеевым	110
Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ		
Редакционная коллегия:		
А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ (зам. главного редактора), Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, В. Ф. ОГНЕВ, С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.		
Художественный редактор Ю. А. Цишевский.		
Технический редактор Л. К. Зякина.		
На 1—4-й стр. обложки рисунок Б. КОТЛЯРА.		
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6. Улица Горького, № 32/1. Телефон редакции: 251-32-83.		
Рукописи не возвращаются.		
Сдано в набор 1/VII—1973 г. А 13006. Подп. к печ. 14/VIII—1973 г. Формат 84×108/16. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж: 2 600 000 экз. Изд. № 2011. Заказ № 814.		
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 123865 Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.		

**Из произведений
В. Я. ПАВЛОЦКОГО.
(Ашхабад).**

Владимир Яковлевич Павлоцкий всю свою богатую и оригинальную палитру художника отдал любимой Туркмении, где он родился, вырос и обрел мастерство живописи.

В его небольшой ашхабадской мастерской можно познакомиться с картинами о жизни пограничников Средней Азии, нефтяников и рыбаков Прикаспия.

Его дружба с воинами-пограничниками продолжается: художник работает над новыми произведениями о людях, стоящих на страже наших границ.

На этой страничке мы знакомим читателя с двумя картинами В. Павлоцкого.



Морские рубежи.



Праздник.